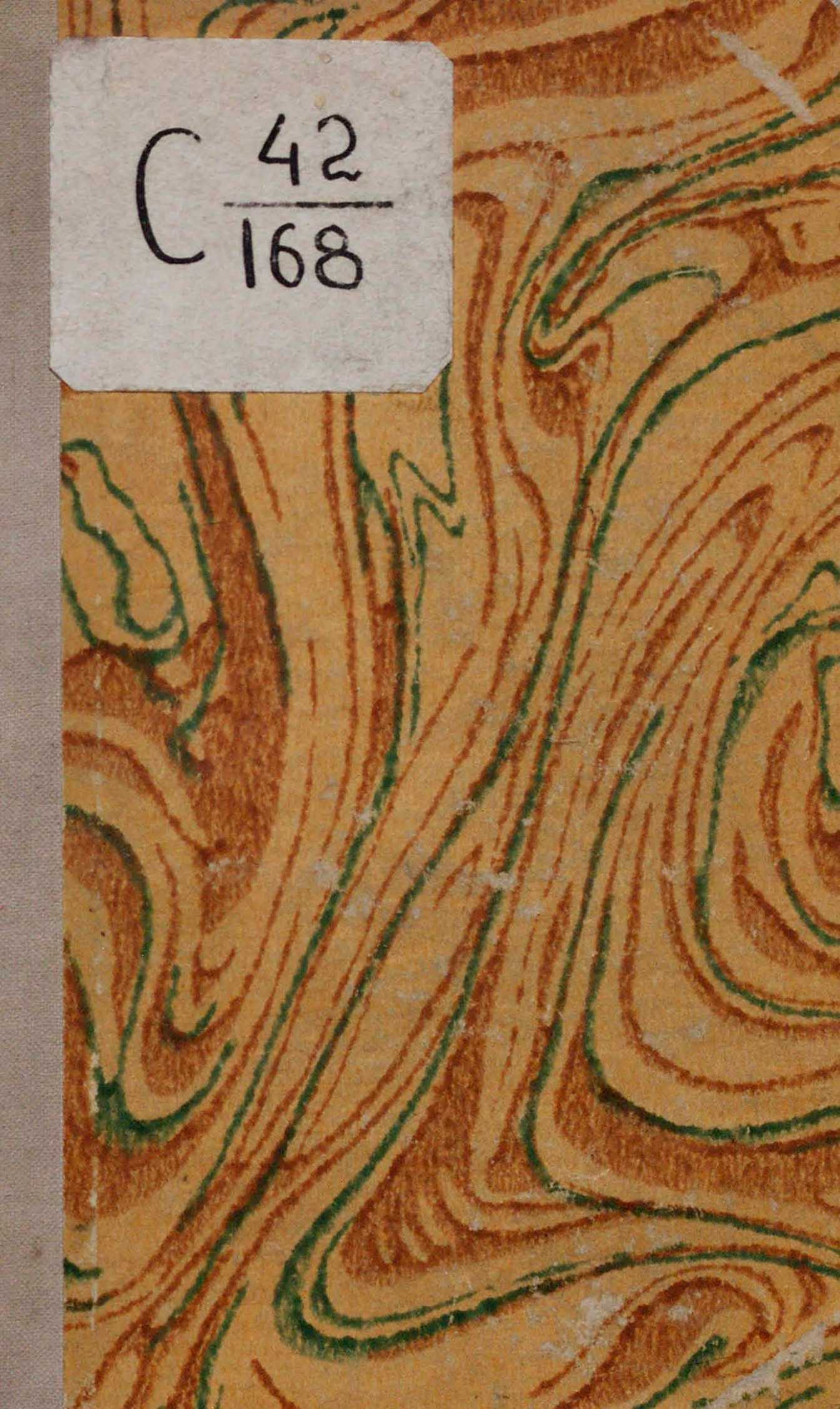
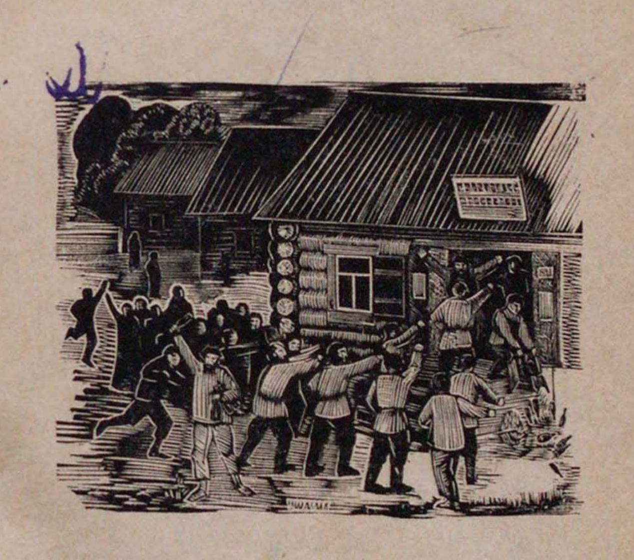


А. И. ИВАНЧИН-ПИСАРЕВ

ХОЖДЕНИЕ В НАРОД



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ



РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ РОССИИ В МЕМУАРАХ СОВРЕМЕННИКОВ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ В. НЕВСКОГО И П. АНАТОЛЬЕВА

А. И. ИВАНЧИН-ПИСАРЕВ

ХОЖДЕНИЕ В НАРОД

ПРЕДИСЛОВИЕ
В. И. НЕВСКОГО



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ



Москва—Ленинград
1929

Зак. Издат. № 3078
Ред. Пл. № 620
Печат. л. 28½
Главлит № А-31261
Тираж 5.000 экз.



АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

ИВАНЧИН-ПИСАРЕВ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Воспоминания А. И. Иванчина-Писарева, сначала народника-пропагандиста, а затем народовольца, эволюционировавшего к „Русскому Богатству“ Михайловского, представляют замечательный памятник той героической эпохи народничества, когда народники являлись действительными революционерами и не на словах, а на деле шли в гущу того самого народа, во имя которого они отказывались от своего привилегированного положения, состояния, собственности, чинов и при вольной жизни.

Несмотря на то или верней, быть может, именно потому, что они сами не замечали, что были только идеологами мелкого собственника и крестьянина, они так хорошо умели проникаться интересами этого мелкого собственника, разоренного крупным помещиком, подавленного податями и сжимаемого кулаками, и воевать с этими хищниками, высасывавшими всю кровь из крестьян.

В этом смысле книга Иванчина-Писарева — прекрасный документ, рисующий нам картину того, как преломлялась современная народная жизнь в глазах народника-романтика мелкобуржуазной идеологии.

Образы, рисуемые им, ярки, красочны и полны художественной прелести. Нужно только помнить, что создает эти образы народник-романтик, не замечающий, как те самые добродетельные богатеи-мужики, которые сдают землю по справедливости и правде бедным мужикам и прижимают попавшегося в тиски помещика, заботятся не о народе, а сами являются только деятелями первоначального накопления. Нужно только не забывать, что тот же волостной старшина В. М. Сенотов, который на допросах жандармов держался лучше, чем дворяне (по поводу розысков об Иванчине-Писареве), был только

умным представителем нового буржуазного мира, ненавидевшего феодальное дворянство не меньше романтиков революционеров-народников.

Если не забывать того, что сочувствие, каким пользовалась необыкновенная деятельность необыкновенного писаря среди таких людей, как Сенотов, и подобных ему зажиточных крестьян, проистекало именно от того, что все эти „справедливые" богатеи жаждали упорядоченного буржуазного общества в противовес дворянско-самодержавной вакханалии, то станет ясной и та романтическая дымка, какою иногда революционер-романтик закрывает ту бесспощадную классовую борьбу, что кипела в деревне.

Нет ни малейшего сомнения, что не отступает от истины автор воспоминаний, когда рисует симпатичными чертами таких представителей дворянского сословия, как непременный член присутствия по крестьянским делам Н. М. Кострицын или помещица Аксакова; действительно, семидесятые годы в России—это было время, когда даже некоторые предводители дворянства говорили иногда слогом народных трибунов; но не подлежит сомнению также и то, что эти черты не характеризуют социальных отношений того времени в деревне. Гораздо характернее в этом отношении та картинка, где Иванчин-Писарев описывает, как двое его учеников „не ошалели, а прозрели", в результате чего их вековая ненависть вылилась в краткой, но яркой фразе: „будет вам кровь нашу пить, крючки полицейские!"

Книга Иванчина-Писарева—это документ, рисующий в художественной форме то, как деревенские отношения 70-х годов преломлялись в головах самих революционеров-народников, как их деятельность в народе разбивалась о тысячи мелочей, выдвигаемых новыми классовыми образованиями в крестьянстве, как наконец эта деятельность являлась только лишним доказательством того, что вся идеология даже лучших представителей народничества рассчитывала не на классы будущего, а базировалась на прошлом. Народник-идеалист, народник-революционер, народник-романтик и идеолог отживших отношений облекал розовой дымкой ту самую действительность и тех его

представителей, которые уже готовы были выступить, как новая крупная сила, враждебная революционно-хозяйственному мужику, правда, живущему по справедливости, не обижающему своего бедняка, но не останавливающемуся перед эксплоатацией бедняка соседней волости и вместе с тем являющемуся героем первоначального накопления.

Есть однако и еще одна сторона печатаемых нами мемуаров, их огромная ценность в том смысле, что автор, активный участник революционного движения, дает бесподобные характеристики своих товарищей, тоже виднейших членов революционной партии.

Мало того, в печатаемых нами главах о Н. К. Михайловском мы находим драгоценные указания этого теоретика народничества в нелегальной работе.

Как бы ни относиться к теориям и взглядам Михайловского, как они ни представляются нам устаревшими и ненаучными, несомненно одно: Михайловский в периоде 70-х и 80-х годов—это не только мирный литератор легальной прессы, а и нелегальный публицист лучшего в то время в России политического журнала „Народной Воли", автор „Политических писем" Гроньяра, близко принимавший к сердцу интересы борцов за народ, помогавший им и словом и делом и, главное, сумевший лучше чем кто-либо выразить задачи момента.

Пускай идеология Михайловского даже в „Политических письмах" одним концом упирается в революцию, а другим в либерализм, пускай она имеет свою „шуйцу" и „десницу", образ талантливого публициста, связавшаго свою жизнь с жизнью лучших представителей героического поколения 70-х годов встает, как живой, в яркой характеристике Иванчина-Писарева.

Знакомство с нашим прошлым (а революционная борьба семидесятников это и наше коммунистическое прошлое, ибо мы многому учились у этих великих деятелей революции), знакомство с историей революционной борьбы наших отцов для нас обязательно не только потому, что оно обогащает наш ум необходимыми знаниями, а еще и потому, что пафос борьбы, энтузиазм самопожертвования, желание слиться с морем трудящихся, героизм прошедших поколений-

вдохновляет и нас, членов великого пролетарского коллектива, тысячью нитями связывает с прошлым, делает это прошлое нашим.

Жизненная правда, простота и вместе с тем художественная прелесть (не говоря уже об исторической ценности), — вот то, что найдет читатель в воспоминаниях Иванчина-Писарева.

В. Невский

Москва.
Ноябрь 1928 г.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

УВЛЕЧЕНИЕ ПРОПАГАНДОЙ

Глава первая

ЧЕРЕЗ ПЯТЬ ЛЕТ

«Кружки самообразования и практической деятельности» [1], появившиеся в начале 70-х годов в Петербурге, Москве и других городах, мало-по-малу привели к мысли, что жизнь крестьян и рабочих может быть изменена к лучшему только в том случае, если они сами возьмутся защищать свои интересы и вести непосредственную борьбу со всеми врагами своего благополучия. Отсутствие такой борьбы в данный момент объяснялось непониманием народа коренных причин всякого рода лишений и неумением организоваться для защиты своих интересов. В «кружках» казалось, что на обязанности молодежи лежит «итти в народ» с целью выяснять ему отрицательные стороны существующего порядка вещей и наметить перспективы иной жизни, на социалистических началах.

Я думаю, не было времени, когда молодежь так усердно занималась бы своим самообразованием, как в этот период, подготовляясь к разрешению предстоящей задачи. С жадностью поглощались общественные науки, изучались законы, читались книги, журналы, газеты, составлялись рефераты и пр.

На ряду с заботами об умственной подготовке к «пропаганде» очень многие изучали ремесла, исходя из предположения, что работа «в черной шкуре» будет гораздо продуктивнее открытых сношений интеллигенции с рабочим людом.

«Хождение в народ» началось в 1872 году и достигло наибольшего развития к лету 1874 года, когда сотни лиц, одушевленные идеей служить народу, ринулись в деревни и города осуществлять свою программу.

Увлечение «пропагандой», помимо искренней готовности принести пользу, находило почву и в уверенности, что последователи пропагандистов будут расти в геометрической прогрессии.

В журнале «Вперед» [2] высказывалась между прочим мысль, что каждый пропагандист может легко приобрести десять адептов и привить им охоту самостоятельно продолжать дело, а этот десяток в свою очередь породит уже сотню последователей и т. д.

Наиболее горячие головы полагали, что при такой быстроте распространения революционных идей радикальный переворот в жизни народа может наступить не позже, как через пять лет...

Действительность обманула ожидания. Но она не породила отказа от сближения с народом, а заставила лишь искать иных путей, чтобы организовать его для борьбы за лучшее существование.

Глава вторая

НЕ ОШАЛЕЛИ, А ПРОЗРЕЛИ

В тех случаях, когда «пропагандистам» удалось действовать сравнительно долгое время в одном и том же месте, как было в Потапове, моем имении Ярославской губернии *, нельзя было не заметить, что на ряду

---

* См. „В начале жизни" Н. А. Морозова. „Русское Богатство", июнь, 1906 г

с появлением сознательных работников из среды самих крестьян являются оригинальные протестанты против теории, положенной в основу «пропаганды».

Так, малограмотные крестьяне, но с боевым темпераментом не мирились с мыслью, что социально-политический переворот возможен только тогда, когда большинство трудового народа примкнет сознательно к революционной организации, а для этого необходимо «внушать и внушать» революционые идеи, как в Ярославской губернии переводили слово «пропагандировать».

— Хорошо тебе внушать, — говорили мне такие экспансивные люди. — Ты об одном и том же говоришь, а у тебя разное выходит... То газета тебе подскажет, то из книги вычитаешь что-нибудь... Вон, на сходе в Алексееве по календарю подати раз'яснял... А нам откуда взять?.. Вытрясешь все потроха сразу — и опять мели то же: бар не надо, чиновников по шее... И говорить-то неохота!..

К числу таких взвинченных и недовольных собою людей принадлежали между прочим двое столяров Потаповской артели.

Однажды, возвращаясь с непроданным товаром, они остановились на дороге у деревенского кабака, выпили и хотели было продолжать путь, как увидели: едет становой пристав...

— Давай, Николай, ссадим его! — предложил А. С.

Николай согласился; оба вышли на дорогу и растопырили руки.

— Стой! — крикнули они, когда тройка поравнялась с ними. — Ванюха, слезай с козел, идем в кабак!.. Будет тебе возить живоглота!

Становой прикрикнул было на них:

— Что вы? Ошалели, что ли?

— Не ошалели, а прозрели... Будет вам кровь нашу пить... крючки полицейские!..

По деревне понеслась непечатная брань...

К счастью, становой пристав был добродушный человек, к тому же несколько обязанный мне. Заметив, что имеет дело с пьяными людьми, он поспешил уехать.

Когда пристав сообщил мне о проделке столяров и я стал убеждать их в нелепости революционных вспышек без надежды на поддержку населения, то получил ответ:

— Долго ждать придется, покуда ты обломаешь всех!

— Конечно, долго, если я буду один... Каждый из вас должен стараться...

— И рад бы стараться, да слов нехватает, а сердце не терпит, — сказал А. С.

— Своих слов мало, так книжки есть: распространяйте их!

А. С. вскипел:

— Книжки!.. Попадись вот с этой книжонкой, — потрясал он «Сказкой о четырех братьях» Л. А. Тихомирова — упрячут на каторгу [3]... Да я лучше станового или барина пришью — тот же расчет...

Глава третья

БОГОМОЛЫ И АТЕИСТЫ

Среди грамотных крестьян встречались люди, отрицавшие целесообразность «пропаганды», пока темная масса путается в сетях религиозных предрассудков и вопреки тактике интеллигенции не трогать вопросов совести сеяли атеизм.

Особенно заметную роль в этом направлении играл ечник по профессии, З. В деле вышучивания религиозных заблуждений он был настоящим фанатиком не упускал случая заронить сомнение в душу верующего человека.

— Безбожник ты! — раз упрекнула его потаповкая кухарка. — Не будет тебе удачи! Ведь без бога е дойдешь и до порога...

— Эх, старая! Были бы ноги, а то дойду! — ответил й с улыбкой З. — Это у тебя — все бог да бог... без го милости и волоса-то у тебя с головы не падают... я вот что тебе скажу по твоей кухонной части: насыпь квашонку муки и мешай ее сухую лопаткой, твори юбую молитву — теста не будет, а подлей воды, и без «Отче наш» хлебы выйдут...

По зимам, когда З. жил в деревне, в его доме каждый вечер происходили собеседования на разные библейские темы. Среди его книг, где встречались и «Картины вселенной» Савицкого [4] и «История земной коры» Куторги [5], обращал на себя внимание зоологический атлас, специально приобретенный им для доказательства, что история всемирного потопа по библии должна считаться вымыслом.

— Без атласа с нашими мракобесами ничего не поделаешь, — говорил З. — Верят, что потоп был послан наказание людям за грехи, и земля снова заселилась одьми и животными только от праведного Ноя. библии сказано — и баста!.. Там говорится, что Ной зял в свой ковчег всяких зверей, по семи пар чистых по две пары нечистых... Вот я рассчитал с ними по библии, велик ли был ковчег, и спрашиваю: — «Жирафа — какой зверь?» — «Чистый», — говорят. — А слон?» — «Тоже чистый»... Так по атласу всех

и перебрали.—«Ну, теперь смекайте, говорю, много места нужно для весх зверей, по 14 штук каждого?.. I же, говорю, Ной впятил их, если ковчег был 300 лок длины, 50 ширины и 30 высоты, да еще делился на т отделения?..» Задумались мои прихожане...

Когда З. случилось принимать участие в раз'яснен каких-нибудь социально-политических вопросов, поражал и оригинальностью своих доводов, и опя таки умением затронуть какой-либо религиозный пр рассудок.

Однажды в большой компании крестьян шла р о войске. Говорили, что главное назначение арм в мирное время — охранять благополучие власть им щих, — почему вместо народной милиции в госуд стве и существует постоянное войско.

В толпе нашелся ярый милитарист. Как ни ста лись убедить его, что в мирное время можно было обойтись без армии, он все твердил:

— Нет, без солдат никак нельзя! Воевать много ох ов... Распусти-ка солдат—сразу слопают Россию.

— Ну, кого хочешь напустить на Россию? — в шался в разговор З.

— Да я никого не хочу.

— Ведь к примеру — кого?

— Ну, пусть будет немец!

— Ладно. Идет твой немец на нас. У него и пу и ружья, конница и пехота — все как следует по по жению, а у нас нет ничего. Что он с нами будет дела Начнет убивать народ?

— За м убивать, коли мы с пустыми руками!

— Убивать не станет, так к себе уведет, что л

— Это ему несподручно: разве уместишь весь р ский народ в немецкой земле!

— Стрелять не будет; к себе не уведет — так как же решит нашу судьбу?

— Известно, податя принудит платить! — сказал мужик, подумавши. — А то и веру свою заставит принять; свои порядки заведет.

— Немецкие-то порядки лучше наших — от этого в убытке не будем, — ответил З. — Да и доходы-то у немца есть свои: коли прибавить к ним платежи с нас, так, пожалуй, меньше платить придется ему, чем теперь... Ну, а веры не тронет!

— Почему не тронет?

— А потому: ежели захочет держать нас в темноте, то с нашими попами и их сказками—куда сподручнее!..

— Ну, может, и еще что придумает для утеснения!— сказал упорный мужик.

— Да что?

— Бог его знает, что!

— То-то бог знает... Богомолы! Опутали свой разум божьей волей и разобраться-то ни в чем не можете!..

Глава четвертая

МИРСКИЕ ДЕЛА ВСЕХ СВЯЖУТ

За крестьянами-атеистами, не имевшими преемственной связи с «внушителями» из интеллигенции, следовали люди, искавшие приложения своего «прозрения» не к пропаганде словом, а к участию в общественных делах, чем раньше вовсе не интересовались. И это стремление принимать участие в сельских, волостных и земских делах было тем более замечательно, что пропагандисты начала 70-х годов относились совершенно отрицательно к попытке играть какую-нибудь роль

в общественных учреждениях, «созданных без участия народа и далеко не в его интересах».

Один из выдающихся крестьян этого типа говорил мне:

— Ты то возьми в толк: много ли у нас досугу чтоб внушать али слушать: весь день в работе А в праздник не сгрудишь людей для разговору: у Василья—одно, у Петра—другое... Положим, и забредет кто ко мне — ну, потолкуем... А дальше? Чем я свяжу всех?.. Думал я, думал и решил: пойду на мир. На сходах мало ли дел! Бывает так, что и не разберутся, что к чему. Подвернется какой кулачишка, наканифолит ведром водки, сорвет что надо, а потом и скулят, корят друг дружку, не знают, как и выпутаться из тенет... Опять же староста, сборщик, волостные, полицейские — все крутят... Вот ты в Кишанове учитывал сборщика на сходе — весь народ сбежался, потому каждому эти недоимки и платежи шею нагрели: всякому охота поубавить их, если можно... Я еще в старосты норовлю попасть. Тогда уж без опаски буду стараться за мир, никто не скажет: «а ты чего лезешь»?.. Так думаю, что мало-по-малу и мир можно надоумить дружнее стоять за правду... Мирские дела всех свяжут а одно внушение, когда его не к чему пристроить, не больно-то склеивает народ...

Глава пятая

КРЕСТЬЯНЕ-„ВНУШИТЕЛИ"

Эти разговоры велись в 1874 году. Спустя три года и бывшие пропагандисты из интеллигенции пришли к выводу, что одним распространением революцион-

ных идей действительно не свяжешь народ в прочную организацию, пригодную для активной борьбы.

При выработке новой программы не было места разочарованию в прошлой деятельности, да и откуда было взяться этому разочарованию, когда среди грамотных крестьян являлись самостоятельные «внушители», хотя и в ограниченном числе; сочувствующих же пропагандистам была масса. В окрестностях Потапова совершенно безбоязненно можно было произносить зажигательные речи не только на сельских сходах, даже в трактирах, переполненных народом в базарные дни. А как велика была преданность делу сознательных крестьян, входивших в кружок потаповских пропагандистов, можно судить по следующему факту.

Недостаток революционной литературы, пригодной для народа, привел меня к мысли завести в своем имении типографию для печатания книг и брошюр, задуманных Н. А. Саблиным [6], много и др. И вот, в конце апреля 1874 года вместе с Д. А. Клеменцем [7] я привез из Москвы печатный станок, шрифт и пр. Когда подводы с громоздкой кладью прибыли в Потапово, снимать ящики высыпала из своей мастерской вся артель столяров. Из них десять человек знали, что придется тащить, а одиннадцатый, по имени Николай, не пользовался абсолютным доверием и не был посвящен в тайну. Помогая вместе с другими снимать и ставить тяжелые ящики в каретный сарай, он задал мне вопрос: «Что это? Больно грузно». Я, шутя, ответил: «Ружья и револьверы... Надеюсь, скоро понадобятся»...

Приступить к устройству типографии не только не пришлось, а напротив, когда я был предупрежден, что отец Николай, бывший раскольничий поп, сделал на меня донос в Петербурге, потребовалось принять меры,

чтобы при грядущем обыске и следов типографии не открыли.

В ближайший базарный день в соседнем селе Вятском, когда Николай уехал вместе с подручным продавать изделия потаповских столяров, имевших в селе собственную лавку, мы приступили к делу. На помощь явились не только члены артели, но и соседние крестьяне, взволнованные слухом о доносе.

Ящики были раскупорены, все принадлежности тиснения залиты салом, во избежание порчи, когда типография будет зарыта в землю, и снова тщательно заделаны.

Только на похоронах очень близких людей можно наблюдать такую подавленность и сосредоточенное раздумье, какое отражалось на лицах всех участников, когда наше похоронное шествие тронулось.

Ящики несли в лес, бывший когда-то парком. Там, на заранее выбранном месте, была приготовлена громадная яма, куда и спустили принесенный груз.

Я помню свое смущение профана перед высокой грудой земли, оставшейся после того, как ящики были зарыты. «Куда же деть эту землю?» — мелькнула мысль. Но мое смущение быстро исчезло: предусмотрительные рабочие взяли в руки лопаты и стали разбрасывать землю по лесу... Могила была так хорошо замаскирована дерном, сучьями и хвоями, что я с трудом мог найти ее, когда в тот же день понадобилось показать доверенному лицу, откуда впоследствии придется взять типографию.

Мой шутливый ответ Николаю насчет ружей и револьверов был понят им буквально, и, когда он сообщил о мнимом запасе оружия жандармам, приехавшим производить обыск в моем имении, они усилили свое

рвение. После неудачных поисков во всех жилых и не жилых помещениях усадьбы, почему-то особенно подозрительным показался им крутой обрыв над извилистой речкой, протекавшей в имении, и они решили произвести в нем тщательные раскопки. По иронии судьбы за работу пришлось взяться столярам, хоронившим типографию в лесу. Легко представить себе их психологию, когда они с большим усердием разрывали пустую гору, удовлетворяя любознательность жандармов!..

Впоследствии, когда в Потапово перестали заглядывать полицейские власти, бывшие вначале довольно частыми посетителями, потому что результатами их последовательных обысков не было довольно начальство, в мое имение явился Н. А. Морозов [8] и при содействии тех же крестьян увез типографию.

Такие факты не могли, конечно, породить разочарование в значении «пропаганды», и если в новой программе «Земли и Воли» [9] ей отводилось второстепенное место, то исключительно потому, что революционеры остановились на других приемах, казавшихся более целесообразными в интересах организации крестьянства.

Глава шестая

ЧЕГО ХОДИТЬ НА СХОД!

Было известно, что крестьяне, располагающие по закону правом коллективного решения дел на сельских и волостных сходах, слишком индиферентно относятся к этому праву, в большинстве случаев даже вовсе уклоняются от участия на сходах, и общественные дела

решаются ничтожным числом лиц, «кулаками», «каштанами» и их подручными, — зачастую к невыгоде остальных крестьян.

Такое равнодушие крестьян к «мирским» вопросам явилось следствием постоянного давления на них экономически сильных общественников и воздействия власть имущих: старост, старшин и разных представителей администрации, далеко не заинтересованных в том, чтобы сельские и волостные дела непременно решались согласно воли большинства населения.

— Чего ходить на сход! — приходилось слышать от крестьян.—Разве нас там слушают?.. Скажешь слово против богатеев — набросятся, как собаки: «Ты что лезешь, недоимщик!.. И на сход-то тебе не след ходить: своих дел не можешь управить, а туда же лезешь мирские решать!..» А станешь стоять на своем—в кутузку угодишь за милую душу: староста ведь ими посажен и гнет на их руку!

Между тем сельский сход — форма организации, довольно пригодная для об'единения крестьян одного общества, и при правильном развитии могла бы служить защитой от многих зол, выпадающих на долю крестьян в силу их темноты и забитости под гнетом всякого рода эксплоатации. Сами крестьяне говорят: «мир—сила: супротив мира кто волен», хотя в действительности очень редко оправдывают эту теорию при защите своих интересов.

Было очевидно, что для развития самодеятельности крестьян на сельских и волостных сходах необходимо устранить дурное влияние на «мир» разных кулаков, сельских и волостных заправил, а также насколько возможно ослабить вмешательство администрации в крестьянские распорядки.

Наилучшей формой для воздействия на все слои населения волости и при известных условиях на уездную администрацию считалась должность волостного писаря.

И вот прежние «пропагандисты», оставляя распространение революционных идей только на случай встречи отдельных подходящих крестьян, ищут мест волостных писарей, чтобы, пользуясь своим положением, «об'единять крестьян на вопросах дня» и постепенно приучать их отстаивать свои интересы, не смущаясь борьбой с разными врагами их благополучия.

Глава седьмая

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПИСАРЯ

Мне известен только один случай, когда социалист-народник мог попасть в волостные писаря с своим собственным паспортом. Он был мещанин по происхождению и имел свидетельство об окончании семи классов гимназии: то и другое не возбуждало подозрения при определении на службу. Дворянское происхождение служило уже препятствием, тем более — диплом университета или другого высшего учебного заведения, так как в каждом присутствии по крестьянским делам имелось секретное распоряжение о «недопущении в волостные писаря лиц с высшим образованием». Поэтому Ю. Н. Богданович был мещанином Белобородовым и отставным таксатором [10] Витевским; А. К. Соловьев — мещанином Пичкаревым; я служил в Самарской губ. под именем Григория [11] Ивановича Лебединцева, а в Саратовской назывался Александром Ивановичем Страховым и оба раза имел аттестат об окончании курса духовной семинарии.

Помимо фальшивого паспорта, приводившего к дверям волостного правления, нужно было располагать еще кое-какими связями, чтобы отворить эту дверь при содействии одного из членов Присутствия по крестьянским делам.

По теории, находившей подтверждение в циркулярах министерства внутренних дел, члены Присутствия не должны были вмешиваться в дела крестьянского самоуправления, и в частности в назначение волостных писарей. На практике же они с успехом обходили это требование, прибегая к «рекомендации» того или другого лица с полной уверенностью, что эта «рекомендация» равносильна приказанию, подлежащему непременному исполнению.

В Самарской губ. в 1877 г. я попал в волостные писаря, благодаря случайному знакомству с судебным приставом, бывшим в приятельских отношениях с непременным членом Бузулукского присутствия по крестьянским делам. Очень добродушный человек, он был тронут письмом судебного пристава, не пожалевшего красок при описании моих достоинств и настоятельной необходимости дать мне место. Он велел мне притти к нему на другой день за получением «рекомендации» после наведения справки, в какой волости имеется вакансия.

Для поступления на должность волостного писаря в Саратовской губ. пришлось прибегнуть к некоторой конспирации.

В 1878 г. в Саратове был нотариус, Василий Степанович Праотцев, человек испытанной преданности революционным идеям и располагавший обширными связями. Между прочим он был довольно близок с Вольским уездным предводителем дворянства, Николаем

Петровичем Фроловым, и характеризовал его, как прогрессивного общественного деятеля, способного заинтересоваться нашими планами и содействовать их осуществлению. Василий Степанович советовал дождаться приезда Фролова в Саратов и тут познакомиться с ним на его квартире, где он будет чувствовать себя гораздо свободнее, чем в Вольске в качестве уездного предводителя дворянства.

Больше месяца пришлось ждать желанного гостя. Наконец Василий Степанович известил нас, что Николай Петрович будет у него в известный день, и предложил сразу атаковать его общими силами.

Познакомиться с Фроловым пришли Ю. Н. Богданович, я и В. Н. Фигнер[12]: мы — как кандидаты в волостные писаря, а она как необходимый элемент для придания большей яркости впечатлению от знакомства с нами.

В разговоре с Фроловым нам не пришлось скрывать собственные имена, что значительно облегчало беседу и в то же время свидетельствовало о нашем доверии к нему. Мы изложили свои планы в том смысле, что стремимся в волостные писаря с двоякой целью: во-первых, в благоприятных условиях познакомиться с крестьянскими нуждами и потребностями и впоследствии сделать их предметом литературных работ, и, во-вторых, опираясь на свое положение волостного писаря, всячески содействовать свободному проявлению «мирских» склонностей крестьян, заглушаемых влиянием разных эксплоататоров при содействии продажного сельского и волостного начальства.

Оказалось, что Н. П. Фролов, как председатель Присутствия по крестьянским делам, сам стремится к тому, чтобы крестьянское самоуправление не

извращалось под давлением эгоистически настроенных крестьян и должностных лиц. Таким образом в нашем лице он встречал до некоторой степени своих сообщников и обещал нам свое содействие. В видах предосторожности (наша «нелегальность» несколько смущала его) он уклонился от непосредственной выдачи нам «рекомендации» для поступления в волостные писаря, но указал пути, приводившие к той же цели. Мне он посоветовал обратиться в г. Вольске к непременному члену Присутствия по крестьянским делам Н. М. Кострицыну, заранее обещая успех, так как он крайне недоволен наличным составом волостных писарей и будет рад принять на службу новое лицо, к тому же кончившее курс духовной семинарии. Ю. Богдановичу Николай Петрович предложил несколько окольный путь: сначала поступить письмоводителем к вольскому нотариусу Фролову (его однофамильцу), искавшему в то время подходящего человека, и затем, месяца через два просить через него места писаря у исправника — большого приятеля нотариуса; Фролов основательно предполагал, что двух месяцев вполне достаточно, чтобы Ю. Богданович произвел на своего патрона не только благоприятное впечатление, но и возбудил в нем охоту содействовать приисканию лучшего места в смысле получения большего жалования...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПИСАРСКОЕ РЕМЕСЛО

Глава первая

ОБ'ЕДИНЯТЬ КРЕСТЬЯНСТВО В ВОПРОСАХ ДНЯ

В двух губерниях, Самарской и Саратовской, мне удалось пробыть волостным писарем около двух лет, с весны 1877 года по апрель 1879 г.

В Самарской губернии, как я сказал, моему определению на должность волостного писаря содействовал непременный член Бузулукского Присутствия по крестьянским делам.

На другой день после визита к нему я уже имел предписание на имя Богдановского волостного правления и мог уехать туда с полной уверенностью, что не встречу препятствий к занятию должности, так как в своей бумаге непременный член не только «рекомендовал» меня, как вполне подходящего человека, но и «предписывал» «немедленно сдать мне все дела волости и о последующем донести».

Через несколько дней непременный член получил рапорт Богдановского волостного правления за моей подписью о назначении писарем Григория Ивановича Лебединцева.

*

Состав Богдановской волости, расположенной по соседству с Уральской областью, оказался смешанным.

Сюда входили татары, малороссы и русские. Мое незнакомство с татарским языком крайне затрудняло

сношения с татарским населением, преобладавшим в волости. Русских было меньше всего.

Это смешение племен и наречий сразу показало мне, что задача «об'единять крестьянство в вопросах дня» будет очень сложной и потребует слишком много времени для получения заметных результатов. Поэтому на первых же порах мелькнула мысль попасть в другую волость, где не было бы смешанного населения, а пребывание здесь утилизировать в смысле обстоятельного знакомства с обязанностями волостного писаря, канцелярскими порядками и пр.

Глава вторая

ЗАПИСНЫЕ СТАРИКИ

При первой же надобности собрать сельский сход в Бо[illegible]ке я натолкнулся на странное явление, крайне поразившее меня.

— Староста, — обратился я к «начальнику» большого села, — распорядись-ка назначить на воскресенье сход: дело есть.

— У нас сходов этих нету! — вдруг последовал ответ.

— Как нет!?

— Так точно. Мы их третий год как порешили.

— Кто же у вас решает мирские дела?

— А вон! — указал староста по направлению к кабаку, где на завалинке сидело несколько крестьян. — Они и вершают все дела.

Это—вместо сельского схода, где по размерам села даже по закону должно быть не меньше 200 человек — кучка людей, умещающаяся на одной завалинке!..

— Да как же это у вас вышло? — спросил я.

— Миром установили!.. Выбрали двенадцать записных стариков и препоручили... Они у нас за все тут — чего ни коснись...

— Это для чего же так устроили?

— А насчет булгы, чтобы, значит, все без шуму, без свары...

Из дел волостного правления было видно, что решениям «записных» стариков придавалась форма приговора с обычным упоминанием: «быв сего числа на сельском сходе в составе двух третей домохозяев, имели суждение» и т. д. В приговоре перечислялись все имена домохозяев, «а за них, неграмотных, по их личной просьбе, расписывались»... два—три старика или сельский писарь, и староста прикладывал свою должностную печать.

Таким образом «об'единять крестьян на вопросах дня» в Богдановке значило коренным образом ломать установившийся порядок. «Старики» же отличались замечательным единодушием и постоянной готовностью обсуждать мирские дела, за что получали определенное жалование и «угощение» от общества или отдельных лиц, смотря по характеру дел.

Когда я сообщил об этом странном факте крестьянского самоуправления непременному члену, он сказал:

— Хороший порядок! Он действительно исключает сумбур, какой часто бывает на сходах. К тому же этот постоянный ареопаг может значительно ускорять решение общественных дел...

— Как же прикажете относиться к этим незаконным приговорам двух третей домохозяев, когда их не бывает на сходах?

— Если приговоры не возбуждают недовольства крестьян, — смотрите на них, как на правильные... Ведь в действительности на сходах никогда не бывает нужного числа крестьян.

Моя попытка узнать отношение самих крестьян к институту «записных стариков» открыла новый довод в пользу их существования.

— У нас в селе триста душ русских да пятьсот хохлов. Ну-ка, соедини их вместе! А старики—выборные: русские слушают своих и хохлы — своих. Так и идут дела...

Глава третья

ВЫ НЕ УКАЗ МНЕ

Если национальные особенности крестьян села Богдановки порождали «булгу» на сельском сходе и в конце концов привели к замене собрания в 200 — 300 человек двенадцатью «стариками», то разноплеменность элементов, входивших в состав волостного суда, несомненно содействовала появлению справедливости, отличавшей его постановления.

Суды соседних волостей пользовались плохой славой, а Богандовский — такой репутацией, что к нему нередко обращались чужие крестьяне, добровольно подчиняясь его решению, как третейскому суду.

В те воскресенья, когда происходил суд, в помещение волостного правления набивалось столько народа, что лишь сквозной ветер спасал от дурных последствий удушливой атмосферы. Здесь «публика» не только играла роль пассивных зрителей, косвенно влияющих на всех участников в суде, но и непосредственно

вмешивалась в судебное разбирательство, то выдвигая из своей среды лишнего свидетеля, не указанного сторонами, то поддерживая требование судей кончить дело миром.

— Да вот, Павло Семенов может сказать, как было дело! — вдруг раздавался голос из толпы в соответствующий момент.

Судьи приглашали Павло, и он давал показания.

— Мирись, Петрович! — кричал в другом случае какой-нибудь экспансивный зритель.

Совет подхватывался в толпе, и уговоры следовали один за другим:

— Мирись, дядя!.. Судьи добра желают... Мирись!

— Известно, худой мир лучше доброй ссоры...

— Скажи спасибо судьям, и айда домой по-хорошему!

При разборе семейных неурядиц наибольшее умственное развитие обнаруживали представители татарского населения.

Жалуется, например, русская баба на побои своего мужа. Судья-хохол непременно усмотрит основание для защиты главы семейства:

— Як же дурну жинку не бить! Треба ей бить...

Судья-татарин выскажется в противоположном смысле:

— Тебя, что ж, битая баба любить больше будет? И работать станет лучше, коли ты ей печенку отобьешь?..

Однажды на подобный довод татарина-судьи мужик, привлеченный к ответственности женой, заметил со злобой:

— Хорошо тебе!.. У тебя две, а не то три жены. Одна не угодит, так другая сделает, что нужно.

А у меня одна — богом данная... Засупротивничает — и не выкрутишься!

Татарин посмотрел на него с улыбкой и ответил:

— Завидуешь мал-мало... Потому и хорошо мне, что я не бью баб... Тебе двух жен — нельзя: одна теперь, и та уйти хочет...

Все дела о женских обидах в зависимости от дурного обращения с ними мужей обыкновенно кончались миром, так как судьи ясно представляли себе, что отношения между супругами станут еще хуже, если «главу дома» присудить к какому-нибудь наказанию. В настойчивых увещеваниях судей не обижать жену баба в конце-концов находила удовлетворение и «прощала» своего супруга.

Но был случай, когда жестокое обращение мужа с женой вызвало приговор, в то время совершенно немыслимый для окружных судов, а для волостного суда вполне возможный и заключавший в себе чувствительную кару для сурового мужа.

Молодой крестьянин женился на девушке из другого села. Первые годы супруги жили в полном согласии, но затем отношения изменились. Свекровь была недовольна, что у сына нет детей, и не взлюбила невестку. Влияние матери отразилось на сыне, и он стал «сперва ругаться без пути», а потом и «бить зря». Молодая баба вздумала было искать утешения в общении со своими родителями, но муж запретил ей уходить из дому и в первый же праздник, когда она собралась к матери, «избил ее до полусмерти». Ссоры становились все чаще и в конце концов заставили бабу обратиться в жалобой к «праведным судьям».

На суде молодая женщина все время плакала и на злобные реплики мужа часто повторяла:

— Отпустите меня к маменьке, праведные судьи.

Подсудимый вел себя вызывающе дерзко.

— Я — муж! — выкрикивал он: — Хочу бить — и буду бить... Вы — не указ мне!

— Ой, парень, смотри!.. Как бы каяться не пришлось за эти слова! — успокаивали его судьи.

— Моя власть! Что хочу, то и делаю... Еще жаловаться пришла на меня... Па-ас-ку-да!

— Сергей, не ругайся! — послышался голос из толпы:

— Здесь суд, а не твой коровник...

Но Сергей не унимался. На все уговоры судей изменить отношения к жене он или грозил так расправиться с нею, что она забудет дорогу в волостное правление, и упорно твердил: «Я—муж! Могу учить жену».

Судьи послали за его матерью, в расчете, что она повлияет на сына, но старуха только подлила масла в огонь:

— Их дело, праведные судьи!.. Повздорят — и помирятся... Наше дело — сторона.

По уходе матери Сергей стал еще грубее: огрызался на судей и поносил жену.

Наконец он был удален из присутствия на время совещания и, когда судьи пришли к определенному решению, должен был выслушать приговор:

— Ну, парень! — произнес один из судей: — Теперь мы видим, какой ты муж... Надо пожить тебе без жены: авось, утихомиришься!.. Мы решили отпустить ее домой, к ее родителям...

— Как так?! — вскричал Сергей. — Вы не в праве распоряжаться моей женой... Не пущу!

— Не тебе судить о наших правах... И не пустить ты не можешь, коли мы велим...

— На цепь прикую, а не пущу!

— Ишь, кузнец какой!.. До цепи-то ты у нас в кутузке насидишься... Мы велим старшине выдать ей паспорт — и тогда ищи ее!.. А теперь убирайся-ка вон отсюда!.. Староста, уведи его!

В тот же день я вручил жене Сергея паспорт, сделав отметку в паспортной книге, что он выдан по постановлению волостного суда, и велел сельским властям наблюсти, чтобы муж не препятствовал ее от'езду.

К общему удовольствию, Сергей воздержался от насилия, и дело обошлось без кутузки.

«Раздельное жительство супругов» имело хорошие последствия. «Разведенный» муж стал посмешищем в селе, в особенности в кругу молодежи, и не прошло месяца, как он явился ко мне с просьбой:

— Сделай милость, вытребуй жену!.. Житья не стало от девок и парней: проходу не дают — зубоскалят.

— Проси жену, чтоб вернулась!

— Да я был на селе у нее: нанялась на железную дорогу, а где живет — не говорят... Выпиши! Вот тебе за труды 5 рублей. Вернется — еще дам...

— Зачем мне деньги! Возьми назад: я не беру взяток, а тебе пригодятся на езду по железной дороге. С'езди, поищи!.. Попробуй уговорить лаской — может, и вернется.

Через некоторое время я узнал, супруги снова живут вместе, и жена будто бы готовится даже стать матерью.

Вскоре известие подтвердилось: Сергей явился ко мне представить паспорт жены, ставший уже лишним.

— Вернулась? — спросил я.

— Слава богу, вернулась!
— Ну, свет да любовь!
— Спасибо на добром слове!..

Глава четвертая

НАДО ПОСЛУЖИТЬ МАЛОСТЬ

Крайне интересны бывали решения Богдановского волостного суда по делам о нарушении условий по найму.

Зажиточные крестьяне пользовались наемным трудом главным образом во время сенокоса и уборки пшеницы, и уход работника до срока, естественно, вызывал жалобу со стороны хозяина: он требовал возвращения рабочего или возмещения убытков.

При разборе таких дел наибольшую справедливость проявлял опять-таки судья-татарин.

— Давай считать!—говорил он хозяину.—Сколько ты ему дал и сколько он — тебе? — И для определения «прибавочной стоимости» терпеливо высчитывал все, что работник получил в форме жалования, содержания и пр. и какую выгоду извлек из его работы хозяин, если перевести ее на деньги.

— Видишь, — говорил судья, если барыш выпадал на долю хозяина, — он дал тебе больше, чем ты ему: тут и неправда!.. Прибавь ему мало-мало, он и вернется к тебе...

Бывали случаи и принудительного возвращения работника к хозяину или взыскания с него убытков, когда при определении выгод, полученных сторонами, оказывалось, что работник «обидел» хозяина.

Один безлошадный бедняк из местных крестьян пошел в работники на условии, что хозяин даст ему

несколько пудов муки на содержание его семьи, обработает десятину земли под пшеницу, засеет своими семенами и, кроме того, уплатит определенную сумму денег по уборке хлеба. Хозяин выполнил не только все условия договора, но по просьбе работника отдал ему большую часть денег. Работник ушел от него в самый разгар жнитва, когда в Богдановской волости рабочие руки были очень дороги.

Точный подсчет взаимных услуг обеих сторон показал, что если работник не доживет до срока, то хозяин останется в убытке.

— Ты что же это, — упрекали его судьи, — кормил семью хозяйским хлебом, обзавелся пшеницей по его милости, деньги забрал, почитай, все, а хозяину и хлеба дожать не хочешь!

— Господа судьи! Ведь уборка-то теперь чего стоит! — возражал крестьянин. — Мы рядились по весне... Я прошу прибавки, а он не дает...

— Прибавки проси!.. Но сейчас ты ему должен, а не он тебе: надо послужить малость...

После продолжительных уговоров стороны пришли к соглашению: работник доживет срок, а хозяин в виду поднявшихся цен на жнитво прибавит ему некоторую сумму.

Глава пятая

ДОХОД ВАШЕГО СТЕПЕНСТВА

Несмотря на авторитет, каким пользовался богдановский суд, крестьяне привыкли считать его постановления не подлежащими отмене только в том случае,
шел в работники на условии, что хозяин даст ему

будет содействовать исполнению приговора, и потому каждое решение суда обращалось в доходную статью для волостных писарей.

И на меня пытались распространить тот же обычай.

«Разведенный» Сергей предлагал мне 5 руб. за отмену судебного решения: «Сделай милость, вытребуй жену!»

В другой раз делились два брата. Судьи постановили приговор, вполне одобренный обоими и в точности определявший, кому и что следует получить. Младший брат, возбудивший дело, пришел ко мне за копией с решения суда и, когда я дал ее, с поклоном положил мне на стол 3 рубля.

— Это что?

— Вашему степенству! Уж ты постарайся, чтобы брательник не обидел меня...

— Ведь он доволен судом. Зачем же будет обижать тебя?

— Так-то так... а насчет пшена я сомневаюсь: может, и не отдаст.

— Я напишу старосте, чтобы он последил... Вот передай бумажку ему!.. А три рубля возьми!

— Прими, ваше степенство! Сделай милость!

— Чудак ты! Ведь на три рубля ты купишь больше пшена, чем брат должен отдать: тебе не расчет давать мне деньги.

— Так, думается, ваше степенство, прочнее все дело будет.

— Будет прочно и без взятки... Иди с богом!

Крестьянин ушел, повторив еще раз:

— А то взял бы, ваше степенство!..

Глава шестая

МУЖИК ПОУМНЕЛ-С

В первый раз мне пришлось исполнять полицейские обязанности по случаю, сначала причинившему мне большое беспокойство, а потом возбудившему крайнее изумление.

Однажды в волостное правление явились две бабы, ведя под руки третью, закутанную в большой платок. Последняя едва переступала с ноги на ногу и глухо стонала. Бабы усадили ее на лавку и стали развязывать.

— Вот взгляни, кормилец, как злодей изувечил мою дочку! — сказала одна, сняв с нее шаль.

Все лицо пострадавшей, к тому же беременной, женщины представляло сплошной кровоподтек; глаз не было видно; на шее и груди — сине-багровые пятна; живот точно сбит на сторону.

— Баба на сносях, а он вон как ее, сердечную: может и двух дней не проживет,—говорила мать, утирая слезы.

Из дальнейших рассказов матери выяснилось, что Варвара жила с мужем в «казаках» * на покосе. Супругу что-то не приглянулось и он стал «полоскать» ее, убить хотел, да ехали наши мужики — отняли и привезли ее в Богдановку.

Жестокие истязания, грозившие смертью беременной женщине, обязывали меня составить акт осмотра и отправить его вместе с рапортом волостного правления становому приставу.

---

* В Уральской области.

Апатичный волостной старшина, настолько безграмотный, что мог приложить как следует свою печать только если она «с гвоздиком», на мое заявление, что необходимо послать бумагу «с нарочным», равнодушно ответил:

— Напрасно торопишься! Становой не поедет. Не больно он прыток и на важные дела...

— А это разве пустяк?

— Где пустяк, коли баба на сносях... Да становой-то скажет: «бабье дело... Они живучи, как кошки» — и не поедет...

Я не поверил старшине и послал нарочного.

Потянулись дни за днями. Я наводил справки о здоровьи Варвары. Раз сообщили, что «выкинула», сама же «ничего себе». В другой раз известили, что «слава богу, поправляется — ходит»...

Прошло больше месяца, а станового все не было. О Варваре же говорили, что она собирается опять в «казаки».

Приходилось признать мнение старшины правильным, как однажды в полдень к волостному правлению подкатила тройка, и вылез из тарантаса становой пристав.

Молодой сравнительно человек, пристав представился на скорую руку и спросил, проходя в соседнюю комнату:

— Волостной писарь Лебединцев?.. А имя как?

— Григорий Иванов.

— Ну, вот что, Григорий Иванович, распорядитесь прежде всего, чтобы мне дали умыться!

Сторож волостного правления принес ему кувшин с водой, таз и расстегнул ремни его чемодана. Становой вынул оттуда несессер и при помощи сторожа стал



совершать омовение. Скоро я уловил запах одеколона, и вслед за ним появился пристав.

— Ну-с, теперь можно поздороваться, как следует, — сказал он и протянул мне руку. — Знаете что, хорошо бы с дороги перекусить чего-нибудь...

Такая просьба меня несколько смутила. Под видом моей сестры у меня гостила Евгения Николаевна Фигнер [13]; кухарки не было, и хозяйство велось самое примитивное. Молодая девушка очень интересовалась всеми сторонами крестьянской жизни, вникала в волостные дела, а хозяйством занималась настолько, чтобы в пределах самых скромных требований мы были сыты. Невольно мелькнул вопрос: каким же завтраком мы угостим станового? Но он сам выручил меня, прибавив к своей просьбе:

— Мне немного: два—три яйца вкрутую, ломтика два дыни и стакан чаю.

— Сюда прикажете подать?

— Могу и к вам пройти, благо, ваша квартира рядом.

Я пошел распорядиться насчет завтрака. Когда я вернулся в волостное правление, пристав сидел за моим столом и перелистывал разные бумаги.

— Какой у вас оригинальный и красивый почерк! — воскликнул он. — Вы где учились?

— В духовной семинарии.

— Сейчас видно: семинаристы по большей части хорошо пишут... Ну, а чем кончилась история с этой бабой?.. Помните, с нарочным вы прислали рапорт?

— Родила мертвого ребенка, а сама поправилась... Сейчас, кажется, опять ушла на работу.

— Вот, видите!.. По вашему нарочному я понял, что вы еще не обжились в деревне... В другой раз можете

не торопиться с такими делами... Я хорошо знаю этот народ. Мужики драться умеют, а бабы — еще лучше переносить их побои. Часто услышите: «бил смертным боем»... Одни слова!

Завтрак был готов, и мы направились в мою квартиру.

За столом пристав желал блеснуть изысканным вкусом:

— У вас нет горчицы?.. Яйца я ем только с горчицей.

Мелкий сахар, приготовленный для дыни, он забраковал.

— Дыня хороша с перцем... Нельзя ли раздобыть?

У нас не было ни перца, ни горчицы, и пришлось послать сторожа в лавку за этими приправами.

Становой ел один и, очевидно, считал в порядке вещей, что волостной писарь только прислуживает ему.

За чаем он жаловался мне на обилие работы, на постоянные раз'езды по делам, «нестоящим дынной корки», на большую ответственность за упущения по службе и в особенности на бездоходность его должности в настоящее время.

— Мужик поумнел-с! — воскликнул он с грустью.— Теперь уж не напугаешь его требованием из Петербурга привести туда скалу в двести тысяч пудов на построение храма... Да-с, был такой случай, — подтвердил он, заметив мое недоумение. — У нас, в Самарской губернии, был... Лежал в поле, изволите ли видеть, громадный камень, прямо — скала. И вот-с, явился в волость становой пристав, собрал сход и прочел мужикам бумагу, что, дескать, по высочайшему повелению требуется доставить эту глыбу в целости в Петербург... Мужики, конечно, на дыбы! «Как доставишь

экую громаду: ее целой волостью не сдвинешь с места»!.. Ну-с, галдели, галдели, а потом и говорят: «Нельзя ли деньгами откупиться? Может, на наши деньги найдут где другой камень поблизости от Питера». Становой пообещал «войти с ходатайством». Через месяц опять приехал и прочел новую бумагу: «Снисходя, мол, ко всеподданнейшей просьбе таких-то крестьян, повелено вместо доставки камня на построение храма взыскать с них по 5 рублей с души»... И уплатили!.. Теперь пред'яви-ка мужикам даже самое пустяковое требование — сейчас к «аблокату», благо их — что мух на навозной куче!.. Лишнего рубля не получишь! — резюмировал свою мысль становой с большим сожалением.

В волостном правлении пристав передал мне целый ворох бумаг. Чего-чего тут не было! Ведомости о видах на урожай; запросы о нищенстве, случайном и профессиональном; ведомость о числе рогатого скота и лошадей; об'явления о торгах; розыски хозяев к «пришатившимся» лошадям; ведомость о движении народонаселения: розыски разных лиц, не исключая и государственных преступников, для привлечения к судебному следствию...

Мне невольно вспомнилась характеристика обязанностей волостного писаря, сделанная бывшим заправилой Богдановской волости, устраненным от должности.

— Без писаря, — говорил он, — пропали бы все эти полицейские управления, казенные палаты, земские управы, губернаторы, министры... Все — в его руках: разные ведомости, взыскание податей, налогов, всяких платежей; поставка лошадей в войска; рекрутские наборы; призыв запасных солдат на службу... Захочет

писарь — и все движение в государстве стоп!.. Писарь — это только по закону нуль, а на деле, прямо сказать — комитет министров!..

— Вы, пожалуйста, поторопитесь с ответами на все эти запросы, — говорил мне пристав, выкладывая бумаги из своего чемодана. — Ну-с, а теперь пошлите-ка за той бабой, что родила мертвого ребенка от побоев мужа: может, не ушла еще в казаки... Надо оформить дело, раз вы затеяли его...

Через некоторое время в волостное правление явилось двое молодых людей — мужчина и женщина, оба здоровые и цветущие на вид и, как только приблизились к становому, упали ему в ноги.

— Смилуйся, батюшка! — заголосила баба. — Прикончи наше дело... яви божескую милость!

— О, чорт бы вас побрал! — возмутился пристав.— Чего валяетесь в ногах!.. Встаньте! О каком деле ты верещишь?

— Это, ваше благородие, насчет увечья этой бабы... муж-то которую избил... Обоих я привел! — пояснил сторож волостного правления, ходивший позвать пострадавшую женщину.

Я смотрел на эту пару и изумлялся: неужели это— та самая баба, что приводили ко мне, избитую, изуродованную, две старухи, и неужели этот спокойный и миловидный парень мог проявить такое зверство?

— Ну, так о чем же ты просишь? — спросил становой женщину.

— Прости, батюшка, его! Прикончи наше дело... Сама я виновата тут.

— Как виновата?

— А так, ваше благогродие, шустра я, значит, больно.

— Это и видно: вперед лезешь!.. Ну, дальше что?

— Казачишки все задевали меня... и я зубоскалила с ними... Вот один изловчился да и облапил меня. А муж увидал, выждал время и давай учить меня, чтоб я не зубоскалила... Не с худого, ваше благородие, он бил меня... лю-бя!.. И мне больно любо было, как он душеньку свою отводил...

Становой развел руками.

— Дура ты — дура! — вот что я скажу тебе. — «Любо было», как он бил?! А мертвого ребенка родить тоже любо было?

— Уж это — не от него, ваше благородие... Божья воля!

— «Божья воля»!.. Ну, вот что я скажу тебе, драчун! Государству нужны живые, здоровые дети, а не мертвые выкидыши... Если ты еще вздумаешь так учить бабу, то сам попадешь на выучку в острог... А теперь ступайте!

От избытка благодарности баба опять повалилась приставу в ноги.

— Видите, чем кончилась эта история! — сказал мне с упреком становой, когда «счастливые» супруги ушли. — На будущее время уж вы, пожалуйста, не гоняйте ко мне нарочных... Бабе «любо», что ее бьет муж, а я из-за этого скачи, сломя голову!.. И так всяких дел не переделаешь!

Глава седьмая

МЕЛЬКНУЛ ЧЕТВЕРТНОЙ БИЛЕТ

В числе бумаг, привезенных становым приставом, было об'явление управления государственных имуществ о предстоящих торгах на казенную оброчную

статью в 300 десятин. В течение шести лет она находилась в аренде у двух крестьян «кулаков» села М., получивших землю на правах «товарищества». Кончался срок аренды, и нужно было об'явить по волости о торгах на случай, не явятся ли новые претенденты на ту же землю.

Я узнал, что действительные крестьяне села М. давно хотят получить этот участок и отделаться от «кулаков», раздающих казенную землю по частям по дорогой цене.

В тот период при сдаче оброчных статей отдавалось преимущество сельским обществам и вместо залогов, какие требовались на торгах от частных лиц, крестьяне могли представлять общественные приговоры с поручительством сельских обществ в исправной уплате аренды.

М-цы не знали, когда наступит срок аренды у мнимого «товарищества» и будут ли назначены торги в текущем году.

Я сообщил им то и другое, обещал свое содействие, и среди крестьян началось брожение.

Как ни старались они в тайне вести переговоры друг с другом и со мной, «кулаки» пронюхали, что сельское общество затевает отбить у них землю.

Однажды рано утром ко мне на квартиру явилось двое солидных крестьян и после обычного моления перед иконой прямо приступили к делу.

— Участочек мы держим возле нашего села, — так к тебе с докукой: нет ли какой весточки насчет об'явки торгов на него?

— Пока еще нет, — ответил я согласно обещанию крестьянам не говорить «кулакам» о полученном об'явлении.

— А наши мужичишки не забегали к тебе по этому делу?

— Тоже спрашивали, нет ли об'явки.

— Были, значит?

— Были и просили оповестить, как придет бумага.

— А не знаешь, кто был?

— Не знаю. Невдомек было спросить.

— Так вот что, ваше степенство, как в прошлые разы, так и ноне у нас положение: писарю сто рублей за молчок о бумаге... Нам скажи, а наклейки этой по сборным избам не делай!.. Понял?

— Как не понять!

— Коли перехватят у нас участок — прямо раззор! Теперь землю кортомят у нас свои же, и все больше в долг. Есть которые по два—по три года не платят: «подожди да подожди!» Ждать можно, коли участок в руках, а вырвут его—прощай денежки!.. Так, значит, по рукам: можно надеяться?

Я выразил полную готовность послужить им, и мы расстались.

В данном случае я не представлял себе иной тактики. При сдаче оброчной статьи сельское общество могло быть приравнено к «товариществу», и те же «кулаки» отбили бы на торгах у крестьян землю, предложив за нее большую плату. Мне нужно было узнать максимум суммы, до какого пойдет «товарищество», а узнать это я мог только при их уверенности, что я — на их стороне.

Приближалось время торгов. «Кулаки» продолжали наведываться, нет ли об'явления?

— Да вы что? Сами поедете на торги? — как-то спросил я.

— Нет, мы не ездим... Коли нет охотников на землю, зачем ехать... В пакете цену об'явим.

У М-цев все было готово: конспиративные совещания кончились, составлен был общественный приговор и засвидетельствован в волостном правлении и выбраны двое доверенных для поездки в Самару.

В ближайший почтовый день я сообщил «товариществу», что пришла бумага.

— Вы торопитесь! — сказал я. — Чрез недельку вывешу об'явление, и тогда мужики узнают о торгах.

— Зачем же тебе вывешивать! Ты молчи: ровно й не было приказа.. Мы отблагодарим тебя по уговору.

— Так-то так, а об'явить все-таки надо: ваши мужики подадут жалобу, что я скрыл об'явку, а за это — и с места долой!

— Ну, что они смыслят! У нас это не впервой!..

— Я говорю: торопитесь! У вас целая неделя впереди, а мужики и узнают о торгах, — когда еще повернутся!.. Ко мне же придут, и я позадержу...

— Это ты правильно.

По их просьбе, я написал им заявление в управление государственных имуществ и таким образом узнал, что они желают оставить за собой оброчную статью не то по 1 р.50 к., не то по 2 руб. за десятину в год.

— Казна милостивая! — сказал один «кулак» с саркастической улыбкой на мое замечание, какой большой барыш получают они, сдавая землю в аренду по 6—7 рублей под один хлеб.

— Ну, теперь свезем пакет в Бузулук на почту — и делу конец! — заявили «кулаки» на прощанье. — А насчет 100 рублей не сумлевайся: все равно, что у тебя в кармане!...

Оброчная статья досталась сельскому обществу.

Мнимое «товарищество» негодовало, но ни один из представителей его не решился явиться ко мне с претензией. Крестьяне передавали, что «кулаки» об'ясняли мое содействие сельскому обществу тем, что оно «сразу отвалило мне куш», как только я засвидетельствовал его приговор, а они лишь «сулили» 100 рублей...

В действительности материальная благодарность со стороны крестьян приняла в конце концов довольно смехотворную форму.

Вскоре после того, как доверенные общества уехали на торги, ко мне явилось двое крестьян села М.

— Мы от общества! — отрекомендовались они. — За труды твои мужички прислали гостинец... не погнушайся, прими.

Передо мной мелькнул «четвертной билет».

— Что вы! За что?—энергично запротестовал я.— Вы платите мне жалованье, чтобы я служил вам. Я был обязан сказать о торгах и сделать все, что исполнил. Денег мне не надо.

— Обязан! Оно, конечно, по закону ежели, обязан, а все же не будь твоего усердия, участок опять ухватили бы наши толстосумы, — сказал один крестьянин.

— Нет, уже ты прими гостинец! — поддержал его другой.—Маловато, может, так еще прибавим, как разживемся...

— Не надо мне никаких денег, и, пожалуйста, не приставайте: не возьму и тысячи рублей... Поезжайте с богом домой!

— Да ты не серчай,.. не с обидой мы ведь к тебе...

Еще долго уговаривали они меня на все лады взять деньги... Когда же наконец убедились, что назойливость

их действительно раздражает меня, они вдруг изменили тактику:

— Ну, вот что, — сказал один. — Мы отлучимся на часок, а потом опять придем к тебе... Ладно?

— Приходите, только уж без этой канители!

— Нет, нет, не сумлевайся!

Я видел из окна, как они направились к кабаку.

Прошло больше часа, прежде чем они снова явились ко мне.

По их жестикуляции и выражению глаз ясно было, что они изрядно «угостились» в кабаке... Из карманов обоих выглядывали бутылки.

— Ну, Григорий Иванович! — сказал с большой развязностью один. — Денег ты не взял, так по крайности прими от нас... вот!..

С этими словами один вытащил из кармана бутылку водки, а другой — наливки.

Я отстранился.

— Ни водки, ни вина я не пью — чай, слышали?.. И напрасно вы размотали общественные деньги... Теперь вам мой совет: айда домой! Кажется, достаточно угостились?

— И вина не хочешь взять?

— Нет.

— Чем же мы отблагодарим тебя?

— Добрым словом.

— Добрым словом?.. Это завсегда при нас!

— И ладно, коли так! А теперь прощайте! Мне некогда.

Я направился было к двери.

— Постой малость!.. Скажи, Григорий Иванович, ты не в обиде на нас?

— Нет, не в обиде.

— Так вот что, парень! От нас угощенья не принимаешь, так... угости нас!.. Дай по стаканчику... за дружбу, значит.

Пришлось скрепить дружбу не двумя, а четырьмя стаканами.

Глава восьмая

ПРОШУ ПЕРЕВОДА

При отсутствии в Богдановской волости поводов для общественной борьбы деятельность волостного писаря утрачивала интерес, и я стремился попасть в другую волость Бузулукского уезда с надеждой, не встречу ли там более благоприятной обстановки для преследования главной цели жизни в деревне—«об'единения крестьян на вопросах дня».

Я узнал, что свободная вакансия писаря имеется в Страховской волости и через непременного члена присутствия по крестьянским делам подал прошение о переводе меня туда. Свою просьбу я мотивировал желанием занять должность с большим окладом содержания, чем жалованье в 30 рублей, какое я получал в Богдановской волости.

Очередные заседания присутствия по крестьянским делам бывали по понедельникам, и я должен был прибыть в Бузулук накануне, чтобы узнать у непременного члена, есть ли надежда на перевод.

— Завтра зайдите в присутствие, — сказал мне Иванов,—наш председатель не очень одобряет такие мотивы, как у вас в прошении.

На другой день в плохой гостинице, где пришлось остановиться, я привел себя «в порядок».

Коротко остриженные волосы, бритый подбородок, стоячий крахмальный воротничок не первой свежести с зеленым галстуком, поношенный пиджак коричневого цвета с серыми брюками, несколько укороченными книзу, — все это придало мне такой вид, что, взглянув в зеркало, я невольно подумал: как бы не сочли за пропойцу?..

В определенный час я был в присутствии. Собралось не мало народа. Были крестьяне-просители, волостные старшины, сельские старосты... Я хотел затеряться в толпе, но вышел секретарь присутствия со списком и стал определять, кто явился.

— А вы по какому делу?—спросил он меня небрежно.

— Волостной писарь Лебединцев... Прошу перевода в Страховскую волость.

Он бросил на меня подозрительный взгляд.

Долго пришлось ждать мне своей очереди. Наконец позвали.

В присутствии сидели предводитель дворянства Жданов, облеченный в дворянский мундир, крайне невзрачный председатель земской управы Ковзан, очень благообразный исправник Шишкин, мой знакомый, непременный член Иванов, и секретарь.

— Ты что? — сразу огорошил меня председатель, когда я вошел в присутствие и поклонился ему.

— Прошу перевода, ваше превосходительство, в Страховскую волость.

— Проворовался, видно, в Богдановке.

— Никак нет-с... Жалованье маловато.

— А ты семейный, женат, дети есть?

— Холостой, ваше превосходительство, но у меня мать больная и два брата малолетних. Им помогать надо.

— А учился ты где? — спросил председатель, видимо, разглядывая мое прошение.

— Окончил духовную семинарию, ваше превосходительство.

— Э... э... э, — заерзал в кресле предводитель дворянства. — Гм... так вы кончили курс духовной семинарии?..

— Так точно.

— Э... э... э... Подождите в приемной. Мы сейчас обсудим ваше ходатайство.

Через несколько минут меня снова позвали в присутствие, и Жданов заявил, что просьба моя уважена.

— Считаю нужным предупредить вас, — добавил он, — что в Страхове волостной писарь должен вести себя вполне безукоризненно. Там имение Григория Сергеевича Аксакова, пользующегося большим влиянием, и вы будете находиться под его постоянным надзором.

«Еще начальство!» — невольно подумал я.

Сделав общий поклон в знак благодарности за исполнение моей просьбы, я хотел было удалиться, как на меня посыпались приглашения: исправник велел зайти к нему получить указания относительно взыскания недоимок; председатель земской управы — захватить с собой полисы по добровольному страхованию; непременный член — постановления присутствия по делам волостного суда.

На приеме у исправника я убедился, что имею дело с воспитанным человеком, неспособным унизиться не только до грубого обращения предводителя дворянства Жданова, но и до «важности» председателя земской управы Ковзана, избегавшего в обращении ты, но зато все время державшего меня у притолки.

Исправник пригласил меня сесть и повел беседу о степенях необходимой строгости при взыскании податей в зависимости от того или другого положения крестьянской семьи. Он сказал мне, что в ноябре, во время рекрутского набора, когда все волостные старшины и писаря будут в сборе, он потребует об'яснений относительно каждой семьи, не уплатившей сполна всех налогов.

Это предупреждение заставило меня в Страховской волости подробно ознакомиться с семейным составом и заработками всех крестьянских дворов, имевших несчастие попасть в списки недоимщиков. Впоследствии такое знакомство с причинами несостоятельности этой группы крестьян оказало мне большую услугу.

*

Распоряжение о моем переводе не заставило себя ждать. Не прошло и двух недель, как я сдал дела Богдановской волости своему заместителю и вступил в отправление обязанностей писаря Страховской волости.

Глава девятая

ВСЕХ ПЕРЕПОРЮ, МЕРЗАВЦЫ!

На первых же порах своей службы в селе Страхове я убедился, что значит «находиться под постоянным наблюдением» такого влиятельного генерала, каким был Григорий Сергеевич Аксаков.

Брат известного славянофила, Ивана Сергеевича Аксакова [14], Григорий Сергеевич в начале 70-х годов

был самарским губернатором. Благодушный человек, он старался в своей административной деятельности руководствоваться «законом» и требовал того же от своих подчиненных. Естественно, что при таком губернаторе ни земские, ни городские деятели не встречали обычных препон; оживилось и общество в своих стремлениях приносить пользу на почве просвещения и благотворительности. Зато поклонники произвола были крайне недовольны таким «либеральным» губернатором и путем интриг убедили в конце концов Петербург, что Г. С. Аксаков «распустил» Самарскую губернию.

«Подтянуть» губернию явился Ф. Д. Климов, бывший сподвижник виленского Муравьева. В качестве представителя такой узкой программы он и к голоду, постигшему населению Самарской губернии в 1873 г., отнесся с предвзятой идеей о распущенности и открыл борьбу с земством и крестьянами. Земство при нем лишилось выдающегося общественного деятеля, председателя губернской земской управы, А. Н. Хардина, удаленного по высочайшему повелению, а голодные крестьяне были приведены в состояние такой подавленности, что боялись и заикнуться о правительственной помощи.

Достаточно привести один факт из деятельности этого губернатора, чтобы видеть, в чьих руках находилась судьба населения в тот злосчастный период.

Доложили Климову, что крестьяне Самарского уезда не только испытывают крайнюю нужду в хлебе, но удручены еще состоянием своих полей, предвещающем на осень плохой урожай пшеницы. Климов, захотев лично проверить эти слухи, отправился в коляске в ближайшее село. Крестьяне были предупреждены о приезде губернатора и встретили его на

дороге. Наивные люди, они упали на колени и стали просить о помощи. Губернатор велел им встать и проводить его в поле. Там, окруженный толпой, он приказал старосте сорвать один колос и подать ему. Толпа замерла в ожидании, чем разрешится ее участь.

Климов взял колос, растер его на ладони и крикнул:

— Смотрите! Вот вам зерно — на подати, зерно — на семена, а для еды... вот еще сколько осталось! И вы смеете кричать что у вас голод!.. Всех перепорю, мерзавцы!..

Аксаков, конечно, не разделял губернаторских воззрений на голод. В качестве частного лица, он в том же 1873 году сумел организовать помощь крестьянам и на свои средства и путем сбора пожертвований, превысивших два миллиона рублей.

Климову не нравилось это «противодействие власти» и, хотя он пытался пресечь «преступную» деятельность Аксакова, все-таки не мог преодолеть влияния его связей, не считавшихся с губернаторскими доносами.

Крестьяне, земские гласные, дворяне, вся лучшая часть общества были глубоко возмущены политикой Климова и, по мере того как росла неприязнь к губернатору, все более и более закреплялись симпатии к Г. С. Аксакову. Стоило ему только обратиться с какой-нибудь просьбой в земскую управу, присутствие по крестьянским делам, даже к исправнику, как сейчас же следовало удовлетворение.

В Страховской волости его значение сказалось в двух направлениях: крестьяне безбоязненно шли к нему с каждой нуждой, а должностные сельские и волостные лица часто менялись по жалобе недовольных

крестьян. В особенности не засиживались на своем месте волостные писаря, возбуждая преследования то пристрастием к пьянству, то к вымогательству, то крайней неисполнительностью по своей безграмотности. Часто в волостном правлении не было вовсе писаря, и его обязаности исполнял сельский писарь. Естественно, что при таких условиях в канцелярии волостного правления царил полный хаос, и при поступлении на должность мне прежде всего предстояло разобраться в нем и привести дела в порядок.

Для ускорения этой процедуры, а также для знакомства с характером волостных дел ко мне приехал Юрий Николаевич Богданович и занял место моего помощника под именем мещанина Белобородова.

Вдвоем мы принялись очищать канцелярию волостного правления от всяких залежей и выяснять вопрос, на защите каких интересов следует заняться «об'единением крестьян».

В бумагах волостного правления часто попадались «отношения» с печатным титулом: «Экономия Г. С. Аксакова», заключавшие в себе разные требования, вплоть до приглашения волостного писаря «явиться для личных об'яснений». Эти предложения исходили не только от самого Г. С. Аксакова, но также от управляющего его экономии, что ясно свидетельствовало о том, что на барском дворе волостное правление считается исполнительным органом, подчиненным власти влиятельного помещика.

Начальнический тон «конторы экономии» заставлял предполагать, что если управляющий третирует волостное правление, то по отношению к крестьянам может проявлять большую грубость и, в своих

заботах о барских интересах, совсем не считаться с их нуждами... Невольно думалось, что на этой почве может легко создаться повод сорганизовать крестьян села Страхова для борьбы с управляющим экономии.

— Вы довольны управляющим?—спросил я одного крестьянина. — Не обижает вас?

— Пофыркает когда, а большой обиды нет... Нам ведь пути на барский двор не заказаны: чуть что и— к Григорию Сергеевичу!

— А он всегда за вас?

— Как придется... По правильности рассудит.

Уж из того факта, что крестьяне звали Аксакова не барином, не генералом, а просто по имени и отчеству, можно было заключить, что он пользуется и любовью и авторитетом.

Убеждение в его справедливости, сложившееся путем опыта, отражалось и на числе дел волостного суда: многие споры и недоразумения кончались при участии самого Аксакова, не доходя до волостного разбирательства.

Глава десятая

ХОРОШИЕ ГОСПОДА

При выяснении земельного вопроса в пределах Страховской волости мы с Юрием Богдановичем убедились, что и в этой области в ближайшее время нельзя ждать острого недовольства крестьян.

В состав волости входили бывшие крепостные крестьяне помещиков: Аксакова, Коптевой и Обуховых.

Аксаковские крестьяне, получившие полный надел, пользовались еще большим участком земли и платили

за него такую, сравнительно, ничтожную аренду, что у крестьян соседних волостей возбуждали зависть.

— А, храни бог, — говорили арендаторы, — неурожай али другое что — к примеру, скотина пала — толкнись к Григорию Сергеевичу, и отсрочит уплату, а в голодный год и вовсе простил...

Кроме того, при обработке земли, многие крестьяне прибегали к наемному труду, что еще нагляднее свидетельствовало об отсутствии аграрных осложнений.

Коптевские крестьяне находились прямо в исключительных условиях. Еще задолго до уничтожения крепостного права («и слухов не было о воле») их помещица подарила им всю свою землю на условии, что они будут содержать ее «по конец ее жизни».

— Все, чего только хотела ее душенька, — любовно говорили старики, — все доставляли ей!

— Хорошая была барыня?

— Прямо сказать: ангел, а не человек! И за что только нашим отцам бог такое счастье послал!

Имя древней старухи Коптевой окружено было даже легендой. Пожилые люди уверяли, что в период Пугачевской расправы [15] с помещиками ее миновала горькая участь потому, что крестьяне спрятали ее в одно из колес водяной мельницы, куда сподвижники Пугачева не догадались заглянуть...

Обуховские крестьяне тоже не жаловались на своих бывших господ и почему-то были уверены, что с прекращением рода Обуховых вся земля последних сделается их достоянием даже без вмешательства власти.

В период моей службы в Страховской волости в Обуховской экономии жила только одна из пред-

ставительниц этого рода. Для характеристики ее отношений к крестьянам можно привести факт, что в случае недоразумений, требовавших вмешательства суда, она обращалась не к мировому судье, а в волостной суд и подчинялась его решению, хотя бы оно и не совпадало с ее предварительными расчетами.

— Не брезгует нашим судом! — с некоторым удовлетворением говорили крестьяне.

Одно из таких дел разбиралось при моем участии.

Обуховой была послана повестка с приглашением «пожаловать на судебное разбирательство» в определенный час.

Время шло. Список очередных дел был почти исчерпан. Мне казалось, что барыня не явится, как вдруг к волостному правлению подкатил шарабан и из него вышла дама.

Суть ее дела заключалась в том, что один из крестьян, работавший у нее «исполу», не выполнил какого-то обязательства; она желала за это получить с него денежное вознаграждение, а он предлагал рассчитаться с ней хлебом после молотьбы.

Из правдивых показаний крестьянина выяснилось, что только стечение крайне неблагоприятных обстоятельств помешало ему исполнить договор, и что в назначенное время он непременно уплатит ей долг.

— Повремени малость!—просили ее судьи.—Сама видишь, сколько бед накатило на него сразу!.. С тобой, храни бог, случись то же — и ты запросила бы отсрочки...

Обухова все время держала себя просто; из уважения к суду давала об'яснения стоя и очень внимательно прислушивалась как к допросу, судей, так и к показаниям своего должника.

— Раз вы просите, — сказала она, — я согласна. Только обяжите его подпиской непременно доставить пшеницу после молотьбы.

— Мы тебе копию с нашего решения дадим, — заявил один судья: — крепче расписки будет!.. Покажи ее старосте — он уж взыщет!.. Будь покойна!..

Обухова поклонилась судьям и вышла.

На меня лично она произвела впечатление человека, пытливо вдумывающегося в крестьянскую жизнь и желающего непосредственно изучить ее. Мне казалось, что она, если не сестра, то близкая родственница революционерки Обуховой [16], жившей одновременно со мной в Женеве в 1876 году, и, вероятно, отражает на себе влияние этой эмигрантки. Раз'яснить этот вопрос не позволяло мое положение волостного писаря. Однако, и первого знакомства с Обуховой было достаточно, чтобы исключить ее «Экономию» из числа пунктов, где может вспыхнуть борьба крестьян с помещицей.

Глава одиннадцатая

ПРОГРАММА „ЗЕМЛИ И ВОЛИ“ НА ПРАКТИКЕ

Столкновений населения Страховской волости с администрацией тоже не предвиделось. В лице Г. С. Аксакова оно имело постоянного защитника, и если что ускользало от его посредничества—то лишь взыскание разных платежей и недоимок: в этой области царил исправиник Шишкин и в заботах об «обеспечении государства» обнаруживал большое усердие.

В итоге наших изысканий с Юрием Богдановичем получилось такое впечатление, что в Страховской

волости не только нечего делать вдвоем, но даже одному едва ли удастся в ближайшее время применить программу «Земли и Воли».

Богданович успел уже усвоить процедуру волостных дел. С целью получить место волостного писаря через бузулукского исправника он писал все бумаги, какие следовало направлять к нему и вероятно обратил на себя внимание как своими «рапортами», составленными вполне грамотно, так в особенности «цифровыми отчетами» и «ведомостями», к чему, как бывший землемер, мог приложить свое редкое искусство графить.

Он послал прошение и в ожидании места стал расширять свои знакомства с представителями разных слоев населения с. Страхова. Между прочим он сделал визит симпатичному местному священнику Черемшанскому и предложил ему свои услуги читать в церкви «апостола» и «шестопсалмие» и участвовать в хоре.

Священник пришел в восторг от встречи с обладателем столь редкого баса, какой был у Богдановича, представив себе рост богомольцев от появления на клиросе такого певчего и чтеца на амвоне.

— А уж как госпожа Аксакова будет довольна, — говорил о. Черемшанский, — и выразить вам не могу!

В первое же воскресенье музыкальная октава Богдановича скрашивала деревенский хор, и с такой выразительностью был прочтен «Апостол», что прихожане особенно любезно раскланивались с моим помощником при выходе из церкви.

Обычно в страховской церкви обедне предшествовала заутреня, всенощная была крайне редко; теперь же почти каждую субботу церковный колокол сзывал

прихожан слушать «шестопсалмие» в артистическом исполнении Богдановича.

Наконец волостное правление получило предписание исправника с извещением, что помощник писаря мещанин Белобородов назначен волостным писарем Алексеевской волости, и Богданович поспешил оставить свои мирные занятия причетника...

Об его от'езде скорбел священник, сожалели и крестьяне, но больше всех огорчена была старушка Аксакова, сделавшая даже попытку удержать его в Страхове, предложив в дополнение к его жалованью помощника волостного писаря платить ему от себя по 100 рублей в год.

Глава двенадцатая

Я ЖЕ НЕ ДОПЫТЫВАЮСЬ

Богданович уехал. Я приступил к проверке семейных списков и к другим подготовительным работам по рекрутскому набору в ноябре. К тому же времени нужно было составить и опись крестьянских домов, не уплативших к сроку окладных сборов, на что хотел обратить внимание исправник.

Чтобы не отрывать крестьян от обычных занятий, я предпочел не вызывать их в волостное правление, а самому ездить по волости и на месте собирать нужные сведения.

Первая работа не представляла для них новизны и возбуждала только благодарность, а вторая вызывала большое смущение, потому что крестьянам казалось, что за выяснением недоимщиков немедленно последует опись и продажа их имущества.

При определении недоимки я руководствовался сведениями сборщиков податей и старался выяснить причины, почему та или другая семья оказалась неаккуратной.

— Дай срок — уплачу! — прежде всего следовал сердитый ответ на мой запрос, что помешало крестьянину внести налог.

Приходилось рассеять подозрение.

— Ведь я не понуждаю тебя платить, — убеждал я, — за тобой, вот, числится в недоимке 15 р. 20 к. Исправник спросит, почему старшина не взыскал?

— Я сказывал старшине...

— Сказывал!.. Старшина-то у нас, сам знаешь, какой: неграмотный и отстоять себя не может... Ты ему об'яснил, а он забыл... Я запишу все с твоих слов. Не сомневайся: к худу не будет!

— Кажинного эдак и будешь спрашивать?

— Всех, за кем есть недоимка.

— Что же ране-то писаря не допытывали?

— Спроса не было... А теперь исправник в городе мне прямо сказал, что будет спрашивать: почему ты, другой — все недоимщики не могли уплатить?.. Я узнаю от тебя, какая беда стряслась над тобой, запишу, а спросит исправник — скажу: вот, мол, по какой причине он не извернулся... Понял?

— Давай бог, коли так...

— Чудак ты! Я же не допытываюсь: есть ли у тебя что для продажи? И знать мне не к чему. Ты об'ясни дело, как есть, чтобы я мог и тебя оправдать и старшину спасти от кутузки... Ведь я вам служу, а не исправнику: мне ровно наплевать, о чем он хлопочет...

Наконец подозрительный крестьянин уяснял себе значение нужных мне сведений и говорил:

— Ну, спасибо! Теперь я понял, к чему твои хлопоты... Уж не обессудь, что зря промаял тебя... Больно строго насчет податей-то ноне: исправник ворчит, становой орет, старшина, староста, сборщик — все за одну веревку тянут. Так ты спрашиваешь, какая беда стряслась надо мной?

И крестьянин старался яркими красками обрисовать неожиданную комбинацию экономических осложнений, выбившую его из колеи.

По двум—трем спросам я убедился, что мои исследования затянутся надолго, если я не обращусь к сельским сходам за раз'яснением условий образования недоимки. К тому же «на людях» моя пытливость могла возбуждать меньше сомнений, чем с глазу на глаз. «Не станет же писарь весь мир морочить»...

При содействии сходов мои записи пошли быстрее.

— У тебя сколько работников в семье? — спрашивал я крестьянина.

— Трое.

— И все дома работают?

— Нет, старший сын на сторону ходит...

— Вот исправник и скажет: «Три работника в доме—кажется, могли бы уплатить все подати?»

— Да у меня старший-то сын два месяца больной в городу пролежал: вот какой грех вышел!

— Так и запишем... Этим можно отмахнуться от исправника.

— Ну, а у тебя какая незадача вышла?—обращался я другому недоимщику.

— У меня тоже три работника и все дома... Да лошаденка у нас замоталась, стала припадать на одну ногу; дальше да больше, а потом и вовсе свалилась... Завели другого мерина — вот и нехватка!

— Ладно. Этим тоже отобьемся от исправника...

Скоро в моих руках был точный список домов, где в зависимости от разных причин накопилась недоимка.

Подготовиться к защите крестьян на генеральном смотру исправника значило пристальнее вглядеться в обиход наиболее бедных семей. Как часто передо мной вскрывались такие замысловатые сцепления мелочей крестьянской жизни, имевшие серьезные результаты, что без непосредственного соприкосновения с деревней нельзя было бы и представить себе таких причин и следствий!

Глава тринадцатая

НЕ СПУЩАТЬ БАРСКИМ ХОЛУЯМ

Вскоре мне пришлось прервать на один день свои раз'езды по волости по исключительному поводу.

Из конторы экономии Г. С. Аксакова в волостное правление явился сельский староста вместе с каким-то невзрачным парнем и подал мне пакет.

— От господина управляющего! — пояснил он.

В пакете оказался годовой «билет» приведенного незнакомца и краткое сообщение о том, что у него «опознана лошадь, два года тому назад украденная в экономии».

«Отобрав у виновного коня и паспорт, — писал управляющий, — его самого сопровождаю в волостное управление для отправки под строгим конвоем в Бузулукское полицейское управление на предмет заключения его, как конокрада, в тюрьму — и о последующем прошу уведомить».

С досады на такое самоуправство я накинулся на старосту:

— При тебе отобрали лошадь?

— Нет. Меня только кликнули отвести его в волость.

— Так что ты не видал погонной («погонной» называется свидетельство, выданное полицией или волостным правлением для розыска украденной лошади, с подробным перечислением ее примет) и не сличал примет?

— Сам не видал... Сказал управляющий: «она» — и велел отвести...

— Как раз сельскому старосте так и следует поступать: не разобрав дела, тащить человека!..

Староста смущенно смотрел на меня... Я обратился к парню:

— Ну-ка, расскажи, как было дело?

Он находился еще под влиянием пережитой пертурбации на барском дворе; переступал с ноги на ногу и не мог передать связно, что случилось. Чтобы ободрить его, я протянул ему паспорт, предварительно записав его, и сказал:

— Вот твой билет! Спрячь. У тебя зря отобрали его...

Он вытащил из-под полы засаленный бумажник, положил туда паспорт и снова спрятал в карман.

— Это твоя лошадь, что отобрали?

— Отцовская.

— Доморощенная?

— Нет, в Сороках на ярмарке купили.

— Есть расписка на нее?

— Есть. — Он снова полез в карман и проговорил: — Я сказывал про расписку, да управляющий не взял... Только лаялся, как собака...

Расписка была выдана в канцелярии станового пристава неграмотным лицом при двух свидетелях; в ней значилось, что лошадь доморощенная, и были перечислены все ее приметы. Фамилии и адреса продавца и свидетелей были указаны.

Я знал, что на конских ярмарках часто составляются фальшивые расписки, и краденые лошади выходят за «доморощенных», но в глазах парня документ был действительный, и подозревать его в краже лошади не было никаких оснований.

— А в «погонной» управляющего — те же приметы? — спросил я.

— Те же... Да и лошадь сама к ним зашла: признала свой двор!

— Вот как!

— Верно... Мы с обозом здесь: кладь везем в Бугуруслан... Остановились на конце села покормить коней, а потом погнали на водопой. На обратном пути мой мерин и завернул на барский двор. Там его и загнали...

— Значит, ты признаешь, что у тебя оказалась краденая лошадь?

— По всему видать — так... Да я тут не причинен...

В волостное правление пришли еще два возчика. После обычных приветствий один развязно спросил:

— Ну, что, Гришуха, выкарабкался али боле завяз?.. У нас все готово: кладь твою разложили по возам и телегу привязали к Ивану... У него конь сдюжит!.. Как, ваше степенство,—обратился он ко мне,—с нами он едет, или в острог?

— С вами, с вами!—ответил я, улыбаясь.—Хорошо, что зашли... Нет ли среди вас грамотного?

— Да я малость маракую! — сказал тот же ямщик.

— Вот подпиши-ка бумажку, а староста печать приложит.

— А за это не велят мне на моей вышке овец пасти? — спросил ямщик, хлопнув себя по голове.

— Не бойся!.. Я прочту, что написал.

И я прочел «акт», соответствующий всем обстоятельствам дела, куда включил и неправильности, допущенные управляющим по отношению к возчику.

Староста из боязни управляющего колебался, приложить ли печать, но я пояснил, что раз он привел ямщика, то должен удостоверить этот факт, и он против воли подчинился...

— Ну, теперь можешь итти! — сказал я Григорию. — Придет время, тебя вызовут в суд... А на управляющего за самоуправство советую подать жалобу мировому. Сам он не имел права распоряжаться: отнял паспорт, арестовал тебя — не его это дело...

— Ну, где нам, ваше степенство, с ним тягаться! Вон он в каких хоромах живет!.. Да и свидетелев не найдешь... Староста, и тот было в кусты удрал...

— Я пойду в свидетели... Покажу все, как было, и представлю вот эту бумажку, — указал я на «отношение» управляющего. — А кроме того, свидетелями будут твои товарищи-возчики, да и староста не может отпереться: ведь он принес пакет и привел тебя...

— Что же, Гришуха, обмозгуем дома это дело, — сказал развязный ямщик: — Не все же спущать барским холуям!

Я написал на клочке бумаги имя управляющего, свое и старосты и подал Григорию:

— Вот тут все, кого надо вызвать к мировому.

— Благодарим покорно, ваше степенство!.. Дай бог тебе здоровья! — посыпались благодарности...

Глава четырнадцатая

ВЫГОВОР ЗА САМОУПРАВСТВО

Едва ли обоз успел выехать из села, как в волостное правление прибежал управляющий.

— Григорий Иванович! — воскликнул он, подавая мне руку. — Зачем же вы отпустили этого негодяя!? Ведь этак от конокрадов отбоя не будет!.. Его надо было отправить в острог...

— Это — по-вашему! — ответил я сердито.

— Как, по-моему?!.. А по-вашему, потачку им давать?

— Кому?

— Конокрадам.

— Да разве этот парень у вас украл?.. Хорош вор: стащил лошадь — и на ней сюда же приехал!.. Одно это обстоятельство должно было убедить вас, что он тут не при чем... А вы не только отняли у него лошадь, отобрали паспорт, бросили на произвол его воз с чужой кладью, арестовали его, но требуете еще, чтобы волостное правление продолжало ваши беззакония!

Управляющий никак не ожидал встретить такую строптивость волостного писаря и был несколько озадачен.

— Где у вас акт осмотра лошади? Где показания возчика? — продолжал я нападение. — Не воображаете ли вы, что волостное правление скроет ваше самоуправство, оформив все дело?

Управляющий, видимо, кипел злобой, но сдерживался.

Подавленным голосом он произнес:

— Прежде чем отпустить возчика, вы должны были спросить меня.

— Это была ваша обязанность: прежде чем отобрать лошадь, явиться сюда с «погонной» и дождаться решения волостного правления!

Он посмотрел на меня с таким презрением, что было ясно, какое унижение собственного достоинства почувствовал в моих словах.

— Я буду жаловаться на вас его превосходительству! — сказал он и быстро вышел.

В этот же день, к вечеру, за мной прислала госпожа Аксакова: генерал отсутствовал.

Меня провели в обширную комнату, где, судя по невзрачной обстановке, происходили приемы крестьян и рабочих.

Издали, через анфиладу комнат, ко мне приближалась старушка, просто одетая и симпатичная на вид. Я стоял у большого, длинного стола и, когда она подходила к нему, сделал «светский» поклон.

— Вы — наш волостной писарь? — спросила она, оперевшись на стол.

Я почтительно склонил голову вместо ответа.

— Вас кто назначил к нам?—предводитель дворянства или исправник?

— Присутствие по крестьянским делам, ваше превосходительство! Я переведен сюда из Богдановской волости.

— Вы учились где-нибудь?

— Кончил курс духовной семинарии.

Как предводителя дворянства Жданова, так и Аксакову эти слова подвинули к большему вниманию.

— Пройдемте ко мне! — сказала она, указав по направлению к следующей комнате.

Там она села в кресло и рукой указала на стул:

— Садитесь!.. На вас жалуется мой управляющий... Ему удалось задержать конокрада, отобрать у него нашу лошадь, а вы отпустили его и... наговорили дерзостей управляющему... Почему вы не отправили этого негодяя в полицейское управление?

— Если позволите, ваше превосходительство, я вкратце изложу всю историю, — ответил я, — и тогда вы увидите, в каком извращенном виде вам представил управляющий этот случай.

— Пожалуйста!

— Лошадь ваша, действительно, нашлась: она оказалась в обозе у одного из ямщиков; но подозревать его в краже нет ни малейших оснований. Она куплена на ярмарке в Сороках, и на нее имеется расписка от станового пристава. Возчик, конечно, не подозревал, что владел краденой лошадью — иначе, согласитесь, он не заглянул бы сюда...

— Пожалуй, вы правы, — в раздумьи проговорила Аксакова.

— Вместо того, чтобы пригласить волостного старшину разобрать дело, ваш управляющий взял у ямщика паспорт, арестовал его — у него нет прав на то и другое — и прислал в волостное правление предписание отправить его в острог, что также выходит за пределы его власти... Я слышал, ваше превосходительство, что Григорий Сергеевич стяжал себе общее расположение своей любовью к законности, и не могу представить себе, чтобы в вашей «экономии» поощрялся произвол и самоуправство.

Старушка молчала.

— Относительно же дела, связанного с лошадью, — добавил я, поднявшись со стула, — должен

сказать вам, что независимо от управляющего в волостном правлении сделано все, чтобы дать ему дальнейший ход.

— Благодарю вас за раз'яснения, — сказала Аксакова и встала с кресла, — я нахожу, что вы поступили совершенно правильно, и сделаю выговор управляющему за его самоуправство...

Я поклонился и хотел уйти, но она спросила:

— А скажите, где теперь ваш бывший помощник... Бело... Белобородов, кажется?

— Он назначен писарем в Алексеевскую волость.

— Ах, какой чудный у него голос! Я так сожалею, что наш храм лишился такого украшения.

С этими словами она протянула мне руку. Я почтительно пожал ее и вышел.

Глава пятнадцатая

„ТОВАРИЩИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВОМ"

Наступил ноябрь. Мои исследования причин образования недоимок были кончены. Составленные списки по деревням давали возможность ответить на любой вопрос, почему тот или другой крестьянский двор не мог справиться с уплатой окладных сборов.

Крестьяне собирались ехать на «призывной пункт», назначенный в г. Бузулуке. «Рекруты» в ожидании «жеребьевки», грозившей вырвать их из деревни, подбадривали себя выпивкой, песнями и пляской. Мужики ходили сумрачные, бабы — часто в слезах.

Мне с волостным старшиной надо было прибыть в город раньше и заявиться в присутствие по воинским делам с семейными списками для отметок тех

перемен в составе семей, какие произошли в последнее время.

В помещении присутствия для волостных правлений нашего призывного участка была отведена особая комната, где волостные писаря и открыли свои походные канцелярии.

Со всеми писарями мне пришлось познакомиться, как с «товарищами по управлению государством». Никто из них не подозревал моего происхождения, и все относились ко мне запросто.

— Вы — страховский? — спрашивали меня.

— Да.

— Давно ли служите?

— Нет, всего пятый месяц пошел.

— Крепитесь?

— Что станешь делать!

— Уж больно несвободно там нашему брату: под постоянным надзором помещика... Все-таки доходишки перепадают какие-нибудь?

— Какие доходишки! На одном жалованьи сидишь...

Разговоры о «доходах» в сношениях друг с другом занимали первое место. Предметом общей зависти были писаря в торговых селах.

— Вон, видите, толстомордый, у стены сидит! — знакомили меня с писарем Борской волости. — Сосед ваш!.. Были в селе?

— В селе-то бывал, а с ним незнаком.

— Большие деньги загребает! Село большое, торговое, каждую неделю базары... Тут же становая квартира... И своего-то мужичья — хоть отбавляй, а наедут со всех концов — только успевай повертываться: одному — одно, другому — другое, и каждый платит за

труды... А понажмет ежели—опорожнит вовсе мошну... Хорошо живет! Только со старшиной не больно ладит...

— Что так?

— Да, на его грех, старшина-то грамотный и тоже любит деньгу: часто перехватывает доходишки у писаря, если сумеет обойтись без него...

— Вы были в Богдановской волости?—спрашивали в другой раз.—Что же ушли? Дохода не было?

— Нет, доходы были: мужики приучены за все давать; только тогда и верят в прочность дела, когда возьмешь... Трудно служить: русские, хохлы, татары... Всем угождать надо!

— Да, это так... На один аршин всех не будешь мерять!.. Хорошо там рыбой торговать!

— Откуда же там рыба? Ни реки нет большой, ни озер...

— По зимам, «из казаков» возят. Казачишки в Урале ловят. У них скупают да по деревням развозят... Один писарь большие деньги нажил, двух работников держал...

— Ну, я до зимы не дожил.

Глава шестнадцатая

А КАК НАСЧЕТ ВОДОЧКИ?

— А вы как насчет водочки? — спросили меня двое писарей, выходя из присутствия.

— Не пью! — отвечал я со вздохом.

— Что так?

— Все выпил, что было положено, и накуралесил достаточно... Теперь воздерживаюсь.

— Ну, посидеть в трактир пойдемте!

— Посидеть — согласен.

В «деревенском» трактире было душно, накурено. «Счастливые номера», не угодившие в солдаты, готовы были напоить весь мир, если бы нашлись деньги...

— Иван Семенович, писарек наш! — поднялся из-за стола один парень, когда мы проходили мимо. — Садись, друг, поздравь со счастьем!

— Да я не один, — сказал Иван Семенович.

— И товарищей тащи: на всех хватит... Господа, пожалуйте!.. Из каких мастей или волостей?

Я уклонился от угощения под предлогом, что не пью и чувствую себя не совсем здоровым.

— Вы не стесняйтесь! — шепнул мне Иван Семенович, — с деньжонками парень, да и лестно ему в такой компании побыть...

— Благодарю вас, не могу.

Я направился было к выходу, но «счастливый номер» вцепился в меня:

— Куда? Не пущу! Поздравить должон!

— Поздравляю, поздравляю... Но мне надо уйти: наша волость еще не отделалась.

— Ну, бог с тобой, коли кочевряжишься!..

Вечером Иван Семенович не был в присутствии. А утром на другой день он встретил меня сообщением:

— Уж и угостились же мы вчера! Не помню, как добрался до дому.

— Размахнулся паренек?

— Да уж так размахнулся, что из трактира в беспечальный монастырь попали... Всем угостил!

Глава семнадцатая

ВЛАСТЬ ДЛЯ ВРАЗУМЛЕНИЯ ЗАБУЛДЫГ

«Жеребьевка» приходила к концу. После одного заседания присутствия по воинской повинности исправник Шишкин приказал волостным старшинам и писарям не расходиться и ждать его в комнате, отведенной под канцелярию волостных писарей. Все поняли, что предстоит допрос относительно взыскания недоимок.

Шишкин явился с портфелем и, положив его на стол, стал выбирать ведомости по волостям о поступлении разных сборов. Среди наступившей тишины ясно слышался шелест бумаги.

— Я предупреждал вас, господа, — наконец сказал он, — что на этот раз буду строго карать за упущения по взысканию недоимок... Наше государство по случаю войны с Турцией переживает большие невзгоды [17]. Оставлять его без средств в такое время невозможно — это значит помогать его врагам... Разве вы хотите, чтобы Турция одолела Россию?

— Помилуй бог! — произнес кто-то из старшин.

— А если не хотите, то должны заботиться о том, чтобы наши солдаты на войне не испытывали нужды ни в пище, ни в одежде, ни в боевых патронах... На все это государству необходимы деньги... Как же вы решаетесь отлынивать от платежа налогов, накоплять недоимки?!

Исправник взял в руки одну ведомость.

— Начну с Борской волости! — сказал он и обратился к представительному крестьянину, украшенному должностей цепью.—У тебя, старшина, набралось недоимок больше 25 тысяч... Очевидно, ты не принимал

никаких мер к понуждению неплательщиков.—Шишкин заглянул в ведомость. — Вот, Петр Кузнецов, твой односелец! У него в семье три работника — и все-таки он не уплатил 15 рублей 28 копеек. Неужели, живя в торговом селе, нельзя втроем заработать такую сумму?

Старшина молчал.

— Я тебя спрашиваю: почему у Кузнецова недоимка?

— Неаккуратно живут, ваше высокородие!

— Что значит: живут неаккуратно?

— Чуть заведется какая копейка — сейчас в трактир... Пьяница, ваше высокоблагородие!

— А ты чего смотришь? Тебе дана власть для вразумления забулдыг, у тебя под руками волостной суд; наконец сельский староста, обязанный охранять имущество неисправных плательщиков... Ты, очевидно, не умеешь пользоваться своими правами!..

Исправник перебрал еще несколько фамилий, за кем, по его соображениям, не должна бы числиться недоимка. На его вопросы: почему тот или другой не уплатил денег? — старшина давал крайне неудовлетворительные ответы: он старался оправдать себя и всю вину взваливал на разные недостатки крестьян, совершенно игнорируя действительные причины образования недоимок.

Волостной писарь не проронил ни слова, потому ли, что сам не поинтересовался во-время уяснить себе условия вынужденной неаккуратности крестьян или не хотел облегчить положение старшины.

— За такое упущение по службе, — резюмировал исправник свое исследование, обращаясь к старшине,— тебя надо бы отстранить от должности, но я подожду

делать представление об этом. Посиди-ка сначала неделю под арестом при полицейском управлении!.. Старост же твоей волости я приговариваю к трем дням ареста при волостном правлении.

Старшина заикнулся было о смягчении наказания, но исправник резко ответил:

— Никаких снисхождений!.. Государство ведет войну, и оставлять его без средств — величайшее преступление!

Старшины других волостей тоже не обнаружили уменья защитить своих крестьян; не приходили к ним на выручку и волостные писаря. Ясно было, что в обычное время и те и другие совершенно равнодушно относились к вопросу о недоимках, и экзамен исправника застал их врасплох.

Наконец очередь дошла до нашей волости.

Мой робкий старшина под впечатлением частой резолюции: «на семь дней под арест при полицейском управлении» казался совершенно растерянным. Я шопотом ободрял его.

— Страховская волость! — произнес исправник.

Мы выступили вперед.

— У тебя, старшина, — сказал исправник, — вполне исправными плательщиками оказались только коптевские крестьяне: за ними нет недоимок. В Страхове уже накопилась порядочная сумма, а затем она все растет и в итоге ты допустил, что с твоей волости государство не получило больше 12 тысяч рублей... Вот, например, обуховский Иван Максимов. По годам, он сам работник. У него двое сыновей, тоже работники. А между тем за ним около 30 рублей недоимки. На что это похоже? Вероятно, у них земли не меньше, чем на три души; кроме того, в селе есть заработки — и вдруг

такая неисправность! Почему ты не принял мер к принуждению?

Старшина беспомощно смотрел по сторонам.

— Позвольте мне доложить вам, — сказал я, — почему за семейством Ивана Максимова образовалась такая большая недоимка... Я составил специальную ведомость, позволяющую об'яснить, почему тот или другой крестьянин не мог во-время уплатить окладных сборов.

Шишкин очень пристально посмотрел на меня.

— Ну, об'ясните! — сказал он.

Я вынул из бокового кармана пиджака свою ведомость, заглянул в нее и проговорил:

— В настоящее время в семье Ивана Максимова не три работника, а только два: в прошлом году старший сын его взят в солдаты и теперь участвует в турецкой кампании... Вам хорошо известно, что значит для крестьянского хозяйства лишиться работника и сколько сразу возникает новых расходов, если, кроме того, этот работник уходит в солдаты. И в обычное время эти траты очень чувствительны, а сейчас, когда сын на войне, они еще больше.

Таким образом, по милости того, что старший Максимов выбыл из семьи и попал на службу в военное время, в хозяйстве его отца произошел настоящий кризис...

Вы требуете, чтобы крестьяне прониклись сознанием необходимости в настоящий момент поддержать государство аккуратным взносом податей... Иван Максимов сделал больше: он послал на войну своего сына... Мы с старшиной думали, что в таких условиях наша снисходительность к нему, как к недоимщику, вполне простительна...

Все время, пока я говорил, исправник не спускал с меня глаз. Видимо, он заинтересовался необычной для волостного писаря защитой крестьян. Я же заранее решил, что буду держать себя с достоинством, чтобы личным примером показать волостному начальству, как необходимо отстаивать неплательщиков, а не заботиться о том, чтобы угодить исправнику якобы своей солидарностью с его взглядами на существо дела.

— Ну, оставим этот случай! — сказал Шишкин после моего раз'яснения условий жизни Ивана Максимова. — А вот, Петр Гаврилов? По семейному положению, он располагает одним взрослым работником и двумя подростками; к тому же он сам не особенно стар, может работать. Почему же у него накопилась недоимка, почти равная годовому окладу?

— По непредусмотрительности начальства, — ответил я.

— Какого начальства?

— Станового пристава, и в особенности присутствия по крестьянским делам [18].

— В чем же они провинились, по вашему мнению?

— В прошлом году Гаврилов в силу крайне неблагоприятных обстоятельств не уплатил в срок всех налогов. Не в состоянии был воспользоваться и отсрочкой, какую ему дали. Тогда становой пристав вместе со старшиной крайне неразборчиво описали его имущество, а присутствие по крестьянским делам разрешило продажу, не обратив внимания на прошение Гаврилова, где он указывал, что если лишится описанного инвентаря, то хозяйство его придет в полный упадок... Предсказания его сбылись: он стал почти нищим... Естественно, что в таком положении он больше

заботится о восстановлении своего имущества, чем о поддержке государства...

— Дайте-ка мне посмотреть вашу ведомость!

Я подал ему список.

Он со вниманием пробежал мои заметки и, возвращая рукопись, проговорил:

— Это вы хорошо делаете, что так подробно изучаете свою волость... Советую и вам, господа, воспользоваться этим примером, — обратился он к писарям: — тогда вы будете знать, кто действительно не в состоянии уплатить недоимок, и не будете стоять истуканами, как теперь, когда я хочу уяснить себе причины плохого поступления сборов...

В результате моей защиты неисправных плательщиков истинное удовольствие получил мой старшина: только он один не попал в кутузку, остальные же угодили под арест на разные сроки...

— Уж и хвалили же тебя старшины в трактире! — говорил он мне, передавая впечатления тревожного дня. — Борский старшина предлагал даже меняться, чтобы, значит, ты — к нему, а его писарь — ко мне... «Нет, говорю, стельную корову на яловую не меняют»... Хотел с тобой переговорить...

— У вас, видно, рука! — приветствовал меня на другой день один писарь.

— Почему вы думаете?

— Да как же: так разговариваете с исправником!

— Что ж тут удивительного? Я служу крестьянам и должен защищать их интересы... Исправнику же я не сказал ничего обидного.

— Так-то так, а все же, думается, не будь у вас руки, не стали бы вы так рисковать своей службой... Посмотрим, что вам скажет исправник после «набора».

Глава восемнадцатая

ЗА АДВОКАТСКОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ

После «набора» Шишкин, действительно, имел со мной беседу, но весьма далекую от намерения покарать меня за мое адвокатское выступление. Напротив, мне показалось, что своим разговором со мной у себя в кабинете он хотел отличить меня от других писарей, менее грамотных и возбуждавших частые жалобы крестьян, полиции, присутствия по крестьянским делам, земской управы, чего моя служба в Богдановской и Страховской волостях не порождала.

Он был со мной любезен, предлагал курить, хвалил моего бывшего помощника Белобородова, спрашивал, доволен ли я своим местом, видимо, желая мне предложить иную должность... Но что особенно изумило меня и поставило в неловкое положение, это — его вопрос: имею ли я досуг для чтения и что читаю?

— Читать редко приходится, — ответил я, — все некогда...

— Читать необходимо,—сказал он с убеждением:— Надо расширять свой кругозор... Нельзя же всю жизнь довольствоваться местом волостного писаря!.. Вы читали когда-нибудь журнал «Отечественные Записки» [19]?

— Не приходилось...

— Аксаковы, вероятно, выписывают и дадут, если вы попросите... Познакомтесь там с писателем Щедриным [20]. Он так остроумно освещает отрицательные стороны русской жизни, что пользуется громадным влиянием... Читайте и Глеба Успенского [21]. Он может многое уяснить вам в крестьянской жизни. Вообще

этот журнал дает богатейший материал для чтения, и я советую раздобыть его...

Шишкин говорил с такой искренней готовностью принести пользу моему умственному развитию, не подозревая, что я не только читаю «Отечественные Записки», но и лично знаком с выдающимися сотрудниками журнала, что мне стало совестно морочить его своим невежеством, и я молча воспринимал его советы.

— Благодарю вас за внимание! — вот все, что я мог сказать на прощанье поклоннику Н. Щедрина в полицейском мундире...

Очевидно, Шишкин был не на своем месте.

Глава девятнадцатая

ПИСАРЕК ИЗ СМУТЬЯНОВ

Больше мне не пришлось встречаться с этим оригинальным исправником.

Как-то поздно ночью, в январе 1878 года, раздался сильный стук в окно моей квартиры. Когда я подошел к окну и крикнул «кто там?» — послышался голос моего приятеля, молодого сидельца из кабака:

— Григорий Иванович! Это я. Отопри поскорее! Большое дело!

Я впустил его в комнату.

В шубе, занесенный снегом, прямо с дороги он поторопился зайти ко мне, чтобы передать неприятную новость.

— Ты ждешь письма из Питера? — спросил он.

— Жду.

— Ну, так не жди: письмо твое в Бузулуке у жандармского полковника, и завтра к тебе нагрянут гости...

Я действительно ждал письма из Петербурга от Евгении Николаевны Фигнер и находил странным, почему нет от нее известий.

Мы условились, что она будет писать мне до востребования на станцию Марычевку, куда я часто посылал за волостной почтой. Она же, зная железнодорожные станции Бузулукского района, по ошибке адресовала письмо на Борскую станцию, где оно и пролежало до злосчастного дня.

— Сидел я в трактире с борским старшиной, — сообщил мне подробности приятель. — Зашла речь о тебе. Он и говорит: «Хорош писарь!.. Я все думал переманить его в свою волость... Только скоро уберут его от вас... в острог». Я так и обмер. — За что же? — спрашиваю.

«А видишь ли, какое дело... Было ему письмо до востребования на нашей станции. Письмоводитель станового пристава заметил и взял, чтобы передать ему... А потом соблазнился: письмо из Петербурга и женский почерк! «Кто, мол, может писать писарю из Питера — дай, посмотрю»... Расклеил письмо. А там — двойные строчки: черные, а между ними синеватые... Становой сказывал, что писаны каким-то составом и обозначились от времени... В черных строчках — письмо, как письмо, а в цветных — все известия, кого арестовали и кому нельзя писать... «Вот он, писарек-то какой: из смутьянов!» — сказал становой, донес исправнику, а тот — жандарму... По всему видать, завтра поедут к вам с обыском... Удирай, Григорий Иванович! — закончил приятель свое грустное повествование.

Мы расцеловались с ним на прощанье.

Я пошел в волостное правление разбудить сторожа и послать его за лошадьми и за старшиной.

— Скажи ямщику, чтоб запрягал немедленно и старшину поторопи! — велел я сторожу.

— Случилось что, Григорий Иванович? — спросил сторож испуганно.

— Телеграмму получил из Самары, что мать моя при смерти. Надо ехать... Беги, пожалуйста!

— Я — живо!..

И, действительно, через час лошади стояли у моего под'езда, а старшина пришел еще раньше принять от меня волостные дела.

В подтверждение того, что я уезжаю на короткое время, мне пришлось захватить с собой самые необходимые вещи, а остальное имущество бросить.

Глава двадцатая

НЕ РИСКОВАТЬ СВОЕЙ СВОБОДОЙ

Утром на другой день я был в Самаре.

У товарища по убеждениям, доктора Витевскаго [22], где была наша штаб-квартира, я узнал, что Александр Константинович Соловьев, устроивший в селе Гвардейцах кузницу с целью сближения с народом, оставил ее и живет пока в городе.

Передав ему о своем провале в селе Страхове, я просил его с'ездить и предупредить об этом Веру Николаевну Фигнер и Юрия Николаевича Богдановича. Первая жила в селе Студенцах, а второй — в селе Алексеевском.

При наших связях и сношениях друг с другом конспиративное письмо Евгении Фигнер и мое таинственное исчезновение из Страхова могли отразиться и на их свободе.

Вечером в тот же день Фигнер и Богданович приехали в Самару.

Тут произошел эпизод, причинивший большую тревогу всем друзьям В. Н. Фигнер: она отказалась ехать с нами в Петербург и решила вернуться в Студенцы.

Она полагала, что Юрий Богданович имеет серьезные основания опасаться ареста, так как был моим помощником, но у нее нет поводов ожидать того же, потому что ее сношения с нами официально не установлены.

Бросать же деревню при отсутствии серьезных причин ей крайне тяжело: она сознает, что приносит пользу крестьянам, как врач, и еще больше, как человек, способный разобраться в их текущих нуждах и дать подходящий совет... Вера Николаевна, несомненно, переживала чувство героя рассказа Гл. Ив. Успенского, Андрея Васильевича Соловецкого. После семинарии он хотел продолжать учение, но, попав в родную деревню, «не мог уехать: все дела, то то, то другое... В то же время деревенская печаль, постоянно трогая его за сердце, понемногу втягивала его в самую ее глубину... Здесь много у него образовалось связей, знакомства... И где он так много работал, где в нем так нуждались как здесь?.. Его тянуло в глубь, в темь деревенской жизни»...*

Мы долго уговаривали Веру Николаевну не рисковать своей свободой. По мере того, как росло ее упорство, глубокое чувство товарищества внушало нам мысль, что мы не можем уехать одни и оставить ее на произвол судьбы.

— Ну, что ж? Едем вместе,—заявил Богданович.— Ты — в Студенцы, я — в свою Алексеевку. Ведь тот

---

* Гл. Успенский. „Из деревенского дневника“.

факт, что я был у Александра помощником, еще не может считаться признаком моей неблагонадежности...

— Ну, уж это глупо! — возразила Вера.

— Почему? Ты нужна деревне, и я сознаю то же, Ты не хочешь считаться со шкурным вопросом, и с моей стороны было бы большой трусостью, из-за одного предположения, что меня арестуют вместе с Александром, не оправдать уверенности крестьян, что я предан им всей душой...

Вера Николаевна очутилась в критическом положении: она знала, что Юрий Богданович не любит бросать слова на ветер и несомненно поступит так, как сказал. После упорной, внутренней борьбы с своим прежним решением, она наконец согласилась ехать с нами... Тяжелый камень свалился с души...

Мы хотели отправиться на другой день, но доктор Битевский привез известие, что на вокзале почему-то много полиции и жандармов.

— Уж не ждут ли вашего приезда? — предположил он.

В виде предосторожности, мы выехали ночью на лошадях и на второй станции железной дороги пересели на поезд...

Через три дня мы были в Петербурге.

Глава двадцать первая

ОЧЕРЕДНОЙ ПРОВАЛ

В Петербурге нас ждало известие, что, если бы не случай с письмом Е. Н. Фигнер, грозивший мне арестом, то через несколько дней у нас произошел бы «провал» по другому поводу.

Из Самары в Петербург отправилась наша общая приятельница, Вера Петровна Чупурнова [23]. В столице она познакомилась с некоторыми представителями нашей партии. Далекая от предположения, что за ней могут «следить», она без особой предосторожности расширяя круг своих знакомых. С другой стороны, наши товарищи эту солидную по внешности даму сочли столь «верной оказией», что поручили ей доставить нам более десятка конспиративных посланий. Тут были письма Богдановичу, мне, Соловьеву и больше всего Б. Н. Фигнер.

Чупурновой казалось, что ее пребывание в кругу «неблагонадежных» лиц осталось незамеченным. С этим убеждением она прощалась на Николаевском вокзале с своими новыми приятелями. Между тем, полиция, чтобы избежать предупреждения нас об ее аресте, дала ей возможность свободно выехать из Петербурга и преградила путь лишь в Любани. Таким образом вся конспиративная переписка, предназначавшаяся для нас, попала в руки жандармов, и повела бы к неизбежным арестам, если бы мы во-время не снялись с своих мест...

Глава двадцать вторая

В ПОИСКАХ ПИСАРСКИХ МЕСТ

В Петербурге, в кругу товарищей, поднимался между прочим вопрос, не следует ли прекратить деятельность в деревне в виду сомнительной возможности достичь серьезных результатов при повышенной подозрительности администрации, готовой по сущим пустякам лишать людей свободы. «Процесс 193-х» [24] давал богатые иллюстрации для характеристики ее

политики. С другой стороны, кровавая расправа В. И. Засулич с Треповым [25], встретившая большое сочувствие в обществе, внушала экспансивным молодым людям идею, что теперь нужны Вильгельмы Телли [26], а не организаторы недовольных элементов в крестьянской среде.

К числу сторонников новой тактики принадлежал и Николай Александрович Морозов, только-что выпущенный из тюрьмы, где он просидел почти три года по «делу 193-х». В общем все-таки было слишком мало данных, чтобы заставить нас отказаться от избранного пути, и мы стали готовиться к продолжению прерванной деятельности.

После «провала» в Бузулукском уезде, Самарской губернии, нужно было избрать другую губернию. Мы остановились на Тамбовской, куда нас звал некто Девель, служивший в Тамбове агентом земельного банка и обещавший нам широкую помощь в приискании мест.

В конце зимы мы выехали из Петербурга впятером: В. Н. Фигнер, Ю. Богданович, Соловьев, я и Морозов. Последний хотя и мечтал стать легендарным Вильгельмом Теллем, но до поры до времени не хотел отбиваться от нашей компании, тем более, что в среде ее была В. Н. Фигнер, поглощавшая все его внимание...

В Петербурге Девель сулил нам обилие должностей, а в Тамбове как-то с'ежился и в конце концов убедил в своей полной несостоятельности оказать нам нужное содействие.

Крайне недовольные продолжительным и бесплодным пребыванием в Тамбове, мы перекочевали в Саратов, куда раньше нас уехали и устроились по деревням Александр Дмитриевич Михайлов [27], Леонид Николаевич Гартман [28] и др.

В Саратове нашей компании пришлось разделиться. Вера Николаевна, Морозов и я поселились в одной квартире, а Юрий Богданович с Соловьевым — в другой.

В городе самым близким знакомым у нас был нотариус, Василий Степанович Праотцев, большой приятель предводителя дворянства Вольского уезда, Николая Петровича Фролова, возбуждавшего основательные надежды на получение разных мест.

Были и другие знакомые, но все мы, за исключением Морозова, избегали частых визитов из опасения нежелательных встреч и лишней болтовни о нашем приезде, планах и намерениях. Он же после продолжительного тюремного одиночества, выпавшего на его долю в слишком юные годы, конечно, не мог мириться с нашим затворничеством и вращался в кругу местной молодежи, где встречались такие заметные люди, как Поливанов и Майнов, к тому же разделявшие его настроение относительно Шарлотт Кордэ [29] и Вильгельмов Теллей...

Строго говоря, между нами и Морозовым не было никакой солидарности во взглядах на задачи ближайшего будущего, и он вскоре принужден был проститься с нами, приняв на себя обязанности нашего петербургского корреспондента.

Пребывание в Саратове в полном бездействии, в ожидании приезда Н. П. Фролова, было томительно, но уверенность, что он оправдает наши расчеты, была так велика, что мы терпеливо сидели на своих местах.

Нашу квартиру с Верой Николаевной ежедневно посещал Юрий Богданович, реже — А. К. Соловьев. Большую часть времени мы проводили вдвоем. В течение

почти двух месяцев совместной жизни, когда Вера Николаевна то анализировала свое богатое содержанием прошлое, то критически заглядывала в будущее, рисуя перспективы предстоящей деятельности, — часы летели незаметно.

Постоянное общение с этим образованным, остроумным, крайне впечатлительным и отзывчивым товарищем в условиях саратовской жизни ослабляло охоту встречаться с другими людьми, и если появлялось это желание, то главным образом потому, что в большем обществе Вера Николаевна была еще ярче и доставляла новое удовольствие.

Наконец Н. П. Фролов приехал. Мы виделись с ним у В. С. Праотцева и убедились, что не напрасно ждали знакомства с ним. Он указал нам все пути для получения нужных мест, и мы могли покинуть Саратов.

Вера Николаевна направилась в Петровский уезд занять должность фельдшерицы; мы с Юрием Богдановичем, приняв личину совершенно незнакомых друг другу людей, уехали в город Вольск: он — с целью поступить письмоводителем к нотариусу Фролову (однофамильцу предводителя дворянства), а я — просить непременного члена присутствия по крестьянским делам, Николая Михайловича Кострицына, назначить меня куда-нибудь волостным писарем. А. К. Соловьев должен был остаться в Саратове до получения от меня известия, что и ему готово место.

По прибытии в гор. Вольск, мы с Юрием Богдановичем, бывшим теперь таксатором Витевским, очутились в плохой гостинице и вечером узнали друг от друга, что он поступил на службу к нотариусу Фролову, а я назначен писарем в Булгаковскую волость.

Глава двадцать третья

Я ВСЕГДА ГОТОВ ПОМОЧЬ

Н. М. Кострицын оказался симпатичным человеком, крайне простым в обращении. Он поинтересовался степенью моего образования (в этот раз я был кончившим духовную семинарию Александром Ивановичем Страховым), моим знакомством о обязанностями волостного писаря и задал вопрос:

— Скажите откровенно: вы не имеете пристрастия к спиртным напиткам?

Я знал от предводителя дворянства, что он ведет постоянную борьбу с писарями-пьяницами, и категорически ответил:

— Сам не пью и терпеть не могу пьяниц.

— Вот это хорошо, — сказал Кострицын и с улыбкой прибавил: — Желаю вам укрепиться на этой позиции... тем более, что сейчас я могу предложить вам небольшую Булгаковскую волость, где население пользуется репутацией пьяниц... Вы когда можете уехать?

— Если позволите, хоть сейчас.

— В таком случае я сегодня же приготовлю вам отношение на имя Булгаковского старшины. Зайдите ко мне около семи часов.

Вечером, когда я зашел, он сказал мне:

— Вам надо знать мои требования... Служите честно; старайтесь, чтобы волостной суд не приговаривал крестьян к телесному наказанию: будьте исполнительны в сношениях с должностными лицами, в особенности с исправником... Мы с ним не особенно ладим, и уже то обстоятельство, что вы займете место по моему назначению, заставит его относиться к вам

особенно строго... Если будете нуждаться в каких-нибудь указаниях по службе, обращайтесь ко мне: я всегда готов помочь.

Глава двадцать четвертая

ГЛОТКИ ПЕРЕСОХЛИ

На другой день, рано утром, я отправился на городской базар поискать, нет ли кого из крестьян Булгаковской волости, кто бы довез меня до моей будущей резиденции. Нашелся крестьянин соседней волости, согласившийся доставить меня с моим багажом до села Булгакова за один рубль.

— Пойдем, на дорожку дернем по стаканчику! — предложил он.

— Я не пью, — ответил я.

— Вона! Едешь в Булгаково в писаря — и не пьешь! Да тебя там и писарем не признают, коли пить не станешь...

Предсказание не предвещало ничего хорошего.

Около двух часов дня мы прибыли в Булгаково. В волостном правлении я застал только сторожа. Оказалось, что «старшина второй день хворает», а сельский писарь, заменявший волостного, «еще не вернулся с базара»... Пришлось заняться приисканием себе квартиры. В Богдановке и Страхове имелись отдельные помещения для волостного писаря, а здесь волостной квартиры ему не полагалось.

Невзрачные домишки небольшого села не обещали удобств для личной жизни.

— Утеснительно живут у нас мужики! — говорил сторож, шагая со мной по улице. — Горницу все-таки

найдем... Вот обживешься ежели, хлопочи, чтоб волость выстроила тебе хату.

— Почему же до сих пор не завели?

— Писаря-то у нас были все приблудные. Не больно их уважали мужики, — вот и околачивались по чужим углам...

Сторож привел меня в дом, где мне предложили занять «горницу». Двуспальная кровать, покрытая ватным одеялом из цветных лоскутков, груда подушек в розовых наволочках, два — три больших сундука говорили, что в комнате кто-то живет.

— Сынишка мой тут с невесткой спят, — пояснил хозяин: — по субботам приезжают с работы.

— А где же они будут, если я займу горницу?

— Кровать широкая... улягитесь и втроем...

— Ну, что их стеснять? Я лучше на сундуках устроюсь.

— Как-нибудь уместитесь...

— А насчет пищи как? Столоваться у вас можно?

— Ты холостой?

— Холостой.

— Хозяйка моя может стряпать... Однова у нас жил писарь, был доволен.

Вопрос о кровле и питании был решен.

На другой день, довольно рано, ко мне явился сторож волостного правления и сообщил, что старшина «оправился» и ждет меня в правлении.

— Сказали ему, что ты из городу приехал, он и поторопился.

— А он у вас выпивает малость? — спросил я.

— Есть тот грех!.. Да и нельзя ему строго соблюдать себя: соблазну много — кажинный мужичонка норовит угостить, чуть доведется какое дело в волости...

— Пожалуй, ведь так-то не больно ладно... а?

— Какое ладно!.. Надо хуже, да некуда! — очевидно, из желания угодить волостному писарю, воскликнул сторож...

В волостном правлении сидел на лавке кряжистый мужчина, лет за сорок, с довольно простоватым лицом, несмотря на свою окладистую русую бороду, в пиджаке поверх цветной рубашки и в высоких сапогах. Когда я вошел в присутствие в сопровождении сторожа, он встал и, подходя ко мне, подал руку.

— Здравствуйте! — сказал я. (Я принял за правило: всем старшинам говорить вы, не считаясь с их обращением ко мне). — Я назначен к вам волостным писарем... Вот бумага! — Я подал ему пакет от непременного члена присутствия по крестьянским делам.

— Исправник тебя прислал или другой кто?—спросил он.

— Непременный член.

— А-а, Николай Михайлович!.. Прочти-ка, что он пишет: я не больно грамотен.

Когда я прочел «отношение» Кострицына, старшина заметил:

— Значит, тебя в прок прислали, а не на пробу... Это хорошо. А то пришлют на примерку, и не знаешь, останется у нас, либо нет: и писарю стеснительно, и нам не вольно... Тебя как звать-то: Александр Иванович?

— Да.

— По фамилии: Страхов?.. Сурьезная фамилия!.. Ну, даст бог, обживешься — друзьями станем... Только вот что, Александр Иванович, у нас положение: с коренного писаря — ведерку старикам!

— Какой же я коренной? Неизвестно, утвердят ли еще.

— Кому утверждать-то? Волостное правление перечить не станет, а Кострицын своего решения не отменит... Нет, уж ты для первого знакомства не ломай порядка: поставь ведерко!

— Да и денег у меня нет.

— А жалованье?.. Тебе полагается двадцать пять обычай я выразил согласие.

При виде казавшейся невозможности нарушить обычай, я выразил согласие.

— Только сначала я хотел бы дела принять... Ведь не сейчас же поить стариков! — сказал я.

— Зачем сейчас!.. А дела принять — это мы в одночасье устроим... Федор! — позвал он сторожа. — Сбегай за писарем; скажи, чтоб шел волостные дела сдавать!

Сдача дел не потребовала даже «одночасья». Сельский писарь, сердитый молодой человек, точно с просонья, после довольно холодного рукопожатия, на мою просьбу сдать дела указал на шкаф:

— Вон они там!.. На ключ: управляйся, как знаешь!

— Вероятно есть опись дел?

— Откуда ей быть? Меня это не касается, и писаря жили без нее... Да ты не сумлевайся: все бумаги в сохранности... Много завали — это точно: кому ж исполнять предписания, коли волостные писаря скачут, как блохи?

— Подолгу стоят дела волостного суда, — вмешался старшина, — надо будет подогнать.

— Али судьи торопят? — с злой иронией спросил сельский писарь. — Давно не опивали мужиков...

— Ну, что зря болтаешь! — спокойно возразил старшина. — Не вымогают, чай? А благодарность — отчего не принять?..

Пока мы разговаривали друг с другом, в волостное правление набралось до десятка крестьян. Одни при входе крестились на образ и кланялись издали; другие, более развязные, осенив себя крестным знамением, подходили здороваться за руку.

— Вот писаря из городу прислали! — представлял меня старшина.

— На пробу? — спрашивал кто-нибудь.

— Нет, без примерки велят принять.

— А-а! Как звать-то?

— Александр Иванович Страхов.

— Ну, в добрый час!.. Будем знакомы.

Опять следовали рукопожатия.

— А насчет положения похлопотал? — спросил старшину юркий старик, впоследствии оказавшийся «каштаном» (переходная форма к «кулаку»).

— Как же!.. Александр Иванович жертвует ведерко.

— Значит все — честь-честью... Вот спасибо! Видать, заживем по-хорошему... Ну, а когда же нам поздравить тебя велишь?

— Уж, право, не знаю, какой выбрать день...

— Ты не больно томи: у стариков давно глотки пересохли, ожидавши писаря!

— В воскресенье... не иначе, — сказал старшина.

— В воскресенье я хочу волостной суд собрать, — возразил я.

— Так что ж?.. После суда можно, — заметил «каштан». — С устатку-то и выпьешь с нами.

— Да я не пью.

— Не пьешь!.. Не вдрызг, чай?.. С ведерка-то придется на брата по стаканчику, не больше...

— Ну, ладно... С пьяным вопросом покончили... Теперь я хочу заняться делами... У вас ничего нет

к волостному правлению? — спросил я, обращаясь к группе крестьян, сидевших на лавке.

— А вот подсобишь нам графский покос разобрать, как наши мужики под'едут, — ответил за всех «каштан». — По скорости должны быть.

Оказалось, что все крестьяне явились в волостное правление именно с этой целью.

Мое желание познакомиться подробнее с вопросом, об'единившим крестьян, было удовлетворено главным образом юрким «каштаном»; изредка вставлял замечание старшина, за ним—сельский писарь; остальные молчали.

Экономическое положение крестьян села Булгакова было охарактеризовано очень просто: «Пахоты—мало, покосу — ни травинки, лесу — ни сучочка».

— Но, видно, уж так бог устроил, — добавил «каштан», — ежели у мужика нет, у барина ищи!

В 15 верстах от Булгакова были расположены обширные владения графа Шувалова с лугами, лесами и другими угодьями. Возможность арендовать землю и покосы в «экономии» графа до некоторой степени ослабляла недовольство своим земельным наделом. Луга, по заведенному обычаю, сдавались с торгов, пахотная земля — «картами», «душами» непосредственно в руки желающих. Отдача лугов по способу управляющего графа была выгоднее для экономии, чем обыкновенная аренда земли, так как на торгах цена на покос повышалась.

— Сено-то всем нужно, — пояснил сельский писарь, — у наших мужиков нет, и у других не боле... Вот как сцепятся православные, никто друг дружке уступить не хочет: сдуру и набивают цену.

Теперь ожидали уполномоченных от сельского общества, уехавших в «экономию» графа участвовать на

торгах. Каждый желавший получить покос давал им деньги, сообразуясь со своим предположением «захватить побольше». Сумма отпущенных средств превысила стоимость участка, доставшегося на торгах, и теперь приходилось возвращать излишки после того, как по взаимному соглашению определится доля каждого претендента на покос.

В волостное правление стал прибывать народ. Между прочим, пришел благообразный старик с бегающими глазками. Его костюм, седая, тщательно расчесанная борода и волосы с пробором, подстриженные в скобку,—все говорило, что человек этот любит порядок. При появлении его сидевшие на лавке встали.

— Петру Ивановичу!.. Доброго здоровья! — сыпались приветствия.

— Здравствуйте, здравствуйте, други! — бросал он на ходу, пробираясь к старшине.

— Вот писаря нам прислали из городу! — произнес старшина обычную фразу, указывая на меня.

— Ну, слава богу, — сказал Петр Иванович, — протягивая мне руку. — А то без писаря мы ровно сироты были... Как величать-то?

— Александр Иванович Страхов.

— Ты—Александр Иваныч, я—Петр Иваныч, и будем как хорошие братья, стараться друг об дружке... А есть у меня дельце, большое дельце... без твоей подмоги не обойдется!.. Опосля поговорим как-нибудь.

К волостному правлению подкатили две подводы. В каждой сидело по три «уполномоченных». Появление их оживило толпу. Петр Иванович, видимо, авторитетный человек в селе, сел за стол; к нему примостился сельский писарь со списком крестьян, желавших получить покос, и с обозначением сумм, внесенных

каждым. Один из уполномоченных подал Петру Ивановичу большую пачку денег.

— Ишь, сколько лишков наклали! — сказал Петр Иванович. — Увидал бы исправник, сейчас повернул бы в подати... Ну, давайте верстать!

По обычаю, доставшийся на торгах покос в 300 с лишком десятин был разделен на равные «души», соответственно числу долей надельной земли, постоянно находившихся в обращении у сельского общества; определена стоимость «души», и каждый стал заявлять, сколько желает получить частей.

В итоге заявлений оказалось значительно больше «душ», чем было определено. Началось «равнение». Председательствовал Петр Иванович.

— Тебе, дядя Семен, пять душ, брательнику твоему — четыре, а Григория без покоса, что ли, оставить? — урезонивал он.

— Мене пяти «душ» мне никак нельзя, — возражал дядя Семен. — Летось я взял три «души», так мне нехватило, а Григорий продавал сено.

— А ты забыл, что по весне двух кобылиц купил... конский завод хотел завести?

— Уж ты скажешь!.. Конский завод!.. Нет, Петр Иваныч, суди по-божески!

— Эх, друг, где ж мне так судить?.. Возьми три с половиной «души»!

— Бери, бери, будет с тебя! — поддержала толпа.

После столкновений разнообразных интересов, иногда крайне резких замечаний друг другу покос был распределен, и лишки денег, собранных для торгов, розданы по рукам.

Я ждал, когда же наконец Петр Иванович заявит свои права на часть покоса, но, как выяснилось впо-

следствии, он вполне бескорыстно помогал крестьянам разобраться в сложном деле: он не нуждался в этом покосе, потому что был самостоятельным арендатором большого участка земли.

Толпа стала расходиться. Все благодарили Петра Ивановича за помощь и раскланивались со старшиной и со мной. Ушел и Петр Иванович, сказав мне на прощанье:

— С дельцем-то своим я зайду к тебе, не замедлю.

Отправился «отдыхать» и волостной старшина.

Оставшись один, я заглянул в шкаф, где хранились волостные дела. Меня поразил внешний порядок. Видимо, бумаги складывались на полки, по мере поступления, и большинство их даже не рассматривалось. При разборе дел выяснилось, что некоторые предписания повторялись по два, по три раза, отличаясь друг от друга только надписями в правом углу: «спешно», «экстренно». Нетерпение выражали губернские учреждения, очевидно, не допуская возможности, чтобы в Булгаковском волостном правлении отсутствовал «комитет министров».

Уездные учреждения были ближе к делу и обнаруживали больше спокойствия. Мое знакомство с некоторыми циркулярными требованиями возбудило лишь игривую мысль: «Долго ждали — подождете еще»...

Глава двадцать пятая

ДЛЯ МЕНЯ УДОБНЕЕ ОДНОМУ

Наступила суббота. С работы приехал сын моего квартирного хозяина с женой. После ужина мы пошли в «горницу» спать.

Кровать оказалась приготовленной для троих.

— Ты к стенке ляжешь али с краю? — спросил меня молодой хозяин, не допуская никакой неловкости спать на одной постели втроем.

— Нет, — ответил я. — Вы спите на кровати, а я лягу на сундуке... У меня все есть: подстилка, простыня, одеяло, подушка...

— Ну, что ты!... Как можно на сундуке?.. Ложись с нами!.. Мы тебя не потревожим... С устатку заснем как убитые...

— Да от меня-то вам покою не будет... Я плохо сплю, ворочаюсь, часто встаю... Уж ты не торгуйся — ложись!.. Для меня удобнее одному.

Молодая, как пришла, юркнула под одеяло, и быстро заснула, привалившись к стене.

— Вон, жена-то уж спит... и ты ложись! — прибавил я.

— Не ладно эдак-то! — совсем сонным голосом произнес парень и, быстро сбросив верхнюю одежду, залез под одеяло.

Не прошло и двух минут, как раздался здоровый храп.

На следующий день, за утренним чаем, когда меня упрекали, зачем я отказался спать на кровати, я не мог уловить в разговоре ни намека на брезгливость, возможную с моей стороны, ни тем более намека на мое сознание особой неловкости спать рядом с супругами... Очевидно, миросозерцание моих сожителей в приложении к данному случаю было чище моих мыслей.

В том же я убедился и относительно общей бани, где мылись мужчины и женщины, и куда звал меня мой хозяин.

Большинство крестьян с. Булгакова не имело собственных бань и «парилось» в «шабрах» *. У моего хозяина была баня, доступная всем желающим. В канун какого-то праздника она топилась, и он пригласил меня с собой.

Я отказался под предлогом, что не парюсь, а мыться в тесноте неудобно.

— И мужики есть, которые не парятся, — возразил он, — пойдем!

— Спасибо... Как-нибудь на неделе попрошу хозяйку согреть воды и вымоюсь...

— Да у нас в бане, почитай, кажинный день лен мнут: не больно с руки топить для тебя...

— Ну, как-нибудь устроюсь...

— Да ты, может, насчет баб сумлеваешься... не охота тебе вместе с ними? . Так там разве видать, кто ты: мужик или баба?.. Да и забота у всех одна: как бы скорее попариться, окатить себя и — домой!

Я, действительно, насчет баб «сумлевался» и не пошел.

Глава двадцать шестая

ДЕСЯТЬ РОЗОГ ЗА ОСЛУШАНИЕ

Первое заседание волостного суда, назначенное мной на одно из воскресений, обнаружило такие изумительные порядки, каких я не встречал раньше. Вместо трех судей, приглашенных мною по указанию старшины, явилось шестеро, и не потому, что они намеревались заменять друг друга, а потому, что ожидали «угощения» от истцов или ответчиков.

* У соседей.

Двое судей пришли «с мухой», об'яснив свое состояние тем, что «по дороге поздравили с ангелом дядю Ивана». При разборе дел в гражданский иск вдруг врывался уголовный элемент. Наконец некоторые судьи норовили то с одной, то с другой стороны сорвать мзду в форме угощения водкой.

После двух — трех ничтожных претензий, кончившихся миром, на очередь попало такое дело.

Молодой крестьянин, Алексей Новиков, лет 25, ведя самостоятельно хозяйство, потому что отец его был серьезно болен, задолжал своему «шабру» двенадцать рублей за купленное у него сено и муку. Должник пропустил все сроки, назначенные для уплаты долга.

Кредитор наконец стал требовать, чтобы он или рассчитался с ним немедленно или отдал ему в погашение долга подтелка и пару овец. Его сторону принял сначала сельский староста, «понуждая» должника исполнить требование, а затем — и волостной старшина, грозивший за ослушание «кутузкой»... Ни тот, ни другой не добились положительных результатов.

На суде Новиков об'яснял свою неисправность болезнью отца, осложнившею хозяйственные распорядки; просил отсрочить уплату долга до осени и не соглашался отдать шабру подтелка и овец, считая их стоимость значительно выше двенадцати рублей.

— Сами посудите, господа судьи, — говорил он, — разве одно на другое выходит?

— Будешь тянуть еще дольше, — сказал суровый на вид судья, — твой подтелок быком станет — тогда и вовсе упрешься!

— Пусть возьмет подтелка без овец!

— Ты однако ловок!.. Сколько времени держал капитал, а за подожданье платить не хочешь!

— Уговору такого не было...

— Сам должен понимать: не махонькой!

Кредитор, повидимому, уверенный, что защита его интересов находится в надежных руках, не вмешивался в судебное разбирательство.

— Ну, вот что, господа, — предложил наконец другой судья, — уговорим Сергея взять подтелка и овцу... Согласись, дядя Сергей!

После непродолжительных уверений, что такая сделка для него убыточна, он махнул рукой и сказал:

— Уж бог с ним!.. Согласен.

— А теперь выйдите-ка все, — распорядился судья, обращаясь к публике: — мы посоветуемся.

Когда мы остались одни, тот же судья предложил на обсуждение вопрос:

— Как же быть с ним за ослушание старосте и старшине?

— Старшина сказывал: посадить его на три дня в кутузку, — проговорил другой судья.

— Эх, господа, не по времени ведь сейчас отрывать его от работы!.. Давайте, постановим: десять розог за ослушание... Да нам пусть выставит бутылку.. за доброту?

— Позвольте, г.г. судьи, — вмешался я. — Нельзя в один приговор вносить три дела: взыскание долга, неповиновение старосте и старшине и расплату водкой за вашу доброту.

— Да ты бутылку-то не пиши!

— Если вы постановите взыскать с него бутылку водки, то я обязан записать.

— Нет, это мы с ним промеж себя решим.

— Все-таки волостные судьи не должны требовать водки. Суд обязан решать дела правильно, а разве можно назвать приговор правильным, если, разбирая дело, судьи думали об угощении? Стоит недовольной стороне подать жалобу в присутствие по крестьянским делам, упомянув о водке — и решение отменят.

— Ты уж больно строг!.. Прежние писаря не перечили...

— Я должен заботиться, чтобы ваш приговор не могли забраковать... Неправильно и предложение выпороть должника... За что? За то, что он не исполнил приказаний старосты и старшины отдать подтелка и двух овец? Да они не в праве были вмешиваться в это дело: частные долги — не подати... А потом: разве вы согласились с ними? Вы присудили — подтелка и одну овцу, а не двух.

— Двух нельзя.

— Вот видите, а староста и старшина требовали двух. За что же его сечь?.. Еще должен сказать вам: розги — позорное наказание, сеченный лишается, например, права участвовать на сельском сходе... Вы хотите опозорить молодого человека за ослушание старосте и старшине, когда они сами не правы. Разве это можно?

— Зачем позорить! Мы на это не согласны, — сказал один судья.

— Не позорить, а так поучить малость хотели, — прибавил другой.

— Да у нас и не бывало, — заметил третий, — чтобы сеченых не пускали на сход.

— Нет, дядя Герасим, было однова: помнишь, старостой ходил Максимов, так прогнал со схода Петруху Кузнецова, — больно не любил его.

— Если соблюдать все правила, — сказал я, — то в волостном правлении должна быть особая книга, куда следует записывать всех, кого приговорили к розгам. Старшина должен следить, чтобы сеченых не выбирали ни в какие общественные должности и не пускали на сельские и волостные сходы... Я заведу такую книгу. Поэтому раньше, чем постановить приговор о розгах, подумайте, стоит ли позорить человека?

— Нет, позорить нельзя!.. Нам невдомек это было.

Для меня стало ясно, что если телесное наказание нельзя вовсе вывести из употребления, то путем раз'яснения последствий судебных постановлений о розгах можно значительно сократить случаи его применения.

— Так как же, гг. судьи, — спросил я, — какой же будет ваш приговор по делу Новикова: без розог и без бутылки водки?

— Видать, что так... Ничего с тобой не поделаешь!.. Пиши!

В присутствие снова была допущена публика. Я прочел решение волостного суда и скрепил его подпиской сторон, что они довольны решением.

Крестьяне стали расходиться.

— Выпивки, видать, не будет? — спросил судья, бывший на именинах у дяди Ивана.

— Нет, брат, не будет... Угостись на свои! — последовал ответ.

— Что так?

— По-новому жить станем... Писарь не велит.

— А, вон оно что!

Судьи простились со мной и вышли. Я видел из окна, что к ним на улице присоединились Алексей и Сергей, поговорили о чем-то, жестикулируя, и направились вместе...

Я заподозрел, что судьи, несмотря на мои доводы, все-таки «сорвали угощение»... Я позвал сторожа и, указывая ему на крестьян, удалявшихся от волостного правления, высказал свою догадку.

— Не иначе! — ответил он утвердительно. — Да они как обсудили его?

Я сказал и добавил: — Хотели еще дать 10 розог за ослушание старосте и старшине.

— А ты отговорил?

— Да.

— Ну, вот за отмену-то розог и сопьют с него бутылки две... скажут: «отстояли тебя от старшины»... Да и Сергей выставит, поблагодарит... У нас так бывало: тут же в суде пили, и писарь с ними... Тебя, видать, поопасились...

Раз'яснения сторожа показали мне, что изменить укоренившийся порядок относительно «угощения» судей едва ли удастся, пока не изменится их состав...

— А давно сидят эти судьи? — спросил я

— Летось выбрали их.

— Что ж, волостной сход лучше-то не нашел?

— Да кого возьмешь? «Калагуры» (старообрядцы) не пойдут, а остальные мужики, — Федор махнул рукой, — прямо сказать, пьяницы!..

Глава двадцать седьмая

ЛИХА БЕДА НАЧАТЬ

В пристрастии булгаковских крестьян к выпивке я убедился в тот же день, когда наконец выставил «старикам» обещанное ведро водки.

Я позвал сельского старосту, дал ему денег на покупку вина и просил созвать «стариков» в «сборную избу».

— А сам придешь? — поинтересовался староста.

— Оповести, когда соберутся все. Приду.

Не прошло и часа, как сельский староста «прибежал» сказать, что «старички» ждут меня.

Около «сборной» сошлось до восьмидесяти человек. Тут были действительные старики и крестьяне, по виду не достигшие даже 40 лет.

Я поздоровался с ними и, указывая на четвертные бутыли, наполненные водкой, сказал:

— Ну, вот вам обещанное угощение! Кушайте на здоровье, а я пойду: дел много.

Последовал взрыв протеста:

— Да что ты!

— Как уходить!

— Без тебя никак нельзя!

— Уйдешь, — кого же мы поздравлять будем?

— Да и выпить тебе полагается с нами.

Пришлось ответить на их доводы в пользу необходимости присутствовать мне при выпивке.

— Прежде всего, господа, — сказал я, — я не пью и, признаться, не люблю смотреть, как выпивают другие... Поздравить меня с тем, что я получил место у вас, может кто-нибудь один за все общество, не всем же подходить ко мне по очереди и при этом выпивать стаканчик?.. В другой раз я с удовольствием побуду с вами, мы поговорим, побеседуем, а сейчас мне некогда, я должен уйти!.. До свиданья.

— Да нет!.. Постой! — раздались голоса.

— Не просите! Не останусь, — сказал я решительно и пошел.

— Ишь, сурьезный какой! Не уломаешь! — долетел до меня чей-то голос.

Мой квартирный хозяин на вопрос, почему он не пошел выпить стаканчик, ответил:

— И без меня там много охотников!.. Ну, теперь всю ночь прокантуют... с твоего ведра! — добавил он.

— Да ведь немного придется на каждого.

— Лиха беда начать!.. Свое ведро выставят, а то и два... К тебе наведаются: не прибавишь ли полведерка?.. Наши мужики выпить любят...

Глава двадцать восьмая

ТОНКАЯ ЭКСПЛОАТАЦИЯ КРЕСТЬЯН

Предположение моего хозяина оправдалось. «Старики» раза три отправляли ко мне депутацию с просьбой дать им «прибавку». И только мое отсутствие избавило меня от неприятных разговоров.

Встревоженный перспективой визита пьяных людей, я решил пойти познакомиться с Петром Ивановичем, благо, он имел ко мне какое-то «дельце», и я слышал о нем, как о любопытном явлении в этой волости.

По отзывам крестьян, он рисовался мне зажиточным человеком, чуждым всяких кулацких замашек, всегда готовым бескорыстно послужить «миру». При разверстке покоса между крестьянами я сам натолкнулся на такой случай.

Об источниках его доходов я получил сведения от моего хозяина.

— От земли промышляет, — сообщил он, — участок содержит, в казне снял, с него и богатеет.

— Большой участок?

— Десятин сот восемь будет — участок огромадный!

— Кто же разбирает землю — ваши?

— Наши мало, окольные «покупают» (арендуют)... Нам земля его не с руки: далече и дорога шибко.

— Давно он держит участок?

— Годов с десяток есть, коли не боле... И земля какая—родистая!.. За доброту, видно, бог наградил его!

— А что?

— То-то, сказываю, земля-то больно гожа!.. А заполучил он ее в казне, почитай, задаром.

— Нет, ты говоришь: за доброту его бог наградил?

— Знамо, за доброту!

— За какую же доброту?

— Милостив больно, обиды никому от него нет... Не как прочие... из богачов.

— В чем же милость его? Сам землю снял дешево, а другим сдает дорого...

— Не задарма ж ему отдавать!.. Без прижимки сдает, и за то спасибо!.. Другой — сунься-ка к нему! — облает, без «кабальной» бумаги и не даст, а этот — обходительный, и условиев нету у него, все—на слове, по чести... Бедного пуще богатого норовит почтить... Ува-а-жительный!

— Он только от земли богатеет или еще чем не занимается?

— Семя подсолнечное скупает, а более ничем не займается.

— У своих скупает семя?

— Какое у нас семя! Разве у нас есть? Девкам коли погрызть в праздник — найдется, а боле нет... У окольных мужиков скупает, у кого бахчи есть... А у нас какое семя!..

Таким образом выяснилось для меня, что условия обогащения Петра Ивановича лежат вне Булгакова, и он, не связанный с своими односельцами никакими экономическими расчетами, действительно может избегать «творить им обиды»...

Петр Иванович встретил меня очень радушно.

— Вот спасибо, что зашел!.. Чайку сейчас закажем, посидим, я и дельце свое тебе обскажу.

Незадолго до моего приезда в с. Булгаково Петр Иванович кончил отделку своего большого дома, сооруженного по плану образцового двухклассного училища. Он выстроил эту «хоромину» в надежде перевести туда сельское училище, ютившееся в доме дьякона, за 80 р. в год, и возбудить вопрос о переводе в с. Булгаково «призывного пункта», о чем нельзя было хлопотать раньше, потому что в селе не было соответствующего помещения.

По словам Петра Ивановича, существующий «призывный пункт» весьма неудачно назначен в селе Сосновке. Большинству крестьян, отнесенных к этому призывному участку, для вынутия жребия приходится проезжать до сорока и более верст, а такие дальние переезды сопряжены с материальными и нравственными лишениями. Материальные выражаются тем, что «доводится лишних два раза кормить лошадь в дороге», расходовать на ее и на собственное содержание в течение 5—6 дней призыва около шести рублей.

— А будь-ка жеребьевка поближе, — сейчас, коль нехватка, спосылал домой за кормом и себе наказал бы захватить чего... колобушку какую.

Нравственные лишения заключаются в том горе, какое испытывают родные и родственники будущего новобранца, когда им, в видах экономии, приходится

отказываться от проводов его и вдали от него, а не на «пункте» переживать тревожные думы: «забреют или нет?»

— Вот я и надумал, — говорил Петр Иванович, — из Сосновки жеребьевку-то—к нам. Окольные мужики согласны, просить хотят... Почитай, и начальство мекало, как ему время пришло пункты заводить, что лучше нашего Булгакова для этого дела не сыскать: центра самая для всей округи, — да в те поры жилья не было у нас: где ты присутствие уставишь? Домишки махонькие, в правлении тоже утеснительно, а теперича, как бог привел мне выстроиться, — хоть два присутствия заводи в моем доме: простор, вольгота!.. Окольным любо будет, а селу-то нашему и вовсе благодать! — продолжал Петр Иванович.—Наедет начальство, старшины с писаришками — народу навалит уйма! Кому фатеру, кому что — доход! Которые из наших для экого случая торговлю заведут: жамки, орешки, закуски разные — глядишь, в неделю и наторговали на две красных!.. А пуще всего... через питейный нам расчет будет!

— Это как? — спросил я с недоумением.

— А та-ак! Теперича у нас питейный за 800 рублев в год ходит, а тогда полторы, либо две тысячи возьмем с кабатчика, не то — общественный заведем... как бог свят, сорудуем!.. И раньше у нас толков об этом не мало было, да все никак народ не согласишь: как, да что? Где ты, мол, такого человека сыщешь, чтоб не украл?.. А как не найти? Сборщику какие деньги препоручаем — тыся-чи!.. Най-дем!.. Летось у нас кабатчик три тысячи в год нажил, без солдатства, а тогда — в одну неделю три тысячи сгрудим... Шесть тысяч общественного дохода!.. Небось, тогда мужики

скорей подадутся, не упустят экого капитала — мирской кабак бу-удет!

Слушая такие речи богатого мужика, я невольно думал: какая же затаенная мысль кроется во всех этих измышлениях на пользу «мира?»

— А если общество не заведет мирского кабака, сам не думаешь открыть... в свою пользу? — спросил я.

— Сам!.. Я? — с большим под'емом чувства возразил Петр Иванович: — Да что ты? Винищем чтоб мне торговать? Ни... и! Пущай богатеют с него, кому охота, а я и духу-то его близко не допущаю к себе!.. Не моего ума это дело — мужика чтоб опаивать, отшибать разум у него, а опосля — по миру! Я и званья не возьму, накажи меня бог, помыслить об этом!.. Я, друг мой, живу по чести: кормлюсь, чем бог послал, — и будет с меня!.. А для «мира» постараться — почему не постараться? В этом случае и кабак ничего: «мир» зорить не станет, «мир» — особь статья!

— Но ты знаешь, что на общественный кабак не выдают патента? — подошел я к вопросу с другой стороны.

— Ха-ха-ха! — засмеялся Петр Иванович. — Не выдают! Мало чего!.. За кабак, вон, тоже не велят денег брать, даром чтоб приговор выдавали... Ка-ак же! Берем в лучшем виде... На всякую выдумку своя придумка есть... Не дают правов на общество — я на себя выправлю: разве они угадают, что меня «мир» послал?.. Пусть только перенесут сюда жеребьевку, а там — оборудуем! Сам пойду права получать... «Мир» знает меня!.. С кабаком — и «мирские» дела пойдут... А теперь какие у нас дела?..

— Мало ли дел в обществе? — возразил я.

— Много их — точно, да нет таких, чтобы «миру» на пользу... Подати, сотник, староста, пожарная часть — разве это дела?.. А? Для экого дела мужик с неохотой на сходку идет, силой тащи его... В старые годы — ну, были дела, точно. На-миру судились, некрутов ставили «миром», того же старосту выбирать была охота. Ноне не то-о! Новые порядки пошли: крючки да закрепы, расписки эти с условиями, — уж тут где «миру» судить! Начальника тоже не изберешь, по нас чтоб был: не больно слушают нашего брата! Ты выставил человека стоющего, «мирского» — глядь, бумага: обраковали, другого выбирай. Не то почнут его в кутузке по неделе держать: охота, вишь, мужика зверем сделать, чтоб у своего брата не один кусок из глотки тащил, а еще и язык прихватывал...

Ноне порядки — и... и... х! Срамота одна..., Ну, мужик и лежит на печи, неча ему на «миру» делать: на все их воля!.. А теперича заведу я общественный кабак — так, полагаю, на печи мужика-то и потревожу, из тепла на улицу малость выходить станет.

Я сказывал — шесть тысяч доходу будет от кабака... Это я так, без примерки сказал, а коли не зря-то прикинуть, боле наберется... Ну, да ладно, скажем так: шесть тысяч, по 500 рублей на месяц выходит. Кажинный месяц — сходка, учет... «мирского» сидельца, не старшину учитывать, свободно, начальством не застращает и в клоповник не запрет за правду... Тут же сообразить надо, как с деньгами быть? Какой порядок уставить в питейном: что худо — отменить, а хорошее — на развод... Мало ли делов будет! Все мужики с печи послезут!..

«Дельце» Петра Ивановича ко мне заключалось в том, чтобы составить убедительное прошение

в земскую управу от имени нашего волостного схода о переводе призывного пункта в Булгаково и вместе с Петром Ивановичем об'ехать все волости, какие могут войти в наш участок, и уговориться с ними относительно срока подачи прошений.

Я выразил полное согласие содействовать осуществлению его плана, и мы расстались.

Было довольно поздно, когда я возвращался домой. Вдали слышались пьяные возгласы; кто-то пытался петь, постоянно меняя мотив; вот что-то упало, донесся придушенный крик «караул!» и замер... Я остановился, прислушался; крик больше не повторился.

На другой день, когда я пришел в волостное правление, сторож доложил мне, что в арестантской спят четыре человека, посаженных старшиной за озорство в пьяном виде.

— Твои крестники! — насмешливо прибавил он.

Это известие так больно кольнуло меня, что я не нашелся, что ответить... Я сидел за своим письменным столом и машинально вскрывал пакеты, полученные с почты... Вдруг скрипнула входная дверь. Вошел невзрачный старик, пошатываясь.

— Тебе что? — спросил я сердито.

— К твоей милости!.. Голова больно трещит с твоего вина, дай опохмелиться.

Я привстал со стула и крикнул:

— Пошел вон!

Старик стоял и переминался с ноги на ногу.

— Слышишь, что я сказал: вон отсюда!

— Дай опохмелиться!

— Федор! — позвал я сторожа. — Выведи его!

— Пойдем, дядя Роман, пойдем! — уговаривал сторож, обнимая его. — Выпил вчера — и будет.

— Да мне опохмелиться только...

— И так очухаешься... Идем!

— Ведь он же испортил меня! — долетел неожиданный упрек по моему адресу.

Я еще не успел овладеть собою от предыдущих впечатлений, как вошел Федор с новым докладом:

— Крестники твои проснулись... Тоже опохмелиться просят.

— Скажи им, что ничего не получат... Сбегай к старшине — пусть выпустит их...

— Не замай, поспят еще малость!

— Ну, как знаешь!.. Я домой иду.

Еще два—три человека с признаками «угара» встретились мне, пока я добрался до дому, и каждый просил «поправиться»... Один, сидя на своем крыльце, на мой отказ ответил бранью и хриплым голосом произнес:

— Не жалей косушки — с нас сдерешь на ведро!..

Теперь я понял, какой сделал промах, согласившись на угощение «стариков». Вспомнились доводы старшины, «каштанов»; яркой картиной прошел в голове волостной суд с его приговором «десяти розог и бутылки водки»; почувствовалась обидная горечь при воспоминании о том, как я старался убедить судей в необходимости изменить их взгляд на розги и мзду и как они все-таки пошли «опивать» свои жертвы...

С большой ясностью я представил себе обстановку вчерашнего пьянства с депутациями ко мне, диким пением и криком о помощи... Наконец эти «крестники», валяющиеся на полу в арестантской!.. Они стояли передо мной живым укором, были жестоким наказанием за мою непростительную ошибку!..

Я сидел в своей «горнице», удрученный тяжелым раздумьем... Мне казалось, что все время моего пребывания в Булгаковской волости я буду вращаться в удушливой атмосфере пьянства...

Чтобы разредить эту атмосферу, рассеять ее, необходима коренная перемена условий крестьянской жизни, а как приступить к этой сложной задаче, если каждый «вопрос дня», пригодный для об'единения крестьян, может повести к увеличению доходов кабатчика?..

Мечты Петра Ивановича о переводе в село Булгаково призывного пункта, с наплывом сюда массы людей, выпивающих в дни «жеребьевки» то «с горя», то «с радости», пожалуй, тоже выльются в формы новых предлогов для выпивки?..

Мелькнула мысль уйти из этой волости... И чем больше я сосредоточивался на ней, тем неизбежнее казался для меня этот выход...

Изменилось сразу и мое отношение к примитивным условиям некультурного личного существования: почувствовались неудобства моей «горницы» с двуспальной кроватью и сундуками, недостатки питания и прочее. Я решил отправить немедленно прошение об увольнении меня от должности. В нем я просил непременного члена присутствия по крестьянским делам разрешить мне при личном свидании об'яснить причины моего недовольства службой в Булгаковской волости.

В ожидании ответа Н. М. Кострицына я лениво занимался в волостном правлении. Все эти запросы казенной палаты, управления государственными имуществами, земской управы и других учреждений утратили интерес: при чтении предписаний я искал лишь повода отсрочить исполнение того или другого...

Словесные и письменные просьбы крестьян о разборе новых дел в волостном суде, как нарочно, касались недоразумений, возникших на почве сношений в пьяном виде, и сопровождались домогательствами посадить обидчика в «кутузку» или «взыскать с него за бесчестие»...

Мои продолжительные уговоры прекратить такие «срамные» дела достигали цели только в случае поступления встречных жалоб, позволявших признать «взаимный мордобой»...

В такой период моего мрачного настроения в волостное правление заглянул Петр Иванович. Он зашел справиться, «обмозговал» ли я ходатайство будущего волостного схода о переводе в Булгаково призывного пункта... Эта настойчивость, плохо понятная для меня со стороны арендатора 835 десятин земли, повела к тому, что я заговорил с ним о разных способах наживы среди крестьян, желая выяснить его личные приемы эксплоатации.

Он раскрыл мне изумительную систему своей хитрости и выдержки!

— Этих я не похвалю, что мужика зорят, — говорил он, — расчета в них нет!.. Разорит мужичонка из-за пустова: даст, к примеру, красненькую, а за подожданье взыщет вдвое; закрепит скотиной, домом; не уплатил — и пустит по-миру... С нищего уж не возьмешь: какой он слуга?.. Опять и то сказать: ты обездолил одного, другого — глядишь, озираться станут, поопасатся к тебе итти... Нужда загонит к другому, а все же не к тебе. А ты так веди: со всех получай, без остановы... Вот хоть бы я землю сдаю... Приходит ко мне мужик и другой. У одного есть, а у другого... почитай, так живет: сегодня без денег, а завтра в долг...

Обоим земли дай!.. У меня хошь и есть она, земля-то, а быдто нет: карта, говорю, одна осталась... Кто побогаче, тот прямо деньги вынимает: «на, говорит, получай!..» Бедненький, известно, стоит и чешется. — «Что, мол, сердешный, и тебе надоть?»—«Как же, говорит, Петр Иванович, больно надо бы, да денег у меня нет».— «Э-эх, говорю, денег нет? Теперь нет — после будут! Идет ли тебе эта карта? Идет, так бери!.. Бедняка пуще богатого надо уважить: на деньги, где хошь, возьмешь; без денег мало дают. Бери, бери!» — Сымет он у меня карту, да и другой не отвертится, потому, знаю я, взять-то ему земли негде, опричь меня... — «Понаведайся, говорю ему, денька через два, може, и тебе сыщется: посулил я тут одному нумерок, оставил; задатку не взято; не придет ежели — твой и будет!» — А кому притти? Некому: оба, выходит, и мои... А теперича прикинь-ка, какой расчет мне от моей линии? Беднота — напереду, значит, цена на землю уж не та-а: тут прямо рубль, либо два лишков с десятины! Опять же и сказывать им неча, что «за подожданье»: разбредишь только, худа слава об тебе пойдет, а ты накинь — и молчи: будто бы цена такая. Рублем его не остановишь. Возьме-ет! Потому сейчас ему трудно, а надоть; «к осени же, думается ему, богатеем стану»... Ха-ха-ха!.. Возьмет!.. По той же цене и капиталистому мужику отдам... Нужды нет, что за деньги, а не уступлю. С ним разговор короток: «Дорого, скажет, Петр Иванович!» — «Дорого? Все так берут. Дешевить не приходится; бедняка я скорей бы уважил, если можно-то было: нельзя, друг!» — «Да ведь то в долг, а я — за деньги!»—«У меня одна цена: что за деньги, что в долг, лишков не беру за подожданье: не ростовщик я!.. Бери и ты в долг, если эдак дешевле думаешь!..» Отве-

тишь ему так-то, он перечить и не станет... Ну, другой, точно, возьмет без денег; вынет да назад уложит их за пазуху... Я ничего. Мне деньги нужны по осени — семя скупать, а получка с него верная... пусть попользуется!.. Так-то вот со всех и беру!.. А то — с одного! Много ли с одного получишь?.. Глупый народ — те, что мужика зорят!

— И все без расписок отдаешь землю? — спросил я.

— Без расписок... Пустое дело — эти расписки да условия! Ты совесть мужицкую заполучи — во-от. Этот документ покрепче расписки будет!.. А у меня она — вся в руках!

— И платят аккуратно?

— Верно платят: как уговор был, так и отдают... Позамешкается разве какой бездетный, а большая часть... чуть мало-мало накопил деньжонок—и тащит; скорей подати в недоимку загонит, чем мне не отдаст... А, случись, больно уж оттягивать станет — сам заеду. — «Что, мол, милый человек, деньжонки-то когда отдашь? Время и поплатиться!»—«Знаю, скажет, Петр Иванович, знаю! Не сумлевайся: отдам!» — «Пора! Я тебя выручал: помнишь, при тебе мужик деньги-то выкладывал. Не взял я: тебя пожалел, — ну, и ты меня побереги!.. За доброту мою обидой не отплати!» Взболтнешь эдак-то совесть его — займет да отдаст!.. Мужик тоже обиход любит. Теснить его — нет хуже: осерчает и шабаш! А лаской... не нудь, а напоминай... легонько... Твой и будет!..

Мне показалось, что в руках такого тонкого политика по эксплоатации крестьян и призывной пункт как-нибудь обратится в «приятный обиход» для мужика. Когда Петр Иванович собрался уходить я сказал ему:

— А заняться твоим дельцем мне не придется, Петр Иванович.

— Что так? — пугливо спросил он.

— Я подал прошение об увольнении меня от должности. Не сегодня—завтра придет ответ, и я уеду.

— Вот беда-то какая! Опять, значит, без писаря жить!

— Новый будет.

— Когда будет!.. Может, тебе жалования маловато, так прибавят; я настою!

— И жалования мало, и квартиры нет, а главное — пьянства много.

— Что правда, — то правда! Ну, в этом деле пособить тебе не могу... Жаль, жаль, что уезжаешь!

Мы простились.

Через два—три дня пришел ответ непременного члена присутствия по крестьянским делам. Он предписывал мне сдать дела волостного правления булгаковскому сельскому писарю и явиться к нему в г. Вольск.

Глава двадцать девятая

ЧЕЛОВЕК ЧЕСТНЫХ УБЕЖДЕНИЙ

— Почему вы так скоро отказались от должности? — спросил меня непременный член присутствия по крестьянским делам, когда, по приезде в г. Вольск, я пришел к нему.

Я изложил мотивы отказа, приурочив их главным образом к пьянству булгаковских крестьян, и в виде иллюстрации пережитых неприятностей привел факт из деятельности волостных судей...

— Мне хотелось бы видеть результаты своей службы в интересах крестьян, — сказал я, — а в Бул-

гаковской волости все силы надо направить на борьбу с пьянством — и все-таки ничего не достигнуть... Ведь единичными стараниями не уничтожишь причин, вызывающих их пристрастие к водке!

Кострицын долго молчал. Он перебирал в своей памяти волости, куда бы определить меня.

— Есть волость, где вы пришлись бы ко двору, — наконец сказал он, — это — Балтайская. Там недавно избрали старшиной богатого крестьянина, неугодного местным кулакам — с явным намерением запутать его, подвести, так как он неграмотный и легко попадет в руки волостного писаря, действующего в согласии с кулаками... Старого писаря надо уволить, но предложить вам его место я могу, лишь переговорив сначала с волостным старшиной: он самостоятельный человек и может не принять вас, если вы явитесь к нему только с моим предписанием...

Николай Михайлович опять задумался.

— Вы можете подождать здесь недели две? — спросил он. — Я снесусь с предводителем дворянства. Он сейчас в своем имении, по соседству с Балтаем, и сообщит мне, освободилось ли там место волостного писаря и не хочет ли старшина воспользоваться моей рекомендацией.

Я охотно согласился ждать ответа Николая Петровича Фролова, зная, что он, при всех условиях, будет на моей стороне, лишь выдвигая вперед инициативу Кострицына...

— Ну, а чтобы вам не было скучно и время ваше не пропадало даром, — сказал с улыбкой Николай Михайлович,—я дам вам работу... Судя по двум—трем копиям с решений булгаковского волостного суда, поступившим ко мне за последние дни, вы можете помочь

мне... На моей обязанности лежит составление резолюций присутствия по крестьянским делам по жалобам на решения волостных судов. Их накопилось довольно много. Некоторые следует оставить без последствий, а другие—признать правильными, в особенности протесты против розог... Пора отучать мужиков сечь друг друга!.. Я думаю, вы справитесь с этой работой.

— Постараюсь, при вашей помощи, — ответил я. — Где прикажете заниматься: у вас или дома?

— Где хотите.

— Я предпочел бы у себя... И вместе с делами волостных судов просил бы дать мне образец постановлений присутствия, положение о крестьянах в издании 1876 года и устав благоустройства в селениях государственных крестьян [30].

Разговор происходил в кабинете Кострицына. На письменном столе его царил ужасный беспорядок. Николаю Михайловичу пришлось переложить с места на место не мало бумаг, книг и брошюр, прежде чем дать мне пачку крестьянских жалоб. Пока он выбирал их, я заметил, что на полях каждой имеются краткие резолюции: «утвердить», «отменить», — что указывало, как непременный член хотел бы отнестись к тому или другому решению суда.

— Вы не особенно торопитесь, — сказал он на прощанье. — Очередное заседание присутствия состоится не раньше, как через неделю. До тех пор эти дела мне не понадобятся.

Я взял все, что мне было нужно, и спросил:

— Позвольте показать вам два—три постановления, когда они будут готовы?

— Пожалуйста!

Мы расстались.

Глава тридцатая

РАБОТА НАД ЖАЛОБАМИ КРЕСТЬЯН

В дрянной гостинице, где пришлось остановиться, я с увлечением принялся исполнять обязанности непременного члена.

Надо заметить, что по закону решения волостного суда считались окончательными и неподлежащими обжалованию, когда при разборе дела и постановления решений были соблюдены все правила, указанные в Общем Положении о крестьянах, и жалобы на решения волостных судов присутствие по крестьянским делам должно было рассматривать только в кассационном порядке. Но ни крестьяне, ни члены присутствия не исполняли закона.

Мужик искал правды и ждал, что присутствие выскажется по существу дела в его пользу, а члены присутствия при виде явной несправедливости или жестокости не могли довольствоваться одним признанием, что волостным судом соблюдены установленные правила.

Отменить какое-либо решение не составляло трудности, потому что волостные писаря, эти блюстители всяких правил и форм, довольно небрежно относились к соблюдению их и не заботились или не умели изложить приговор с достаточной ясностью. В одном случае можно было заключить, что суд не предложил сторонам кончить дело миром, в другом—не допросил указанных свидетелей, в третьем — к гражданскому иску присоединил уголовный элемент, в четвертом — рассмотрел дело по прошению в отсутствии сторон и т. д. Задача присутствия сводилась не к отмене приговора

волостного суда в силу нарушения той или другой формы, а в оценке его по существу с прямым указанием на то, как бы следовало решить дело по справедливости или смягчить кару, назначенную судом.

Чтобы показать Н. М. Кострицыну образцы своей работы, я выбрал два дела: одно—по семейному разделу, и другое — о предосудительном поведении молодого крестьянина в пьяном виде. На обоих жалобах недовольных решением суда стояла резолюция: «отменить».

С таким заключением по первому делу я не мог согласиться. При разделе имущества между стариком отцом и семейным сыном волостной суд постановил: отцу оставить дом и выделить незначительную часть из движимого имущества, остальное же, во много раз превышающее стоимость отцовской доли, отдать сыну. «Почему Николай Михайлович недоволен этим приговором? — соображал я. — Разве он против семейных разделов? Или только в этом случае он считает неправильным решение суда?»

Я был сторонником семейных разделов, признавал «трудовое начало» основой справедливого распределения собственности между родителями и детьми, и в случае, рассмотренном волостным судом, для меня ясно было, что судьи при дележе домашнего хозяйства руководствовались степенью труда, вложенного в него обеими сторонами. Если дом был создан руками отца, то движимое имущество приобретено при большом содействии сына, и должно итти ему лишь с некоторым ограничением в пользу старика.

По-моему, решение суда было правильно, и его следовало утвердить, высказав все эти соображения по поводу полученной жалобы. В таком смысле я и составил постановление от имени присутствия.

Другое дело требовало непременной отмены решения, так как волостной суд приговорил парня за дебош в пьяном виде к розгам. Как на зло, волостной писарь, составляя приговор, не допустил ни малейшего промаха: видимо, он желал наказать парня и постарался устранить все поводы для отмены решения... Мне оставалось одно — усмотреть из приговора, что судьи упустили из вида последствия телесного наказания, сокращающие права крестьянина, наказанного розгами, иначе они назначили бы молодому человеку другую кару.

С этими постановлениями по двум делам я отправился к непременному члену. Николай Михайлович очень внимательно прочел их и сказал:

— По делу о семейном разделе я думал несколько иначе: мне казалось, что суд обидел старика... Я не принял в расчет его возраста, о чем он упоминает в своей жалобе, и семьи сына, тоже работавшей для накопления имущества... Вы правы. А мотив отмены розог — прямо остроумен. При случае я буду пользоваться им...

— Значит, вы довольны моей работой?

— Очень. Составляйте резолюции по остальным делам. Я воспользуюсь ими, чтобы отметить вашу деловитость в глазах предводителя дворянства: его протекция вам пригодится.

Дня три—четыре я работал над остальными жалобами. Некоторые решения волостных судов с отметками Кострицына «утвердить» или «отменить», по моим соображениям, требовали ссылок на законы, и я цитировал то «Положение о крестьянах», то «Судебный устав казенных селений», что придавало моим отзывам характер большей убедительности.

Когда все жалобы были снабжены соответствующими резолюциями, я отнес дела на квартиру Николая Михайловича умышленно вечером, чтобы дать ему время познакомиться с ними в мое отсутствие.

На другой день, когда я пришел к нему, меня ждал новый сюрприз. После одобрительных отзывов о моих резолюциях на решения волостных судов Николай Михайлович сказал:

— Ваша работа подала мне мысль предложить вам проехаться со мной по уезду. Для меня ясно, что вы хорошо знаете волостные дела и можете помочь мне при ревизии волостных правлений. Я давно собираюсь в уезд с этой целью... Кстати, мы заедем к предводителю дворянства, и я выясню с ним вопрос о назначении вас писарем в Балтайскую волость.

Я, конечно, согласился, не предвидя для себя тех неприятных последствий, какие вскоре породила моя роль ревизора.

— Мы выедем через два дня, — сказал Кострицын, — соберитесь в дорогу!.. А это — маленькое вознаграждение за ваши труды, — добавил он, протянув мне 10 рублей.

— Позвольте отказаться от денег, — возразил я, — работа доставила мне не только удовольствие, но и пользу.

— Вполне верю... Но всякий труд должен оплачиваться... В особенности при разнице наших положений.

Продолжать отказываться было немыслимо, и я взял 10 рублей.

Собраться в дорогу? Для меня это был довольно сложный вопрос. Что взять с собой? На случай надобности, в моем багаже был запас белья и платья, пригодный для превращения из волостного писаря

в дорожного франта... Все эти вещи надо было оставить. Ограничиться простенькой одеждой писаря тоже было нельзя: предстоящая поездка с непременным членом в роли ревизора волостных правлений обязывала иметь более приличный вид. После некоторого раздумья над своим большим чемоданом я решил, что в пальто и кожаной фуражке сойду за писаря, а в красивой дорожной тужурке без пальто — за человека высшего ранга. Внешность на разные моменты была придумана.

На другой день, когда мои чемоданы были затянуты ремнями, я пошел к хозяину гостиницы спросить, нельзя ли оставить у него мой багаж до возвращения?

— Что ж... Ладно,—после некоторого раздумья проговорил он с расстановкой.—Заплатите после за беспокойство... По волостям наскребете, чай, деньжонок?..

Последнее соображение смутило меня.

— А разве бывали такие случаи? — спросил я.

— Известно. Всем письмоводителям дают — станового, исправника... дадут и вам, чтоб скрыли какой-нибудь грех...

Этот разговор надоумил меня нигде не рекомендоваться «письмоводителем непременного члена», а предоставить ему называть меня, как угодно.

Глава тридцать первая

ДЛЯ ПОСРАМЛЕНИЯ СВОЕГО НЕДРУГА

Моя поездка с Кострицыным, как подчиненного с начальником, могла бы обратиться в неприятное путешествие, если бы он хоть раз в дороге подчеркнул разницу наших общественных положений. Но он был так прост в обращении, внимателен и любезен, что я

не ощущал никакой неловкости, тем более, что в разговоре со мной он не интересовался моим прошлым ни в каком направлении.

Николай Михайлович то подробно расспрашивал меня про сельские и волостные дела, как бы стараясь проверить свои взгляды на разные стороны крестьяского управления, то сам сообщал мне характерные факты из практики присутствия по крестьянским делам в подтверждение своего основного взгляда, что крестьянское самоуправление должно развиваться вне всякого давления со стороны. В этом отношении он был вполне солидарен с предводителем дворянства. С исправником же, как он и раньше заявлял — в больших контрах.

— Сам по себе, — говорил Кострицын, — исправник — честный человек в том смысле, что не берет взяток, но полицейский в душе, грубый и третирует крестьян, как своих подчиненных. Становые пристава и он — одна семья, и большинство — плохие люди... Некоторых давно следовало бы удалить, но он всячески ограждает их от неприятностей... В особенности его расположением пользуется пристав Добровольский, страшный взяточник! Хитрый человек, становой этот совершенно опутал исправника, стал даже его кредитором... Крестьяне жалуются на его вымогательства, мы не раз говорили об этом исправнику, а он знает только одно: «Брехня! Пусть представят мне доказательства»... Вот, если вы будете служить в Балтайсой волости (она в пределах стана Добровольского), постарайтесь собрать фактические улики против этого господина. Балтай — большое торговое село, где он часто бывает и, конечно, не пропускает случая урвать, что придется... Я воспользуюсь вашими сведениями, чтобы избавиться от этого хапуги...

— Может быть, при ревизии волостных правлений вообще обратить внимание на расходные записи: не встретятся ли там указания на взятки под видом каких-нибудь экстренных и загадочных выдач?

— Нет, это — слишком кропотливая работа и вызовет большие толки... К тому же в этой части уезда пристав довольно сносный... При ревизии намеченных волостных правлений я хотел бы выяснить только исполнительность волостных писарей, в особенности рекомендованных исправником, в пределах волостного суда, запросов присутствия по крестьянским делам, земской управы и личных дел крестьян, например, о выдаче паспортов, увольнительных свидетельств и пр. Кроме того, у меня с собой несколько крестьянских жалоб, требующих раз'яснения... Дела по воинской повинности, по взысканию податей, это— уж область исправника: их надо оставить в стороне.

Из разговоров с Кострицыным я мог сделать два вывода: во-первых, при ревизии ему хотелось бы запастись данными для посрамления своего недруга и, во-вторых, чем больше я открою упущений по службе писарей, определенных на должность исправником, тем подозрительнее будет относиться ко мне этот «грубый полицейский в душе» и, несомненно, бесцеремонный в выборе средств, чтобы отомстить «писаришке», причинившему ему ряд неприятностей.

Отказаться от ревизии было нельзя; не мог я и скрыть отрицательные стороны деятельности писарей, если бы они обнаружились: оставалось одно — действовать прямо, без колебаний, полагаясь на защиту предводителя дворянства и непременного члена в случае нападок на меня исправника...

Глава тридцать вторая

„Писарь" в роли ревизора

Первое волостное правление, куда мы заехали, находилось под управлением ставленника исправника, невзрачного старика, служившего когда-то военным писарем.

— Мы хотим знать, — сказал ему Кострицын, подавая руку, — как вы справляетесь с волостными делами? Покажите вот им (указал он на меня) все, что потребуется.

Такой приступ к делу давал старику широкий простор для догадок, кто я и какими располагаю правами.

Николай Михайлович ушел на «в'езжую квартиру», пригласив к себе волостного старшину, и мы остались вдвоем.

— Дайте, пожалуйста, входящий журнал! — сказал я писарю, усаживаясь у стола.

Он подал мне книгу, тщательно обернутую в синюю бумагу, и проговорил:

— Для господ приезжих чиновников имеется ежемесячная ведомость о движении дел. Не прикажете ли представить вашему высокородию?

— Нет, ведомость не нужна, — ответил я, просматривая записи в книге.

Старик стоял навытяжку у стола и, видимо, был смущен.

— Садитесь, пожалуйста, — сказал я и шутливо прибавил. — Говорят, в ногах правды нет...

— Ничего-с, я постою... Привычное дело.

«Входящий журнал» свидетельствовал, что писарь обладает прекрасным почерком, любит аккуратность,

не задерживает исполнения предписаний, но, по недостатку грамотности, затрудняется выразить содержание поступившей бумаги.

Встретилась, например, такая запись: «Предписание Вольской уездной земской управы от 1 марта за № 0000 о представлении желающих на счет добровольного страхования».

Я попросил показать мне это предписание и соответствующий ему «отпуск». Оказалось, что земская управа, в лице агента земского страхования, желала знать, нет ли в двух селениях после пожара желающих застраховать свои новые дома на условиях добровольного страхования. Волостной писарь, повторив в своем «рапорте» содержание запроса, ответил: «По справкам, означенных крестьян в волости не оказалось, о чем волостное правление имеет честь донести».

Я обратил внимание на даты получения бумаги и отправки ответа: писарю понадобилось менее трех дней, чтобы удовлетворить любопытство агента земского страхования — поразительная исполнительность!

— Скажите, пожалуйста, — спросил я, — как вы узнали, что в волости нет желающих воспользоваться добровольным страхованием?

— Никто не об'являлся, ваше высокородие.

— А почему вы написали: «По справкам оказалось»?

— По форме-с.

— На будущее время следует действительно наводить справки на сельских сходах или через старост.

— Слушаю-с, ваше высокородие!

— Теперь дайте мне «Книгу сделок и договоров».

— У нас такой книги нет-с.

— Куда же вы записываете условия между крестьянами и частными лицами, если они хотят закрепить сделку?

— В исходящий журнал, ваше высокородие!

— Покажите, пожалуйста!

Старик подал мне журнал, так же тщательно обернутый в синюю бумагу. Среди названий разных «рапортов», «отношений», действительно, встречались и договоры.

Так, одна запись гласила: «Условие между крестьянами Петром Гордеевым и Васильем Моховым на счет лошади».

— Почему это условие вы записали в «исходящий журнал»? — спросил я.

— Потому как я составлял и засвидетельствовал его.

— Как же вы свидетельствовали?

— Подписи, значит, удостоверил.

— Но этого недостаточно, чтобы договор считался бесспорным. Необходимо было записать условие целиком в «Книгу сделок и договоров».

— Прикажете завести такую книгу?

— Обязательно... А скажите, пожалуйста, при выдаче условий вы получаете с крестьян деньги?

— По десяти копеек с человека по положению.

— Куда же идет этот сбор?

— Мне за труды, ваше высокородие.

— Имеется об этом приговор волостного схода?

— Никак нет-с... Так уж положено.

— Эти деньги должны составлять доход волости и расходоваться по постановлению волостного схода.

— Слушаю-с... Я доложу об этом волостному старшине.

Я поинтересовался «Книгой решений волостного суда». Здесь лаконизм писаря исключал всякую возможность судить о характере дела и о правильности его решения. Записи велись так:

«Судьи: Иван Поликарпов, Василий Гвоздев и Петр Самохвалов.

Дело: Об уплате Максиму Чекину 20 руб. за овес.

Решение суда: Взыскать с Захара Петрова в пользу Чекина 20 руб., с надбавкой 1 р. 50 к. за просрочку».

Или: «По жалобе старосты Григория Машина, парень Петр Сивков приговорен к двум дням ареста за дебош».

— А вы не находите нужным, — спросил я, — дополнять такие записи пояснениями, почему судьи решили дело так, а не иначе? В случае жалобы на решение суда, ведь по точной выписке из этой книги нельзя судить, кто прав: судьи или жалобщик.

— Для жалоб в присутствие я пишу копии с дополнениями, а так — зачем же? — с оттенком недоумения ответил старик.

В книге я не встретил ни одной записи с об'яснением причин того или другого решения: очевидно, писарь давал не копии, а выписки из книги с добавлением, по памяти, мотивов судебного решения.

Чтобы закончить свою ревизию, я заглянул в шкаф, где хранились «дела». Там был образцовый порядок: синие обложки с каллиграфическими надписями, прочно подшитые «предписания» и «отпуски», даже «Саратовские Губернские Ведомости» были сброшюрованы в порядке поступления номеров...

— Вы давно служите здесь? — спросил я писаря на прощание.

— Второй год, ваше высокородие.

— А далеко отсюда вз'езжая квартира?

— Никак нет-с... Через три дома.

Я протянул старику руку, сказав:

— Ну, до свидания! Будьте здоровы!

Он вышел со мной на крыльцо и, несмотря на мой протест, без шапки пошел проводить меня. Я невольно подумал: «Каково будет твое изумление, когда ты узнаешь, что ревизовал тебя не большой чиновник, а... волостной писарь»...

Глава тридцать третья

ПИСАРЬ-РАСТРАТЧИК

На вз'езжей квартире Н. М. Кострицын был один и пил чай. Он пригласил меня к столу «разделить трапезу» и спросил:

— Ну, что? Каков протеже исправника?

— Почти безграмотный человек, — ответил я.

— Я так и думал. Наш исправник полагает, что безграмотность — лучшая гарантия политической благонадежности... Ну, а растрат никаких не обнаружили?

— Не нашел. Только десятикопеечный сбор с условий и договоров он берет в свою пользу; говорит: «так положено», хотя приговора волостного схода об этом нет...

— На это надо обратить внимание исправника...

— Позвольте представить вам записку о всех неправильностях в делах, какие я заметил.

— Пожалуйста! Может быть, сделаете это сегодня же?.. Мы здесь ночуем.

Кострицыну понравился мой отчет, и он просил так же отнестись к ревизии других волостных правлений.

Нам предстояло побывать еще в трех волостях. В двух деятельность писарей отличалась знанием дела и отсутствием серьезных поводов для замечаний. Можно было констатировать лишь недостаточную грамотность их, порождавшую такой канцелярский слог, что иногда трудно было понять, что хотел выразить писарь.

В третьей волости, большой по численности населения, с обширным, хорошо обставленным помещением для волостного правления, служил писарем тоже ставленник исправника.

Рыжий, высокого роста и мрачного вида писарь поднялся с кресла, когда мы вошли. Как только он узнал непременного члена, его надменное выражение лица исчезло, и вся фигура осветилась подобострастием.

Как и раньше, не представляя меня, Николай Михайлович сказал:

— Мы хотим знать, как вы управляетесь с делами... Покажите вот им все, что понадобится!..

Когда мы остались вдвоем, писарь, по моей просьбе, принес из шкафа нужные книги и «дела» и замер у стола в позе рабской почтительности. Я два раза просил его сесть, но он точно не слышал моих слов. Поведение его было тем более странно, что на первых порах я очень одобрительно отозвался об его работе.

Все сразу об'яснилось, когда я заглянул в «исходящий журнал». Отметки писаря об отправке разных ведомостей и ответов на запросы не говорили о быстрой исполнительности.

Когда я записал два—три номера предписаний присутствия по крестьянским делам, исполненных с большим опозданием, писарь робко сказал:

— Вы изволили отметить опоздания... Позвольте доложить вашему высокоблагородию, что виноват тут старшина, а не я.

— Виноват старшина — значит, вам нечего волноваться... Успокойтесь, пожалуйста! — ответил я и, в параллель сделанным отметкам, выбрал два—три номера предписаний полицейского управления, исполненных очень быстро.

При дальнейшем просмотре поступивших бумаг я заметил пробел против отношения какого-то волостного правления, полученного больше трех месяцев тому назад с приложением 100 рублей. Я попросил показать мне это отношение.

Писарь отправился к шкафу и там долго рылся, прежде чем принести нужную бумагу.

Оказалось, что 100 рублей были присланы для передачи наследникам одного умершего крестьянина, бывшего в продолжительной отлучке, и до сих пор писарем не выданы.

— Вы куда записываете подобного рода поступления? — спросил я.

После некоторой заминки писарь ответил растерянно:

— В переходящие суммы следует. Но, простите, ваше высокородие, запамятовал... записать.

— Ну, а выдали их?

Писарь уставился в пол и молчал.

— Вот, в переписке по поводу отношения есть «отпуск» извещения, что оно получено... А где расписка, удостоверяющая, что деньги выданы?

— Ваше высокородие!—вдруг воскликнул писарь.— Будьте милосердны!.. По крайней нужде издержал деньги... Как бог свят, верну!

— Умолчать об этом я не могу, — проговорил я, положив перед собой лист бумаги. — Я должен составить акт о растрате...

— Ваше превосходительство! Явите божескую милость, позвольте отлучиться на короткий срок: я принесу деньги.

— Но я все равно обязан составить акт, раз нашел у вас крупное упущение по службе... Пошлите, пожалуйста, сторожа пригласить сюда Н. М. Кострицына.

Писарь постоял некоторое время в раздумьи и вышел. Он еще не вернулся, когда пришел Кострицын. Я рассказал ему, почему послал за ним, и прочел акт, составленный от его имени.

— Очень рад, что этот любимец исправника попался — заметил он, подписывая акт, — на него давно жалуются крестьяне.

Явился писарь и молча положил на стол 100 рублей.

— Это хорошо! — сказал Кострицын. — Растрата, значит, пополнена... Так и отметим в акте... Ну, вот, готово... Подпишите!

— Николай Михайлович! Будьте благодетелем: простите мою вину!.. Как перед богом, клянусь вам: больше этого не повторится...

— Надеюсь... Прошу вас подписать акт и сейчас же выдать деньги, кому следует... О снисхождении к вам можно будет говорить только в присутствии.

Писарь постоял, подумал и подписал акт, не читая.

Впоследствии мы узнали, что немедленно после нашего от'езда он уехал в Вольск к исправнику...

Глава тридцать четвертая

БУДУ СЛУЖИТЬ ПО СОВЕСТИ

В тот же день, к вечеру, мы были в имении предводителя дворянства.

Не предполагая, что я знаком с Николаем Петровичем Фроловым, Кострицын отрекомендовал меня:

— Александр Иванович Страхов. О нем я писал вам.

— А-а. Здравствуйте! — чопорно произнес Николай Петрович: — Прошу в столовую... Вы приехали как-раз к чаю.

Хозяйка дома была любезнее своего супруга и предложила мне место рядом с собой. Вероятно, она знала, кто я, и не сумела подделаться под обращение со мной, как с волостным писарем.

После чаю Фролов увел Кострицына в свой кабинет, а меня проводил в комнату, приготовленную к приезду его письмоводителя, и сказал:

— Здесь вы ночуете... Кажется, тут есть все, что нужно. — Он протянул мне руку и прибавил шопотом: — Будем казаться чужими людьми...

*

На другой день, когда рано утром я ходил по саду, ко мне пришел Николай Петрович.

— Пройдем дальше, — сказал он, поздоровавшись со мной. — Ужасно досадно, что вам нельзя было отказаться от предложений Николая Михайловича! Ваша работа по составлению за него резолюций крестьянского присутствия по делам волостных судов и ревизия волостных правлений внушили ему — знаете — какую мысль? Провести вас в секретари присутствия

по крестьянским делам... Из этого вы можете заключить, как он относится к вам... Но, увы! Чем больше будет расхваливать вас Кострицын, тем подозрительнее станет относиться к вам исправник!.. Я боюсь, что вся ваша поездка с Николаем Михайловичем, кончая открытием растраты у любимца исправника, будет иметь для вас дурные последствия... Конечно, вы можете рассчитывать на мою защиту, но имейте в виду, что очень трудно ослабить полицейскую уверенность... и, пожалуй, не без основания... что политическая благонадежность человека обратно пропорциональна степени его образования...

— Может быть, в видах моей безопасности, следовало бы предупредить Николая Михайловича, что его похвалы могут повредить мне? — спросил я.

— Я постараюсь навести его на эту мысль... Но в некоторых вопросах он очень наивен... вообще, осмотрительность — не в его характере...

За утренним чаем Николай Михайлович подсел ко мне и сообщил, что Фролов послал нарочного за старшиной Балтайской волости и надеется уговорить его предоставить мне место волостного писаря.

Это исключительно бережное отношение к волостному старшине предводителя дворянства и непременного члена очень интриговало меня, и я с нетерпением ждал, когда он приедет.

В полдень залаяли собаки. В просторном шарабане, запряженном красивой лошадью, в ворота большого двора в'ехал высокий мужчина средних лет и направил лошадь к каретнику.

Там встретил его конюх, любезно раскланялся с ним и взял лошадь.

Вскоре за мной прислал Николай Петрович.

— Вас просят в столовую, — сказала горничная.

— Вы не знаете, кто приехал? — спросил я.

— Кажется, балтайский старшина...

В столовой, между Кострицыным и Фроловым, сидел приехавший гость.

— Познакомьтесь, господа! — сказал Николай Петрович, когда я вошел, и, поочередно указывая на нас, прибавил: — Вот Василий Михеевич Сенотов, балтайский волостной старшина, а это — наш кандидат в писаря к тебе, Александр Иванович Страхов.

Представительный мужчина, лет сорока, с окладистой русой бородой и выразительными карими глазами, в темно-синей поддевке и высоких сапогах, поднялся со стула и подал мне руку.

Я поместился за столом против Сенотова.

— Итак, Василий Михеевич, — продолжал Фролов прерванный разговор, — ты говоришь, что тебе нельзя взять в писаря незнакомого человека... Ладно... Ну, а тот вольский мещанин, кого ты наметил, разве известен тебе за хорошо грамотного, знающего волостные дела? К сожалению, ведь ты не можешь судить об этом, потому что сам неграмотен... Тебе известно только, что он — честный, хороший человек... Но этого мало для нас, чтобы утвердить его писарем в такой большой волости, как твоя, и с такими возмутительными порядками, какие завел бывший старшина Савин, и поддерживают твои «друзья» Хахалины...

Сенотов улыбнулся.

— Вот теперь, в Балтае был пожар... Сколько сгорело домов?

— Считают — 65.

— Как полагаешь: выйдет на круг по 100 рублей на двор страховки?

— Видать, больше причтется... Сельский писарь сказывал, боле восьми тысяч пришлют.

— Вот, видишь!.. Дадут такую сумму тебе, под твою ответственность... Сколько кому выдать, писарь скажет тебе по списку, — ну, а как он поступит, когда за страховкой потянутся руки Хахалиных, опутавших крестьян долгами?

— Они и сейчас распустили хайло, — с глубокой ненавистью произнес Сенотов.

— Вот и надо, чтобы писарь умел разобраться во всем: в их претензиях, в твоих правах и обязанностях и оградить тебя от ошибок и ответственности... Твоего вольского мещанина мы не знаем, а за Александра Ивановича Страхова ручаемся: он не даст тебя в обиду!

— Я вчера вернулся с ревизии волостных правлений, — проговорил Кострицын, — ревизовал не я, а Александр Иванович... Таким образом на деле я убедился, как он знает все порядки, и советую тебе пригласить его...

После длинной паузы, Василий Михеевич, разглаживая свою бороду, произнес с недоумением:

— Уж не знаю, чего вы так навяливаете его!.. Известно, вам виднее, знает он дела либо нет... Ну, а каков человек — в душе его копались вы, что ль? А своего я знаю: не первый год дружу с ним...

— Навяливать тебе, Василий Михеевич, мы не можем, — сказал Фролов, — но мы ценим тебя, желаем тебе добра и хотим, чтобы ты сразу начал свою службу с надежным писарем...

— Спасибо на добром слове... Но все же я испробую сначала своего писарька...

— Ты забываешь, Василий Михеевич (в голосе предводителя дворянства прозвучала строгая нотка),

что, если в твоей волости будет все исправно, — нам будет покойнее... Значит, и тебе и присутствию по крестьянским делам нужно, чтобы в балтайской волости был хороший писарь.

— Повремени малость, Николай Петрович, может, и мой покажется...

— Ну, знаешь, присутствие по крестьянским делам ждать не может!.. Конечно, ты в праве пригласить в писаря, кого хочешь, — бери, пожалуй, своего вольского мещанина, — но знай, что совершенно неизвестному нам человеку мы доверять не можем, и не утвердим его на должности...

— Будет ли ладно так, Николай Петрович?

— Несомненно... и в твоих же интересах.

— Ну, а если я другого писаря возьму?

— И другого уволим... Возьмешь третьего — тоже прогоним...

— Чудно что-то! — сказал Василий Михеевич. — Ну-ка, парень, — вдруг обратился он ко мне, — подька со мной, пошепчемся...

Мы вышли на крыльцо.

— Что это они так навяливают тебя? Сродни ты им, что ли? — спросил Сенотов.

— Какая родня!—Я—сын дьячка, а они—господа!.. Оба говорили мне, что вас посадили в старшины из мести, хотят запутать, осрамить вас, а они верят, что вы можете принести крестьянам пользу... не то, что Савин... но для этого вам нужно иметь хорошего писаря...

— Бог тебя знает, каков ты? — в раздумьи сказал Сенотов.

— Эх, Василий Михеевич, если бы можно было свою душу положить на ладонку и сказать: «Нате,

смотрите!..» — я так бы и сделал. А теперь поверьте слову: буду служить по-совести.

Сенотов учинил мне подробный допрос: из каких мест я родом, сколько мне лет, холост или женат, где учился...

Когда он услышал, что я кончил курс духовной семинарии, он спросил:

— А что же ты в попы не пошел?

— Туда сразу не угодишь... без руки, — ответил я, — надо в псаломщики, потом в дьяконы... К тому же, признаться, семинаристом, зашибал я здорово...

— Ну, а теперь пьешь?

— Давно бросил: надоело слыть пропойцей и ходить оборванцем...

— А писарское дело где произошел?

— Раньше в своем селе присматривался по летам, а недавно служил писарем в Булгаковской волости здешнего уезда.

— Что же не усидел там?

— Крестьяне — больно пьющий народ! Ровно с похмелья ходят... Какая там служба!..

— Та-ак.

Сенотов долго молчал, видимо, раздумывая: взять меня или нет. Наконец спросил:

— А ты когда можешь приехать?

— Хоть сегодня.

— Чемоданишка есть какой?

— Есть небольшой... Я все свои вещи оставил в Вольске.

— В таком разе едем со мной... А за вещами спосылаем на неделе.

— Благодарю вас! — сказал я, протянув ему руку, и повернулся было, чтобы уйти.

— Только вот что, парень, — остановил он меня. — Наперед уговор: если что не так я буду говорить при мужиках, ты толкни меня ногой, а не оговаривай при людях!..

Эта просьба сразу показала мне, с каким самолюбием мне придется считаться.

— Ну, ударили по рукам! — об'явил Василий Михеевич, когда мы вернулись в столовую.

— В добрый час! — приветствовал Кострицын его решение.

— Совет да любовь! — пошутил Фролов.

После завтрака мы уехали.

Дорогой Василий Михеевич сообщил мне возмутительные факты из жизни балтайских крестьян в связи с наглой эсплоатацией их кулаками.

Я с удовлетворением думал: «Кажется, попадаю в волость, где удастся заняться «организацией крестьян на вопросах дня».

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

„БЛАГОДЕТЕЛИ“ РАБОТАЮТ

Глава первая

КУЛАЧЕСТВО ВЛАСТВУЕТ

Балтайская волость состояла из трех сел: Балтая, Садовки и Осановки и двух деревень: Каменки и Никулина, с населением около 5.000 человек.

С первых же шагов моя деятельность приурочилась главным образом к селу Балтаю. Здесь было больше двух тысяч душ обоего пола, и некоторые нужды крестьян выступили для меня сразу, благодаря опустошительному пожару, незадолго до моего приезда.

Как только погорельцы узнали, что старшина привез волостного писаря, они стали ходить в волостное правление за справками относительно нового плана построек и времени, когда можно будет получить страховую премию. Очень немногие могли обойтись без этих денег, а среди последних, к моему изумлению, находились и такие, что считали себя в праве приступить к постройке домов только с согласия своих кредиторов, посягавших на получение страховой премии в уплату того или другого долга.

Так, один из «кабальных» крестьян занял у местного кулака» 15 рублей с обязательством через шесть недель возвратить двадцать и согласился «закрепить» это обязательство «купчей» на свой дом со всеми надворными постройками и дворовым местом. Раньше он не придавал особого значения этой запродажной

записи, а теперь «всполошился», когда кредитор, не получив во-время 20 рублей, заявил ему свои права на всю страховую премию.

— Я прошу, — говорил он в волостном правлении, в присутствии других погорельцев, — возьми из страховки, по-совести, 20 рублей, а он тверидт: «Мой дом сгорел, и вся страховка моя»... Уж я клянчил, клянчил—едва уломал его: согласился на четвертной билет... Сделай милость, — обратился он ко мне, — изготовь расписочку, чтобы, значит, выдать ему из страховки 25 рублей.

— Кто это благодетель-то твой? — поинтересовался я.

— Много их у нас! — раздался сердитый голос из толпы. — Вон каменные дома стоят на площади — все благодетели!

Пять каменных домов принадлежали братьям Хахалиным.

Один из них, Герасим Семенович, по выражению В. М. Сенотова, и «распустил хайло»...

— А ведь расписки я тебе не дам! — сказал я просителю: — Страховкой нельзя расплачиваться с долгами. Она должна итти только на возобновление построек от пожара.

— Да он мне строиться не даст: ведьназьмо-то (дворовое место) его! — испуганно воскликнул крестьянин.

— Ну, это надо еще разобрать, чье назьмо — твое или его?

— Как же быть-то? — с недоумением говорил он.

— Очень просто: скажи ему, что из страховки не дашь ни копейки — пусть ищет судом!

— Не платить, значит?

— Не платить.

Мой категорический ответ, как электрическая искра, пронизал толпу, и на меня посыпались вопросы:

— Не платить — говоришь?

— Да.

— Это по закону так?

— По закону.

— Значит, купчая эта — плевое дело?

— Ничего не стоит, если на передачу дворового места нет общественного приговора.

— Какой приговор! Делали со старшиной, что хотели!

Из разговоров выяснилось, что не только Хахалины для обеспечения крестьянских долгов брали такие «купчие», но и бывший старшина Савин практиковал тот же прием.

По словам крестьян, один «Герасим Семенович» «изготовил» себе до 16 дворовых мест со всеми постройками на них, а Савин из десятка обездоленных крестьян одного обратил в квартиранта:

— Живет, бедняга, в своем доме, а платит ему за квартиру!..

— Ну, Хахалины — торговцы, — сказал я, — торгуют и хлебом, и разными товарами: они могли опутать вас, а старшина-то чем промышлял?

— Волостная касса была в его руках... Деньги-то все расхватали, а платить не больно охочи... Вот он и вздумал выколачивать недоимку, да все норовил — с податями... Так, бывало, прижмет, что мужику деваться некуда — к нему же идет: «выручи, сделай милость!» А у него — деньжонки: выручал под большой процент и «купчие» брал...

— И многих окрутил так?

— С десяток мужиков, чай, осталось... Он бы и боле под себя записал, да под суд угодил...

— За что?

— Растрату сделал и в кассе, и в правлении...

— А долго служил?

— Без малого одиннадцать лет старшиной ходил.

— Как же выбирали такого?

— Что станешь делать: богатеи сбивали на него; становой с исправником держали его руку... Да и то сказать: водки не жалел мужикам!..

По уходе крестьян, заинтересованный «купчими», обещавшими столкновение с «кулаками», я заглянул в «книгу сделок и договоров» с целью найти там образцы этих документов. Но сколько ни перелистывал страниц, подобных сделок не встречалось...

Глава вторая

РОСТОВЩИК-ЖИВОГЛОТ

Дня через три после моей беседы с крестьянами, сторож волостного правления сообщил мне:

— И булга же поднялась от твоих слов: не платить Хахалиным... У Григория Першина такая свара вышла с Герасимом Семеновым — чуть не разодрались!

У меня мелькнула мысль: уж не пришел ли он к выводу, на основании моих слов о значении страховой премии, что долгов вообще платить не следует?

Вопрос раз'яснился в тот же день.

В волостное правление вошел благообразный старик, среднего роста, в длинной суконной поддевке и смазных сапогах. Он тщательно перекрестился три раза, смотря на икону, и прошел к моему столу.

— Доброго здоровья, ваше степенство! — сказал он, протянув мне руку, и, не ожидая приглашения, сел на стул. — Как звать-то?

— Александр Иванович.

— Та...ак. А я—Хахалин, Герасим Семенович... Вон, домок-то мой, каменный, видать отсюда... Тебя старшина поставил или начальство приказало?

— Рекомендовало начальство, а Василий Михеевич согласился взять.

— Так...ак... Тебя, что ж, знают начальники?

— В Булгакове раньше служил, а потом у непременного члена за письмоводителя был...

— Так...ак. Опытный, значит... У нас, брат, служить хорошо!.. Будешь потрафлять нам — деньжонки станут водиться... Ты семейный?

— Холостой.

— Ну, одна голова — не бедна!.. И жалованьишко у нас не плохое: 60 рублей в месяц нагнали старому писарю... Тебе то же оставим, коли по сердцу придешься... Вот был человек! Жил с нами душа в душу...

— И под суд угодил! —сказал я с улыбкой...

— Ну, выкрутится: мозговитая башка.

Мое замечание, видимо, не понравилось Герасиму Семеновичу, и он оставил свои подходы.

— А я к тебе по дельцу... Мужичонка есть тут один, Першин Григорий; продал мне свой дом, а дом-то сгорел... Теперь надо бы получить с него страховку, а он, дурья башка, сказывает, будто ты велел ему не платить ни копейки... Что за притча? — думаю. — Дай схожу к писарю, дознаюсь.

— Он просил меня, — ответил я, — написать расписку от его имени, что он обязуется уплатить тебе 25 рублей из страховой премии, а я сказал, что такой

расписки не дам, потому что страховка должна итти на постройку нового дома, а не на уплату долга.

Хахалин не нашелся сразу, что ответить, и сидел молча, сердито посматривая на меня.

— Да ведь деньги-то его? — вдруг спросил он.

— Какие?

— Да страховка-то... Может он али нет распорядиться своими деньгами?

— Страховой премией не в праве.

— Чудно что-то!.. Деньги его, а правов на них нет. Невдомек мне твой закон...

— Я тебе об'ясню... Примерно, выстроил ты себе в августе дом. Земство, по обязательному страхованию, оценило его в 100 рублей. В октябре ты уплатил страховки, скажем, один рубль с копейками, а в декабре твой дом сгорел. Хотя земство и получило с тебя всего рубль с копейками, но выдаст тебе полностью 100 рублей... Разве ты в праве сказать, что эти деньги— твои?... Нет. Страховой капитал собирается со всего населения Саратовской губернии. Вот почему земство и может ограничить твои права на страховку: оно требует, чтобы 100 рублей пошли на постройку нового дома, а не в уплату долга... Понял?

— Понять-то я понял... А как же с долгами быть? Похерить их, что ли, прикажешь?.. Вот у меня какой уговор был с Григорием.

С этими словами «кулак» вытащил из большого бумажника документ. Я прочел:

«1877 года ноября 15 дня. Я, нижеподписавшийся, Саратовской губернии, Вольского уезда, Балтайской волости и села крестьянин Григорий Васильев Першин продал принадлежащий мне дом со всеми надворными постройками и дворовым местом, ценою договорились

за 20 рублей, которые я получил с него сполна, с условием, что ежели я пожелаю у него откупить свой дом обратно к 15 марту 1878 года, то обязуюсь уплатить ему 20 рублей; буде же в срок этих денег не заплачу, то все вышепрописанное мое имущество отдаю ему в его вечное и потомственное пользование без всякого суда и следствия; а если доведу дело до суда — судебные издержки платить мне. Условие это обоим хранить свято и нерушимо, в чем и подписуемся».

Хахалин скрепил договор своей подписью, а за неграмотного Першина, в присутствии двух свидетелей, расписался сельский писарь. Волостное правление засвидетельствовало обе подписи... с «приложением печати», но без записи условия в «книгу сделок и договоров».

Пока я читал эту «купчую», в волостное правление набралось человек пять крестьян, между ними был и Григорий Першин.

— А...а, вот и он легок на помине! — сказал Хахалин, заметив его. — Теперь видишь, — обратился он ко мне, — какой уговор был у нас.

— Да, Герасим Семенович, вижу, — ответил я. — Старался ты заколотить Григория Васильевича по самую маковку, а дал маху: по этому документу ты не только ничего не получишь из страховки, но и вообще не можешь взыскать деньги...

— Как так!—вскочил Хахалин, ошеломленный моим ответом. — Документ, чай, законный!

— Ну-у! До закона ему так же далеко, как до правды, будто Першин продал тебе свой дом... Григорий Васильевич, — позвал я его. — Ну-ка, расскажи, как ты дом продал?

Вместе с Першиным подошли к моему столу и другие крестьяне.

— Я ему, ваше степенство, дома не продавал, — сказал Першин, — это он зря! 15 рублей на подати у него брал—точно, да 5 рублей росту: 20 рублей было за мной — я не отпираюсь... Теперь еще накинул ему 5 рублей.

— Видишь, Герасим Семенович, как у вас дело было... Документ твой — обман один.

Хахалин вспыхнул.

— Как обман! Чай, по согласию с ним писан... Писарь-то, что был до тебя, не знал, что ль, делов?.. Разве он стал бы свидетельствовать незаконный документ!

— Да он и не засвидетельствовал его.

— А это что? — с торжеством спросил Хахалин, быстро развернув условие и указывая на волостную печать и подписи старшины и писаря.

— Пустяки это! Волостное правление удостоверило лишь ваши подписи... Чтоб условие было бесспорным, нужно записать его в «Книгу сделок и договоров», а писарь этого не сделал — поопасался: дойдет, мол, дело до суда, обнаружится обман и волостное правление будет отвечать...

— Да за что отвечать-то?!

— Не замазывай правды!.. Ты ведь дал Першину 15 рублей под проценты — рубль на рубль ...точно ростовщик какой, живоглот! А писарь выдал тебе условие, будто ты купил у него дом и дворовое место... И условие-то незаконное, потому что нельзя лишить крестьянина дома за долги; купить же у него дворовое место ты мог только с разрешения сельского общества... Где оно? О нем не упоминается...

Хахалин угрюмо молчал, чувствуя себя униженным в присутствии крестьян.

— Выходит что же? — продолжал я. — Ты думал— писарь удружил тебе... Как же! Он только стреножил тебя с Першиным: захочет Григорий — потащит тебя в суд, как ростовщика; вздумает не платить денег — не отдаст ни копейки: ищи судом!

— Вот как дело-то обернулось, Герасим Семенович! — насмешливо сказал один крестьянин и расхохотался.

— Ты чего грохочешь... кол тебе в душу!—рассердился Хахалин. — И быть тебе здесь не к чему! У меня дело к писарю, а ты лезешь... Вели-ка им, Александр Иванович, выйти вон! Пусть подождут... Кончи сперва со мной! У меня к тебе еще дельце!

— А-а! Подкупить хочешь?.. Опоздал, купец! — с злорадством произнес тот же крестьянин. — Теперь мы знаем, что нашей страховкой не поживишься...

— Выгони ты его, сделай милость! — нетерпеливо повторил свою просьбу Хахалин.

— В самом деле, господа, уйдите-ка на минутку,— сказал я, заинтересованный предстоящей беседой с глазу на глаз.—Не бойтесь: он меня не подкупит! Ведь я знаю: с миром дружить — никогда не тужить, а с богатеем любиться — в яму провалиться...

— Правда твоя! Верно! — с улыбкой говорили крестьяне, уходя в сени.

Когда мы остались вдвоем, Хахалин некоторое время молчал, поглаживая свою бороду; затем придвинул свой стул ко мне и, понизив голос, со вздохом проговорил:

— Эх, парень! Не ладно ты принимаешься за дела!.. Насчет назьма али избы — твоя правда, мы знаем... Да не рука тебе голь-то эту беречь!.. Ноне какой народ? Брать — больно охочи, а отдавать—подожди да

погоди: без крепи с ними нельзя... Ты, вон, сказал им о страховке — они по всему селу разнесут: «не надо, мол, платить — закон не велит»... Нам ты — ух! — как повредишь, коли они упрутся в твои слова, а себе что приобретешь? Ты молвил: «с миром дружить — никогда не тужить». Я же скажу: мир в наших руках, без нас, стариков, он тебя и на махонький пригорок не втащит, не то что в гору... К примеру: исправник захочет дознаться, каков ты? Что ж он Першиных, что ль, скликать будет, их опрашивать: хорош ли писарь? Нет, толкнется к нам, Хахалиным, потому мы на знати... От нас аттестат получишь... Ой, парень, не плюй в колодец — пригодится напиться!..

— Уж, право, не знаю, — ответил я смеясь, — где вода-то здоровее — в нашем ли колодце или в Вольске у начальства?.. Там говорили: держись закона, а ты учишь: делай, как мне выгоднее... Кого слушать?

— Не смейся!.. Поживешь — увидишь, кому расчет служить... Ну, а теперь, — поднявшись с места, решительно сказал Хахалин, — уж ты там, как знаешь, а беспременно сделай так, чтоб мой верх был над Гришкой... Пятерки не пожалею.

Я промолчал. Хахалин подал мне руку и вышел.

Через несколько минут вернулись крестьяне, ожидавшие на крыльце, когда уйдет «кулак».

— Осерчал он на тебя! — сказал один: — «Не долго накомандует» — говорит.

— Да грозил исправником.

— А мы к тебе с докукой, — проговорил другой. — Теперь по селу толкуют насчет стройки. Надумали сход в воскресенье... Охота мужикам, чтоб ты пришел, потому есть которые не верят, чтоб не платить из страховки...

— Ладно. Приду.

— Уж сделай милость!

— Приду... непременно...

Глава третья

СУРОВЫЙ ЗАИМОДАВЕЦ

На первых порах большим неудобством для меня являлось отсутствие волостного старшины под руками. В. М. Сенотов жил в селе Садовке, за две версты от Балтая, и не приезжал в волостное правление, — каждый день приходилось или посылать за ним, когда дела требовали его присутствия или самому ехать к нему для переговоров и для скрепления волостной переписки «печатью старшины», заменявшей его подпись. Василий Михеевич не только не оставлял печати в волостном правлении, но и прикладывал ее к бумагам с оттенком недоверия: нужно ли?

— Здесь требуется ваша печать, — говорил я, подавая ему пачку рапортов и отношений.

— О чем это? — недовольным тоном спрашивал он.

— Вот запрос исправника, земской управы, казенной палаты, — перечислял я бумаги и излагал суть ответов волостного правления.

— И чего они все пишут! — с недоумением ворчал он. — Пишут, пишут, а толку все нет...

— А здесь, Василий Михеевич, вам нужно хлопнуть печатью раз десять, — указывал я на толстую пачку переписки волостных правлений о розыске пропавших лошадей, коров и пр.

— Выдумают тоже: пропала лошадь, а ты ищи... Разве найдешь!

Отсутствие печати в моих руках заставляло иногда откладывать дело до приезда старшины или в случае крайней необходимости, например, выдачи паспорта, направлять к нему просителя с готовым бланком, чтобы Василий Михеевич поставил печать на место, отмеченное мною крестом.

Это недоверие ко мне длилось до получения Сеновым 8.000 рублей для раздачи погорельцам, когда в волостное правление особенно часто стали являться разные кредиторы крестьян с претензиями на получение за них страховой премии.

Одним из первых прибыл о. Николай, священник соседнего села Царевщины, пользовавшийся репутацией сурового заимодавца.

Была суббота. Рано утром к волостному правлению подкатила тележка, запряженная в одну лошадь, и из нее выскочил седой, юркий старик, небольшого роста. Он бросил на ходу какое-то распоряжение своему работнику и направился к крыльцу.

О. Николай вошел в волостное правление, когда у меня было двое крестьян, быстро перекрестился у порога и проскользнул к моему столу. Здесь, через стол, он осенил меня крестным знамением и протянул обе руки.

— Волостному начальству мое почтение! — сказал он. — Позвольте представиться: настоятель церкви села Царевщины.

— Рад познакомиться... Прошу садиться, батюшка!.. Чем могу служить? — спросил я.

— А куманька моего, Василия Михеевича, нет здесь?

— Нет, сегодня не приехал.

— Ну, да мы и без него положим резолюцию... Мое дельце чистое, само решается... Должник у меня есть

тут среди погорельцев. Вы еще не раздавали страховых сумм?

— Нет, с понедельника начнем.

— Значит, не опоздал, как-раз приехал... Вот, благодетель мой, по какому документику надлежит получить мне должок с вашего крестьянина, Петра Щукина... Прикажите: я прочту или сами посмотрите?

— Позвольте взглянуть, — сказал я, протянув руку.

О. Николай бережно разгладил бумагу и передал мне.

Я читал и с ощущением большой неловкости усваивал пункты оригинального договора.

В 1877 году Щукин купил у о. Николая лошадь, оцененную в 40 рублей, и обязался по первому требованию уплатить за нее 60 руб. Верность уплаты он гарантировал: во-первых, озимым хлебом, при чем мог вовремя сжать его, сложить в копны и обмолотить — не иначе как с согласия о. Николая; продать же — ни в коем случае, и, во-вторых, домом со всеми надворными постройками, а «если дом, упаси бог, сгорит,—то всей страховой премией, какая будет выдана за него по расчету земства».

Условие это было скреплено подписями обеих сторон, и подлинность их засвидетельствована Балтайским волостным правлением.

— Позвольте узнать, благодетель мой, — спросил о. Николай, когда я подал ему бумагу — сколько страховой премии причитается Щукину?

Я заглянул в список погорельцев и ответил:

— 118 рублей.

— Ну, что ж!.. 58 рубликов за мое долготерпение пригодятся.

— А вы, батюшка, требовали со Щукина долг до пожара? — спросил я.

— Неоднократно.

— Ведь я должен огорчить вас...

О. Николай перебил меня:

— А что? — с испугом воскликнул он. — Разве уж получил деньги, каналья!..

— Нет. Я сказал вам, что страховая премия будет раздаваться с понедельника... Но вы не можете рассчитывать получить эти 118 рублей.

— Почему, благодетель мой?.. Что за причина? Успокойте старика.

— По закону, страховая премия должна итти исключительно на возобновление построек от пожара, и вы неправильно включили ее в долговое обязательство. Волостное правление не в праве выдать вам деньги...

— Да что вы! Как же так? А договор-то мой?

— Он ничего не стоит, и может причинить вам одни неприятности, если попадет в суд...

— Господи, боже мой! Час от часу не легче... Уж вы извините меня: я к старшине поеду... с жалобой.

О. Николай встал и быстро направился к двери, бросив на ходу:

— До скорого свидания!

Глава четвертая

В ИНТЕРЕСАХ КРЕСТЬЯН

Часа через три Сенотов привез о. Николая в своем шарабане на великолепном рысаке.

При входе в волостное правление он поздоровался с крестьянами, бывшими тут, и сказал им:

— Посидите малость на крыльце!.. Нам надо пошептаться с попом...

После обычной процедуры приветствий Василий Михеевич и о. Николай уселись по концам моего стола, и старшина обратился ко мне:

— Ты что тут обижаешь моего кума? Какие такие деньги нельзя получить ему?

—Да, уж обидели меня с двух сторон, можно сказать, — заговорил о. Николай, — и в деньгах отказали и закон привели на людях — беззаконником, значит, выставили меня перед мужичьем... Прямо скажу, благодетель мой: не ладно, очень не ладно поступили вы с настоятелем церкви... Могли бы и умолчать про закон!

— Что вы говорите, батюшка!.. Разве подобает вашему сану учить волостного писаря скрывать закон?

— Каким это законом ты так толконул его? — спросил старшина.

Я взял «Устав о страховании», нашел соответствующие статьи и сказал:

— О. Николай продал Петру Щукину лошадь за 40 рублей и накинул 20 рублей «за подожданье». Получение же 60 рублей обеспечил себе озимым хлебом Щукина и его домом со всеми надворными постройками, а если дом сгорит — то страховой премией... Щукину следует выдать страховки 118 р...

— Однако ловко ты обставил мужика! — заметил Василий Михеевич.

— Теперь о. Николай хочет получить эти деньги,— продолжал я, — а закон вон что говорит: «страховая премия должна итти исключительно на возобновление построек от пожара», т. е. повернуть страховку на уплату долга нельзя ни в каком случае. Еще

есть такая статья: «Волостное правление обязано следить за тем, чтобы страховая премия расходовалась именно на сооружение новых построек после пожара». Как же мне держать руку о. Николая? Нарушить этот закон — значит подвести вас под ответственность... Мое дело — ограждать вас от ошибок по должности... И вы должны поступить так: 118 рублей отдать целиком Петру Щукину, а о. Николаю предложить взыскивать деньги судом...

— Правильно, — сказал старшина. — Первым делом надо мужику обзавестись домом... Без дома какой он будет работник...

О. Николай угрюмо молчал.

— А ты как же хотел? — спросил его Сенотов, улыбаясь.—118 руб. взять себе... за рысака, Петруху— по миру, а меня под суд?.. Вот так кум!

— Одного я хотел, Василий Михеевич, — ответил с досадой о. Николай, — получить свои деньги по уговору... Не уважил ты меня — обращусь к мировому судье.

— На что лучше!.. Тебе спервоначалу надо бы забежать к нему...

— Ну, прощай!.. Накажет тебя господь за мою обиду...

— Не каркай, кум; чай, не ворона!.. Приезжай опять в гости!

О. Николай ушел, не простившись со мной.

— Ишь, как осерчал на тебя, — заметил Сенотов, — не поклонился даже.

Я сказал Василию Михеевичу, что это — не первый случай враждебного отношения ко мне за мою защиту крестьян, и передал ему о визите Хахалина то же с целью получить страховую премию.

Сенотов с видимым удовольствием воспринимал подробности рассказа и, когда я кончил, сказал:

— Ловко! Будет помнить, как выбирать меня в старшины на-зло: авось, мол, запутается...

После обмена мыслей относительно предстоящей раздачи погорельцам страховой премии, Василий Михеевич встал и, вынув из своего кармана мешочек с печатями волостного правления и старшины, задушевно произнес:

— Мне любо, парень, что ты за бедноту стоишь.. И дале так действуй... На-ка, вот печати: видать, что не подведешь меня...

Отношения В. М. Сенотова к Хахалину и к о. Николаю, в свою очередь, показали мне, что в лице волостного старшины я приобретаю надежную опору для борьбы с «кулаками» всех видов и вообще для ведения дел исключительно в интересах крестьян.

Глава пятая

ОБЩИННИК НА СХОДАХ НЕ БЫВАЕТ

В воскресенье состоялся сельский сход, куда я явился с раз'яснением значения страховой премии.

Я ждал, что под влиянием разных Добровольских, Савиных и Хахалиных, любителей узурпировать власть «мира», от 400 с лишком дворов едва ли соберется больше 50 человек. Тем более я имел основание сомневаться в большом сходе, что в первые же дни своей службы натолкнулся на два характерных факта.

Пожилой крестьянин Иван Розов пришел в волостное правление с жалобой на своего односельца

и, прося привлечь его к ответственности за оскорбление, говорил мне:

— Изобидел меня!.. А ты спроси-ка, каков я мужик?.. Я на сходах-то, почитай, ни однова не бывал!.. Обо мне худо никто не скажет!..

Крестьянин-общинник — и ставит себе в заслугу, что «на сходах ни однова не бывал?» Надо же было довести человека до такого извращенного понятия о «хорошем мужике»!

В своих заботах об улучшении состава волостных судей я, между прочим, просил хозяина моей квартиры, очень толкового крестьянина, указать мне подходящих кандидатов. Перечисляя разных лиц, он с особой любовью остановился на Леониде Кузьмиче Баранове.

— Вот мужик, так мужик!—рекомендовал он его.— Рассудительный!.. Он у нас в стары годы ходоком не однова был... А мздоимщиков этих не любит—страсть!

При личном свидании с Барановым я узнал, что он уже седьмой год, как не участвует ни в каких общественных делах, не бывает на сходах нигде, благодаря состоявшемуся о нем по жалобе сельского старосты постановлению волостного суда: подвергнуть его наказанию розгами. В «старые годы» он, действительно, «был ходоком», принимал деятельное участие во всех деревенских делах, отстаивая «мир», охраняя мужицкую копейку от волостного и сельского начальства, не раз протестовал против поборов и несправедливостей уездных властей...

Леонид Кузьмич поразил меня своим знанием, когда и сколько поступало общественных денег за прежние годы, и на что именно тратились они; он помнил во всех подробностях обстоятельства, при каких на пользу общества получалась та или другая сумма,

и какой «нажим» выталкивал деньги из мирской кассы в карман станового пристава, волостного старшины, писаря, сельского старосты или в кабак «на пропой старикам»

Понятно, что такой «мирской человек» был большой помехой для волостного старшины Савина, управлявшего волостью, где одно село Балтай имеет общественных доходов несколько тысяч в год от «мирских» сборов, кабака, базарной площади, ярмарки и 6 — 7 мельниц.

— Он только старался о том, — характеризовал старшину Леонид Кузьмич,—как бы свои опорки сменить на лаковые сапожки, зипун — на сюртук, тулуп — на шубу с отворотами, а домишко — на господский дом с музыкой... Ну, обстроился, приоделся барином и наскреб больше десяти тысяч...

Сельскому старосте, тоже недовольному Барановым, приказано было «сокращать» его... и все «по закону». По «Общему положению о крестьянах», староста охраняет на сельском сходе «должный порядок» — велено «затыкать глотку» Баранову. Сельский староста «понуждает к исполнению условий и договоров крестьян между собою и посторонними лицами» — приказано понуждать Баранова до... отобрания у него хомутов включительно. Староста на получение паспорта выдает крестьянам удостоверение, что «к увольнению их нет препятствий» — внушено не выдавать Баранову «покормежных» *. Сельский староста «охраняет от растраты те имущества неисправных плательщиков, коими обеспечивается взыскание недоимки»—приказано охранять... да еще как!

* Так называлось удостоверение на получение паспорта.

— Хочу я продать овцу, чтобы уплатить подати, — рассказывает Леонид Кузьмич.

— Ты это что? — откуда ни возьмись староста.

— Да вот овечку хочу... на подати.

— Овечку ?— говорит староста. — Нет, друг, этого ты не моги: овцу я тебе продать не дозволю.

— Как не дозволишь! Чем же я тебе внесу подушные?

— Чем хошь! А до овцы я тебе касательства не дам... Уплати сперва, а потом и продавай.

— Да пойми ты, дурья твоя башка,—говорю ему:— чем же я тебе уплачу, коли у меня денег нет? Продам овцу — ну, тогда и получай с меня!

— Все это мы понимаем, — говорит, — отлично, в лучшем виде, а все же я твое имущество охранять должон!

— Что станешь делать?.. Дождешься ночи — и смотаешь овцу за полцены... А то и так бывало: насыпаю я рожь али пшеницу везти на базар, — староста опять тут как тут! Налетает коршуном:

— Сказано тебе: не растрачивай своего имущества!

— Известно, обозлишься: тьфу ты, гадина какая! — крикнешь. — Отстанешь ты коли от меня, либо нет?

— Стращать зачал! — говорит. — Я тебе покажу свои права... Ссыпай назад, тебе говорят!

— Уйдешь ли, мол, воровская харя, живоглот окаянный!

— А... а... а! Эдак то ты! — отвечает. — Я те сейчас уволоку в арестантскую!

— И сколько раз сиживал я в кутузке, — не сосчитаешь!

Волостной старшина знал, что делать: науськивая на Баранова старосту, эту первую инстанцию административной власти, он в качестве второй более сильной, становился для него еще страшнее... Сколько нужно было изворотливости, находчивости, чтобы нет-нет, да и прорвать где-нибудь эту сеть придирок, наглой политики старшины, из года в год все плотнее и плотнее сжимавшей крестьянина. И Баранов изворачивался, как мог. Разоряясь, утихая в кутузке, он все еще таил в своей душе искру «мирского человека» и, хотя со страхом, «опаскою», но изредка появлялся на сходах, чтобы, если не так смело, как прежде, то исподтишка бросить «словечко укора волосатикам», как он называл «мироедов».

В своих замыслах искоренить протестанта старшина пошел дальше.

Раз сельский староста явился на волостной суд и потребовал привлечь Баранова к ответственности, как постоянного нарушителя порядка на сходах, как «расстройщика мира». И суд, искалеченный, рабски покорный велениям старшины и руководимый волостным писарем, «продажной душой», постановил: отодрать Баранова розгами... Леонид Кузьмич ползал на коленях, просил, умолял о помиловании, искал отмены решения волостного суда в присутствии по крестьянским делам, где еще не было Кострицына и Фролова,— и все напрасно: он лишился права участвовать на сходах.

— Во-он! — орал на него староста, когда он появлялся в толпе, обсуждавшей мирские дела. — Нет теперь твоих правов перечить начальству!

Старшина не приводил в исполнение приговора суда из боязни «угодить под сердитую руку», а пожалуй,

и лишиться от «красного петуха» своего «барского дома с музыкой»...

Баранов махнул рукой на «мир», не сумевший защитить его и под страхом розог коротал свои злополучные дни.

— Многих отучили от «мира»! — говорил он. — Теперь, почитай, одни «кулачишки» да пьяницы бывают в сборной избе, и на волостном сходе не видать стоющих людей... У крестьян, бывало, слышишь: «Честный мужик!.. Да какая нам с него польза? Разве его там станут слушать?.. Ка-ак же!.. А пьяница — он по крайности на ведерку расстарается для «мира»... Расчет!

Под впечатлением таких рассказов я и шел на сельский сход, ожидая, что соберется не больше 50 человек.

Особое чувство радости охватило меня, когда еще издали я заметил толпу, превышавшую в три—четыре раза предположенную мною цифру голов. Было ясно, что очень многие крестьяне, опутанные долгами, хотели узнать о своих правах на «страховку» и надеялись, что их голоса не будут заглушаться теперь ни волостным старшиною Сенотовым, ярым врагом всех Хахалиных, ни новым писарем, уже проявившим себя сторонником «бедноты»...

На сходе присутствовали двое Хахалиных и бывший заправила волости Савин. Когда в порыве обсуждения возмутительных условий образования некоторых долгов, я высказал свое негодование и резко подчеркнул свое отношение к земскому «способию» погорельцам, — до меня долетело восклицание Савина:

— Бунтовщик!

Глава шестая

ЗАГАДОЧНЫЕ РАСХОДЫ

Если мое участие на сельском сходе дало Савину повод окрестить меня «бунтовщиком», то крестьянам оно, несомненно, внушило мысль, что новый писарь более склонен защищать интересы «мира», чем выгоды какого-либо «благодетеля» из породы Хахалиных.

Степень их доверия ко мне определилась скоро, как только, по просьбе непременного члена присутствия по крестьянским делам, я приступил к собиранию улик против станового пристава Добровольского. Чтобы выяснить направление, в каком итти, я обратился за советом к Л. К. Баранову.

— Возьми у сборщика податей книгу, —сказал он. — Как в расходах — загадка, не поймешь чего, так знай, что шли деньги на пропой старикам или в ноздрю становому.

— Значит, книга с «секретами»?

— А то как же. Не ладно ведь сказать прямо: на смазку пристава!

— Ну, этой книгой, пожалуй, не уличишь станового...

— А ты допроси сборщика, старосту, сельского писаря, мужиков — скажут!

По моей просьбе сборщик принес книгу... Годовой приход Балтайского общества определялся по ней в 3.264 рубля 65 к., — весьма незначительной суммой при обилии его доходных статей.

За право торговли партиями кабак платил 2.000 руб. в год; базарная площадь и ярмарка давали только

500 р. 10 к., и аренда семи общественных мельниц — всего 764 р. 65 к. *

— Маловато доходов-то у вас! — сказал я сборщику.

— Было бы боле, кабы не наша доброта... А то выставит арендатель ведерку мужикам, и уважут его — скостят на малую сумму.

В расходных статьях встречались, действительно, «загадки», при чем выдача денег удостоверялась печатью сельского старосты и подписями трех—четырех крестьян. Были такие расходы:

«На пасху куплено было на общественные надобности два мешка крупчатки 1-го сорта и две сотни яиц».

«Доставлено на общественные надобности 5 возов сена и 2 соломы».

«За хлопоты по мирским делам — 50 рублей».

Я выписал из книги все такие записи и фамилии крестьян, удостоверявших действительность расходов, и просил сборщика податей пригласить ко мне всех свидетелей произведенных им выдач.

— Ты, что ж, учет хочешь произвести? — спросил он.

— Нет. Вот соберетесь все и узнаете, что я замыслил.

В воскресенье явилось в волостное правление больше сорока человек... Тут были и свидетели загадочных расходов и просто любопытные.

Я спросил крестьян, каков человек становой пристав. Раздались дружные отзывы:

— Надо хуже да некуда!

---

* Цифры соответствуют данным, опубликованным Вольским земством в 1883 г.

— Охальник, все норовит в рыло!

— И хабару любит. Не упустит случая сорвать!

— На той неделе я купил в Сосновке на базаре лошадь, так слизнул, подлец, за расписку и с меня, и с мужика, что продал... Жох!

— Значит, вы не стали бы плакать, если бы его убрали от нас, дали бы другого, честного человека?

— Зачем плакать!.. Да как его ссадишь? Сказывают, исправник крепко держит его руку...

— Все от вас зависит, — сказал я, — заходите — и следа его не будет!

— Да мы с великим удовольствием, кабы знать как?

— Очень просто... Сюда едет непременный член... Знаете Николая Михайловича?

— Кострицына Н. М.? Ну, как не знать!

— Он хотел обревизовать «мирские» дела... В книге сборщика отмечались выдачи Добровольскому?

— Ну, как же! Известно. Только будто не ему.

Я взял выписку из книги.

— Вот, например, — сказал я: — «На пасху купили на общественные надобности два мешка крупчатки 1-го сорта и две сотни яиц»... Что это вы. «миром» пасху справляли, что ли?

— Ему самому, становому, значит! — ответили крестьяне. — Велел доставить непременно! Купили и отвезли.

— Или вот: «Два воза сена и соломы на общественные надобности»?

— Опять же ему, для его коровы...

— А «50 рублей за хлопоты по общественным делам»?

— Он старался... Больно наскакивал с недоимкой, — вынь да положь, а как сунули, — утихомирился!

— Непременный член потребует к себе эту книгу и вызовет всех, кто удостоверял выдачу денег... Я объясню ему эти загадочные расходы, и вы должны подтвердить.

— Мы за тебя — как за гужи! — воскликнул экспансивный Иван Гараськин.

— А не влетит нам за это? — спросил осторожный Зиновий Петров, своей подписью удостоверявший каждый расход.

— От кого может влететь? От Кострицына — ни в каком случае, а станового уберут от нас после ваших разоблачений... Николай Михайлович составит протокол, вы подпишете его, дело дойдет до губернатора — и Добровольского по шапке.

— А как другой-то хуже будет? — опять заметил Петров.

— Ну, хуже-то вряд ли найдется! — возразили ему.

— Мне говорил непременный член, — сказал я, — что у предводителя дворянства есть на примете хороший человек, — его и проведут через губернатора.

— Ну, давай бог!

— Смотри, робята! — воскликнул Гераськин. — Дружно показывать, как один человек!..

Я послал Н. М. Кострицыну извещение, что просьбу его относительно Добровольского удалось исполнить, и просил заранее уведомить, когда он намеревается прибыть в село Балтай.

Мое письмо разошлось с его приглашением явиться к нему в Стригайскую волость, куда он приехал по каким-то делам.

При свидании Николай Михайлович передал мне, что исправник остался очень недоволен нашей ревизией волостных правлений и сказал по поводу моих

заключений по жалобам на решения волостных судов: «Ну, знаете, за этим молодцом глаз да глаз надо иметь!».

— Ужасно мнительный человек!—прибавил от себя Кострицын.

Николай Михайлович был доволен, что книга балтайского сборщика податей дает в руки улики против Добровольского, и обещал приехать в Балтай на другой день.

— Вот еще новое огорчение причиним исправнику! — сказал он, прощаясь со мной...

По возвращении домой, я застал в волостном правлении пакет с надписью «Экстренно». Оказалось, прибыл исправник в Сосновку, в становую квартиру, и присылал за мной нарочного с требованием явиться немедленно с «подворными описями» прошлого года, в то время получившими особое значение в глазах уездной администрации, так как шли толки о замене подушной подати подворным налогом, и петербургские сферы были озабочены получением точных данных.

— А давно был нарочный? — спросил я сторожа волостного правления.

— Почитай, только ты уехал за село, а он — тут!

— Не говорил, долго ли исправник пробудет в Сосновке?

— Сказывал, будто после обеда норовит опять в город.

Был поздний вечер. Совершить прогулку в село Сосновку, за 12 верст от Балтая, без надежды застать исправника, не хотелось, и я не поехал, решив на другой день рано утром узнать у Ю. Н. Богдановича, зачем именно приезжал исправник.

Богданович в это время служил уже волостным писарем в Царевщинской волости, в 4 верстах от Балтая, и пользовался некоторым расположением исправника. Центр его волости занимало большое имение графа Нессельроде и всем общественным делам придавало особый оттенок, «графский налет», как говорил Богданович.

Бывшие крепостные графа, крестьяне волости являлись теперь арендаторами его земли; за известное вознаграждение пользовались выгоном для скота, служили в имении и работали на полях, — словом, все материальные условия их существования зависели от сложившихся отношений между барской экономией и деревней.

Юрию Николаевичу приходилось терпеливо присматриваться к жизни волости и выжидать подходящий момент для об'единения крестьян на каком-нибудь «вопросе дня». Зато с первых же шагов он мог заняться основательным знакомством с местной «интеллигенцией» и влиять на нее в известном смысле.

В Царевщине была земская больница, с врачом, фельдшерицей и фельдшером; сельская школа с учителем и контора экономии, где работало несколько молодых людей, не лишенных широкой любознательности.

В качестве бывшего землемера, Юрию Николаевичу не приходилось скрывать своего умственного развития и, отличаясь разнообразием талантов по части живописи, пения, даже уменья проделывать замысловатые фокусы, он скоро стал везде желанным гостем. К числу его приобретений следует отнести, между прочим, очень ценное — фельшерицу земской больницы, впоследствии оказавшую нам большие услуги.

Наше близкое соседство позволяло нам часто видеться и сообща обсуждать вопросы текущей деятельности.

От Богдановича я узнал, что исправник крайне занят составлением новых подворных описей, так как прошлогодние, по его словам, оказались «сплошным враньем», и губернатор предписал ему лично наблюсти за их исправлением. В Сосновку он вызывал трех писарей и пришел в ярость, когда нарочный привез из Балтая известие, что писарь, по вызову непременного члена, уехал в Стригайскую волость.

— По ушам его надо бить! — кричал он в присутствии станового пристава и волостных писарей. — Вообразил себя на положении члена присутствия по крестьянским делам, ревизовал волостные правления, писал за Кострицына резолюции... Так обуяла его гордость, что даже не счел нужным представиться мне... Ну, погоди! Я вгоню тебя в хомут, будешь знать, как не уважать исправника.

— Даже становой пристав заступился за тебя, — прибавил Богданович, — сказал: «ведь это — все шутки Кострицына. Писарь тут не виноват. Разве он мог не исполнить приказаний непременного члена?... Изумительный антагонизм, скажу тебе, между этими представителями полицейской власти и непременным членом: эти господа не стеснялись при всех изливать свой гнев на Кострицына.

— И Николай Михайлович платит им той же монетою, — сказал я. — Я думаю, что Кострицын так же поспешил возненавидеть тебя, как исправник — меня и единственное основание для такого чувства — это назначение тебя на должность исправником, а меня — непременным членом... Возможны любопытные

«кви про кво» на почве их отношений к нам, при неведении, что мы — одного поля ягода!

И, действительно, такое «кви про кво» не заставило себя долго ждать.

Глава седьмая

ПОЛИЦЕЙСКИЙ ОГРЫЗОК

Николай Михайлович приехал в Балтай к вечеру и просил приготовить на завтрашний день все, что понадобится для ревизии общественных сумм балтайских крестьян. В. М. Сенотов, сельский староста, сборщик податей, все крестьяне, удостоверявшие расходы своими подписями в книге сборщика, были налицо; набралось не мало и любопытных в волостное правление, когда приехал Кострицын. Волостной старшина, не любивший носить свой знак, в этот раз надел цепь и сел рядом с непременным членом. Крестьяне окружили стол...

Не успел я прочесть из книги сборщика податей трех—четырех статей, имевших отношение к становому приставу, как к волостному правлению подкатила тройка, и на крыльцо выскочил из тарантаса Добровольский.

— Разнюхал! — презрительно заметил Сенотов.

Впоследствии обнаружилось, что о предстоящей ревизии ему донес полицейский сотник Юдин, совершенно обособившийся от крестьянского мира и вошедший во вкус исполнения полицейских обязанностей. У станового он пользовался доверием и был фактотумом в деле обогащения его кармана. Крестьяне не любили его и ждали только срока, чтобы на его место избрать другое лицо.

Бравый мужчина, с проседью, в полицейской форме, вошел в волостное правление. Крестьяне расступились у стола и дали ему дорогу. Крайне взволнованный, Добровольский, не поздоровавшись ни с кем, прямо обратился к Кострицыну.

— Что вы тут ездите и сплетни собираете обо мне!.. Кого вы слушаете? Этого прох...воста! — указал он на меня. — Он не успел появиться, как возбудил против себя лучших людей волости... Его вон надо, в шею, а не слушать!

— Позвольте... — заикнулся было я, с трудом сдерживая негодование.

Но Кострицын во-время остановил меня:

— Прошу не вступать в пререкания! — сказал он строго.

— Да, вон, вон надо! — повторил становой. — Темная личность!

Неожиданно поднялся с кресла волостной старшина и, держа в руке свой должностной знак, могучим голосом произнес:

— Ты куда явился-то, ваше благородие! В чижовку свою, что ли?.. Здесь волостное правление, и охальничать тебе я не дозволю!

Кострицын в это время уговаривал Добровольского уйти с ним на «вз'езжую квартиру». До меня долетели две фразы: «Вы знаете решительность Сенотова... Выйдет скандал!». Становой наконец сдался на уговоры, и они ушли.

Как только мы остались одни, из толпы выдвинулся Зиновий Петров и торопливо заговорил:

— Видишь, какой карактер! Непременному слова не дал сказать, тебя облаял... Как с нами-то распорядится, коли не выгонят его?!

— Да, братцы, надо сперва хорошенько обмозговать... Как бы новой беды не накачать на свою шею! — поддержал кто-то Петрова.

— Будет беда, если вы отопретесь от своих слов,— возразил я. — Вы указали мне на взятки пристава. Скажите то же Кострицыну, — и его уберут. Если же струсите, скроете эти «расходы на общественные надобности», каких у вас не может быть, то пристав прирастет к месту и в отместку за то, что хотели ссадить его, станет еще пуще драть с вас лыко!.. А я уйду, живите, как знаете!

— Что, в кусты норовите? — насмешливо спросил старшина.

— Да, опасно, Василий Михеевич! — ответил староста.

— Скажите-ка, — спросил я, — почему в книге расходов не писалось прямо: «Становому приставу — 50 рублей; ему же — 25 рублей»? Почему замазывали правду?

— Да он не велел, — сказал сборщик. — «Мне не пишите, говорит, а будто себе».

— Боялся, как бы не обнаружились его поборы?

— Известно, так.

— Теперь вы раскройте — и увидите, что он недаром боялся!

Среди крестьян началось перешептывание. Повидимому, большинство еще трусило, хотя уже понимало, что раз в их среде нашлось пять—шесть человек, готовых поддержать меня, то им уклоняться от правдивых показаний не имеет смысла.

— Нестоющий вы народ, как погляжу я на вас, — проговорил Сенотов. — Зайцы! Выскочили было на опушку, да опять — в лес!

— А по-твоему, как, Василий Михеевич, сказать правду? — спросили двое крестьян.

— С неправдой-то путались, совали в ноздрю приставу, было не больно сладко; попробуйте на правду повернуть... Писарь добра хочет.

Мимо волостного правления промелькнул тарантас Добровольского.

От'езд Добровольского окончательно решил его судьбу.

По возвращении Кострицына в волостное правление, крестьяне не только подтвердили мои разоблачения, но охотно приводили те подробности случаев, которые послужили поводом для того или другого приношения.

Николай Михайлович сообщил, между прочим, что Добровольский грозил сделать представление о моей неблагонадежности на основании серьезных данных, якобы полученных от достоверных лиц, и подать жалобу на старшину за его оскорбительное отношение к нему во время официального разбирательства дела.

— Нашел чем стращать, полицейский огрызок! — выразил свое негодование Василий Михеевич. — Ты, Николай Михайлович, беспримерно вставь в протокол, как он кочетом влетел в правление и стал охальничать: тебя в сплетники произвел, писаря облаял... Вон нас сколько свидетелей — все подпишемся.

— Разрешите и мне вставить слово! — сказал я Кострицыну. — Тем более необходимо отметить непозволительное поведение Добровольского, что оно было явно рассчитано на то, чтобы напугать крестьян, заставить их отказаться от разоблачений, и он чуть не достиг цели...

— Что же вы заколебались? — с упреком обратился Николай Михайлович к крестьянам.

— Что станешь делать, ваше высокородие, не больно мы привычны защищать себя... Все думается, как бы хуже не вышло, — сказал Зиновий Петров.

Непременный член составил акт об учете сборщика податей, подчеркнул в нем умышленное появление пристава к разбору дела с целью своим грубым отношением к нему и ко мне напугать крестьян.

— Верно я записал? — спросил Кострицын, прочитав акт.

— Верно.

— Правильно.

— Точка в точку.

Когда акт был подписан всеми крестьянами и должностными лицами, Василий Михеевич резюмировал свое отношение к делу:

— Одного лиходея связали — ровно вот и полегчало!..

Кострицына проводили низкими поклонами.

Прощаясь с крестьянами, я сказал Гераськину:

— Бахвалился: «Мы за тебя — как за гужи, Александр Иванович», а увидал станового, первый заскулил!..

— Не обессудь, Александр Иванович, — подавленным голосом проговорил Иван, — еще духу Сенотского нет... Вот потрусь малость около тебя да Василья Михеевича — осмелею!

— Не хвастай!—сказал Сенотов.—Трись не трись, а заячий хвост все будешь казать... Поедем-ка, Александр Иванович ко мне — закусим, чем бог послал.

Глава восьмая

СТАРШИНА СЕНОТОВ

Василий Михеевич был очень доволен, что удалось пошатнуть положение Добровольского, державшего в страхе всю округу и тащившего с крестьян всякую живность, продукты земли и деньги.

— Другой поопасится, как узнает, что давали, давали мужики — и вдруг за ум взялись... Ты сказывал, у предводителя есть становой на примете?

— Есть. Кострицын говорил.

— Надо будет пошевелить Фролова. А не то этот жгут на последях откинет еще коленце!.. Завтра я в Новосильцево еду за скотом — заверну, пожалуй, к Николаю Петровичу.

— Не худо.

Навстречу нам бежали мальчишки из села.

— Здравствуйте, здравствуйте! — приветствовал их Василий Михеевич, снимая фуражку. — Вот, братец, — обратился он ко мне, — нет во мне этой дурости, чтоб начальство в себе чувствовать: старшина — теперь я, а все первый кланяюсь, мужик ли навстречу, ребятишки ли...

— Так и надо, Василий Михеевич! Говорят, Савин — тот покрикивал: «Шапки долой!»... Вот теперь и ходит по селу, ровно пришлый; одно «кулачье» здоровается с ним...

— Так, так...

Проезжая своей Садовкой, Сенотов не успевал надевать картуз: кланялись взрослые мужчины и женщины, дети подбегали к шарабану с криком: «Здравствуй, дяденька!»...

Просторный дом Василия Михеевича, крытый железом, делился сенями на две части. Чистая половина состояла из трех комнат, с мягкой мебелью, лампами, коврами. Крестьяне говорили, что состояние Сенотова выражается десятками тысяч и образовалось главным образом от торговли хлебом. На этой почве вспыхнула и развилась к нему ненависть Хахалиных, потому что Василий Михеевич, предпочитая скупать хлеб у соседних помещиков, брал под защиту местных крестьян, когда они приходили к нему с жалобами на балтайских «хахалей», нагло эксплоатировавших особенно своих должников. В этих случаях Сенотов оставлял их хлеб за собой по базарной цене: крестьяне были довольны, а Хахалины проклинали его по всем закоулкам.

К помещикам Василий Михеевич чувствовал глубокую, затаенную злобу, сохраняя в памяти возмутительные случаи крепостного права, и испытывал особое удовольствие, если ему удавалось «нагреть барина». В этот раз он с злорадством передал мне, как прошлой осенью дешево купил овес у своего соседа.

— За границу навастривал лыжи господин, — говорил он, наливая мне чай, — обмолотил овес, ждет покупателя, а его нет... Мне подал весточку... Я тоже не тороплюсь: знаю, что перехватить некому... Вот собрался, поехал, — не знает, куда и посадить меня!.. То—се, пятое — десятое, наконец спрашиваю:

— Овсеца надумал продать?

— «Как же, — говорит, — тебя поджидал».

— Овес-то ноне дешев, барин. Расчету нет забивать в него капитал.

— «Ну, что ты, — говорит и смеется, — не дешевле, чай, денег?»

— Так-то, так... А велика ли партия у тебя?

— «Боле 6.000 пудов».

— Вон сколько!.. По чем же полагаешь сдать?

— «Для тебя,—говорит,—уступлю по 35 копеек»...

— Эва, что вздумал!.. По четвертаку и то не дам... Давай лучше я у тебя бычка куплю.

— «О бычке после поговорим... Кончим сперва об овсе»...

— Да не рука мне твой овес, — говорю. — Бычка давай! Хочешь 40 рублей за красного?

Струхнул господин: уйдет покупатель!

— «Я тебе скину по 2 копейки», — говорит.

— Не больно овес мне нужен теперь... Мышеядь заведется, пока его ссунешь куда... Как знаешь, барин, а боле 22 копеек дать нельзя.

Он индо привскочил: словно я ужалил его; замахал ручками и говорит:

— Это ты, Василий Михеевич, разорить меня хочешь!».

Потом подумал, подумал: видно, считал, сколько всего выйдет... Ведь господишки-то как торгуются? Им не цена хлеба нужна, а чтоб выручить, — сколько надо сейчас... Подумал и говорит:

— «Хочешь 30 копеек?»

— Нет, мол, соседушка, неча мне прохлаждаться у тебя. Накину еще полкопейки — и шабаш!

Вынул я свой бумажник, раскрыл: — Прикажи заплатить!

Как увидал он деньги, вспомнил, видно, чужие края, поломался еще малость и протянул ручку:

— «Давай, бог с тобой!»

— А бычка-то?

— «Бычка за 50 целковых бери! Мене не уступлю».

— Тут я ему уважил: дал две четвертных... В тот же день быка за 80 рублей продал!..

Пока я сидел у Василия Михеевича, к нему приходило несколько человек с разными просьбами, говорившими о большой нужде, разлитой по Садовке. Сенотов исполнял желания просителей очень просто, без обычного ломания деревенских «благодетелей». Удовлетворяя просьбы, Василий Михеевич иногда спрашивал: «За тобой, кажись, уж на десятку набралось?» или «Сколько теперь будет?..»

— Все — наши садовские! — сказал Сенотов. — Плохо живут... Хочу землю им купить.

Бывшие крепостные крестьяне села Садовки по выходе на волю получили полный надел земли, но при селении — «почти ничего», потому что лучшую землю, смежную с усадьбой, помещик оставил себе, крестьянам же отвел участок за 20 верст от жилья, в количестве больше 1.000 десятин. Барин не обманулся в своих ожиданиях: крестьяне стали арендовать его землю, так как она «была в руках». На отдаленном участке только некоторые сами обрабатывали землю, большинство сдавало свои «души» в аренду и получало ничтожный доход.

В 1878 году земля при Садовке принадлежала помещице Александровой, жившей в Петербурге. Носились слухи, что она недовольна доходами со своего имения и намеревается продать землю.

— И разлюбезное дело вышло бы, коли она продала бы свои угодья, — говорил Василий Михеевич, — кажинный год жалуется на мужиков: и мало, вишь, платят и неаккуратно; грозила не раз сдать землю другим... Ну, на это не пойдет: наши в долгу у нее — не захочет терять свой капитал... По делу-то глядя,

садовским след купить ее землю: она к рукам, да и знают на ней каждый кустик, кочку, ложбинку... За малым останова: денег нет, а в рассрочку ежели, — она не согласится... Вот я и удумал: куплю сам у нее землю для мужиков (пусть владают), а мне за нее — предоставят дальний участок, примерно, лет на двенадцать... Думаю, не в обиде останутся мужики...

— И крестьяне согласны? — спросил я.

— Ну, до согласу еще далеко... Настояще я и не говорил с ними... Так молвил кое-кому... Надо сперва барыню приспособить... Все жду, не поедет ли лечиться в чужие края, а мужики как-раз с арендой не управятся: тогда по сходной цене уступит...

Глава девятая

ВОЛОСТНОЙ СХОД ЗАГОВОРИЛ

Обилие канцелярской работы в волостном правлении оставляло мне мало времени для общественных дел. Служили помехой и некоторые запросы учреждений, требовавшие подготовительных работ, чтобы ответы на них имели цену. Так, министерство внутренних дел интерсовалось в то время вопросом о нищенстве, и присутствие по крестьянским делам вместе с земской управой составило целую программу исследования причин постоянного и случайного нищенства.

Волостным правлениям приходилось по каждому селению отмечать перемены в условиях жизни крестьян, порождавшие различные степени нужды, вплоть до собирания милостыни, и освещать отдельные факты профессионального нищенства, получившего наиболее яркое выражение в селе Сухом-Карбулаке. Здесь

крестьяне жили в достатке благодаря особой организации нищенства: они держали работников с целым ассортиментом кляч, веревочной сбруи и безобразных телег и, нарядив своих слуг в подходящую рвань, отправляли за сбором пожертвований. Для них всякое даяние было благо, потому что оно обменивалось на деньги.

Н. М. Кострицын, предупреждая меня об этом исследовании, между прочим жаловался, что такую серьезную работу приходится поручать малограмотным писарям, и кстати спросил, нет ли у меня на примете человека, кто хотел бы занять должность волостного писаря. Я давно ждал случая рекомендовать А. К. Соловьева. Немедленно вызванный из Саратова, он получил назначение в Стригайскую волость под именем Печкарева. Теперь в Вольском уезде было трое писарей, об'единенных преследованием одной цели, но, чтобы пользоваться советами товарищей, стал еще необходимее досуг.

На помощь мне явилась М. П. Лешерн-фон-Герцфельд [81] под видом моей сестры Марии Ивановны Говоровой. Кроме постоянных услуг по канцелярской работе, она приняла на себя заведывание почтовым отделением и заняла должность секретаря в балтайском ссудо-сберегательном товариществе, основанном при помощи земства местным крестьянином Пивоваровым. Ответственным лицом по отношению к почтовым операциям волостной сход избрал меня, признав вполне возможным поручить технику дела другому лицу. Чтобы крестьяне могли пользоваться почтой во всякое время, при мне и без меня, я заранее ставил на почтовых расписках свою подпись «А. Страхов», предоставляя нужный текст заполнять Марии Ивановне. Крестьяне понимали значение моей предварительной

подписи, и до поры до времени она не порождала никаких недоразумений...

С появлением помощницы я мог приступить к осуществлению мысли, обещавшей большую благодарность крестьян, — к уничтожению «волостной кассы». Может быть, при благоприятных условиях управления делом самих крестьян, при отсутствии пагубного влияния волостной администрации, это специальное учреждение для государственных крестьян и могло бы приносить некоторую пользу. Но оно выродилось в домашнее дело волостного старшины и писаря, обратилось в источник их наживы и всяких притеснений для крестьян, и волостная касса стала большим злом в крестьянской жизни.

Основанная в отдаленные времена казенной палатой, балтайская касса не имела ни гроша денег в наличности и считала лишь долги, переходившие из рода в род с начислением сложных процентов. Были домохозяева, путавшиеся с долгами по наследству и давно погасившие их с избытком, если принять в расчет все вымогательства старшины и писаря и потери при экстренной добыче средств для уплаты процентов и части долга.

С появлением ссудо-сберегательных товариществ, пользовавшихся покровительством начальства, крестьяне получили возможность хлопотать через присутствие по крестьянским делам о преобразовании волостной кассы в «товарищество» или о совершенном прекращении ее функций. Ликвидация кассы сводилась к тому, что к известному сроку определялся долг каждого заемщика, и уплата его, без начисления процентов, рассрочивалась на несколько лет. Ходатайство о закрытии кассы возлагалось на обязанность волостного схода.

Балтайские крестьяне обрадовались, когда узнали, что могут отделаться навсегда от ненавистной кассы. Каждый день ко мне являлось по несколько человек и охотно вместе со мной проверяли по кассовым книгам свои недоимки и платежи. Так как проектировалось просить об уплате долгов в течение двенадцати лет, то подведение итога часто сопровождалось такого рода замечаниями:

— 50 рублей? Ну, что ж! Четыре рубля с копейками в год — можно! За откуп от старшины боле платили, а долг все рос и рос...

Общение с крестьянами на почве выяснения их обязательств в кассе, с одной стороны, познакомило меня с проявлениями возмутительной «прижимки» волостных старшин и писарей, а с другой — позволило им разглядеть, что новый писарь не похож на своих предшественников. Один случай еще более убедил их в этом.

После подсчета долга одного крестьянина оказалось, что за ним числится меньше, чем он предполагал. Прощаясь со мной, он протянул руку и вдруг сказал:

— Спасибо, Александр Иванович! На-ка тебе рублевку за хлопоты.

Я рассердился и ругнул мужика.

— Эх ты, голова с мозгом! Я стараюсь прекратить кассу, чтобы ни старшина, ни писарь не могли хапать с вас, а ты сам суешь мне рублевку! Пойми ты, дурень, ведь если бы у меня охота была стричь вас, как баранов, то зачем мне закрывать кассу?.. Не по душе мне эта стрижка, понимаешь — не по душе! Вот я и хлопочу за вас...

— Не сердись, не сердись, милок! — сказал крестьянин.—Дай бог тебе здоровья! Вижу, что ты под стать

Василию Михеевичу — совесть не дозволяет тебе обижать мужика... Ох, сколько этих обид — не сосчитаешь!

— А ты еще умножал их, смазывая то станового, то старшину, то писаря, и меня тоже захотел... Запомни навсегда и другим скажи, что вы платите мне жалованье и должны требовать, чтобы я служил вам по совести... А хабару оставьте, не смейте и помыслить о ней... Понял?

— Прости, Христа ради! Не гневайся! Понял я и другим закажу, что душа твоя не принимает облыжных дел... Дай бог силушки послужить нам... А мы за тебя за все будем бога молить...

Этот эпизод стал достоянием каждой избы и содействовал укреплению доверия ко мне.

Кроме того, обмен мнений по поводу кассы и связанных с ней неприятностей, выпадавших на долю крестьян, повел к дружбе с некоторыми из них, и в результате в случае каверз, замышлявшихся против меня «кулаками», я знал о направлении интриги.

Наступил момент ходатайства созвать волостной сход. Разрешение получилось быстро от председателя присутствия по крестьянским делам Н. П. Фролова. На сходе предстояло обсудить вопрос о кассе, избрать двух волостных судей, определить на год жалованье волостным судьям, старшине и писарю и уполномочить меня получить страховую корреспонденцию.

Сход был почти полный. От Балтая, за редким исключением, пришли все выборщики от десяти дворов, Садовка послала всех, были представители от села Асановки и деревень Каменки и Никулина.

— Что же ты, часто будешь таскать меня по сходам? — ворчал Сенотов накануне.

— Как придется, Василий Михеевич! Послужите миру!.. Войдите во вкус, сами будете требовать собраний...

— Вот разве Хахалиных в Сибирь угнать? Тут уж я постарался бы.

— Пока они присмирели...

— Не такой народ!.. Не сами, так через кого-нибудь отрыгнутся!

На сходе Василий Михеевич держал себя не совсем тактично, разжигая себя злобными взглядами в сторону двух Хахалиных.

Вопрос о кассе, заранее выясненный в частных совещаниях, был решен скоро. Один только Хахалин внес предложение:

— Хорошо бы не закрывать кассу. При старом старшине бывали и деньжонки в ней, выручали койкого...

— Сберегательное товарищество есть! — крикнул кто-то. — Кассу добром помянуть нечем.

— Как кому! — сказал Хахалин.

— Ему была на пользу! — заметил Василий Михеевич и прибавил, повысив голос: — Неча канителиться! Согласны закрыть?

Поднялся гул голосов:

— Согласны! Согласны!

Судьями заранее были намечены старшиной двое садовских крестьян, и были избраны. Жалованье судьям оставлено прежнее — 10 рублей в год.

— На сапоги годится! — сострил новый судья.

Кто-то ответил в тон:

— И подметки подкинешь на старые!..

— Теперь жалованье писарю, — сказал Сенотов. — Мой совет: оставить по-старому.

— Как можно! — энергично возразил Герасим Семенович Хахалин. — Без году неделю у нас — и вдруг хлоп! 60 рублей в месяц!.. Да когда это бывало?.. Пусть заслужит сперва.

— Чем прикажешь заслужить тебе? — злобно спросил старшина. — Погорельцев по миру пустить?

— Ну, что зря говоришь, Василий Михеевич!.. Обидеть только охота меня!.. На сходе не полагается так...

По уговору еще в усадьбе предводителя дворянства, я толкнул Сенотова ногой.

— По-моему, — продолжал он спокойнее, — сразу видать, какого писаря нам бог послал... Мне от вас жалованья не надо: без него проживу... А писаря не обижайте!

На старшину посыпались благодарности за его отказ от жалованья:

— Спасибо, Василий Михеевич, спасибо! Дай тебе бог здоровья!

Вперед выступил из толпы балтайский сборщик податей и произнес целый панегирик:

— Насчет писаря надо прямо говорить: другой год живет и два, а подмоги от него мужику — что лошади от кнута... А Страхов, на, Александр Иванович, посчитай-ка, как успел ублаготворить нас? Страховку защитил от живоглотов, хапугу-станового спустил с нашей шеи, кассу похерил, за паспорта не берет сверх положения... Ране, бывало, идешь в волостное правление — прежде пошарь, есть ли что в кармане... И жалованье платили хорошее, а все было мало!..

— Почту опять возьми! — присоединился другой.— Придешь получить письмо — плати... за сохранение, вишь! Отправить надо — добавь к почтовой марке, что спросит. А уж если на стороне не написал письма,

писаря попросишь—насчитает за все: и за труды, и за листок, и за конверт... по хорошей цене!.. А теперь как? Надо тебе послать письмо — иди к сестрице Александра Ивановича. С ласковым словом все сделает и ничего не потребует. В благодарность пяток яичек ежели принесешь — не возьмет, деньги вынесет... С эдаким писарем не жить в ладу, — так какого же рожна, прости господи, надо!

— Дозвольте и мне слово молвить, — заговорил содержатель земской и волостной гоньбы. — Со мной писаря как поступали? Давай лошадей в город, давай на охоту, по грибы, даже в другой уезд гоняли... Этот— в Садовку едет к Василию Михеевичу — и то 15 либо 20 копеек дает; в Царевщину... далеко ли?.. таксу установил 50 копеек; а в город посылал за чемоданом — прогоны выложил...

— Деньжонки, стало быть, есть, — насмешливо заметил Хахалин.

— В первую голову совесть есть—вот что!—ответил резко ямщик.

— Ну, Александр Иванович, расписали тебя в лучшем виде, а самому не дали и слова сказать... Может, тебе вовсе жалованья не надо: за все платишь? — сказал один из кожевенных заводчиков, намекая на необходимость «поклониться» сходу.

Ответ мой был краток:

— Хвалить тебя не стану и просить 60 рублей не буду... Хотите — послушайте совета Герасима Семеновича: подождите, пока заслужу... Но сколько вы назначите мне, все равно буду служить вам по совести...

— Ну, что ж, мужички, видать, уторговывать нечего!.. Давайте руки за старое жалованье, — предложил садовский сельский староста.

— Идет!

— Согласны!

— Пиши 60 рублей!

— Магарыч с него надоть: пусть ведерко выставит! — раздался голос.

— И два не мешает! — поддержал другой.

Волостной старшина поднялся с своего места и твердо произнес:

— Этих глупостев чтоб при мне не было!.. Предводитель говорил мне: как допущу какой магарыч — приговор на смарку — не утвердят!

— Да он не узнает.

— Вылакаете два ведра — в Саратове узнают, не то что в Вольске... На конец-то, что у нас, — обратился ко мне Василий Михеевич, — почта осталась?

Вопрос был скомкан.

— Тут чего ж? Прямо пиши, Александр Иванович,— препоручаем тебе.

— Известно.

— Писарское дело.

— Всегда так...

— Сестрица, говорит, будет помогать ему — разлюбезное дело: спорее работа пойдет...

Сход кончился. Уполномоченные покинули волостное правление.

Оставшись со мной наедине, Василий Михеевич спросил:

— Видно, не ладно я осерчал на Хахалина, что ты ногой меня пнул?

— Да, на сходе не годится... Он и так упрекнул вас, а если бы вы еще разошлись, жалобу послал бы в присутствие, и прислали бы вам выговор... Зачем давать ему верх?

— Да, твоя правда! Да уж больно он мутит меня, окаянный... Так бы и перегрыз его!

— Еще успеете! Будет время!

Глава десятая

КУЛАКИ БОРЮТСЯ СО СХОДОМ

Однажды, крайне взволнованный, пришел ко мне сиделец балтайского питейного заведения, плативший сельскому обществу 2.000 рублей в год за право монопольной торговли вином. Он торопливо сообщил, что местный торговец красным товаром, Андрей Иванович Миронов, задумал открыть винный склад, и так как он сократит его доход, а то и вовсе сведет на-нет, то он отказывается платить обществу 2.000 рублей за кабак.

— Пусть мужики урезонят его, — сказал сиделец.— Ведь он не даст им ни копейки, а тут 2.000 рублей — деньги.

— Ступай к старосте, скажи ему, — предложил я.

— Да я был у него, к тебе послал.

— Надо будет собрать сельский сход.

— И староста тоже говорит. Да, вишь, будни: народу мало... Тоже, ты от себя попужаешь Миронова, а?

— Ладно, я поговорю с ним... На воскресенье соберем сход непременно.

А. М. Миронов не принадлежал к сельскому обществу балтайских крестьян, был только приписан к волости. На краю базарной площади, прямо против волостного правления, он выстроил себе большой дом на каменном фундаменте и рядом—каменную лавку «в два раствора». Он держал двух работников и торговал

красным товаром не только в Балтае, но и в разнос по другим селам в базарные дни. С крестьянами он жил в полном согласии, ежегодно выставлял им угощение от своих щедрот и дружил с волостным начальством, ценившим его хлеб-соль, а еще больше «ситчики», «сукнецо» и другие материи.

Я послал за Мироновым. Видимо, он сам стремился ко мне, потому что пришел немедленно.

— А я, Александр Иванович, все собирался сам к тебе по дельцу, — сказал он, пожав мне руку, — да наша торговля беда: каждый день сообразить надо, что послать на базар туда, сюда; из одного воза выложь, в другой прибавь.

— Устал, пожалуй?

— Да уж не молоденький!..

— Не потому ли и новую торговлю завести хочешь?

— Тебе сказали?.. Вот по этому делу я и хотел добежать до тебя; надо посоветоваться, как бы ошибки не сделать... Да, Александр Иванович, винный склад задумал. На базары сам ездить не стану, а буду здесь торговать в лавке да в складе...

— Не ладное дело ты затеял, Андрей Иванович!

— Что так? Скажешь, против «мира» пойду?.. Сделаемся за милую душу!

— Ну, вряд ли! Кабатчик уже прибегал ко мне сказать, что как ты откроешь винный склад, он платить не станет... Крестьяне не простят тебе 2.000 рублей.

— Да ведь, Александр Иванович, они берут не по закону. Не полагается.

— Чего не полагается?

— Да брать деньги за кабак.

— «Мир» берет не за кабак, а за помещение под него и за то, что отказывается разрешить другой...

— Ишь ты как обернул!.. Мне в городу говорили, что сидельцы зря платят.

— Но ведь ты знаешь, что Балтай получает от кабака 2.000 рублей в год? Своим складом ты прекратишь этот доход. За это мужики тебя как ужа вилами к стене припрут...

Миронов стал терять спокойствие.

— Я, брат, не из пугливых!

— Мой совет — брось!.. Патент выправил?

— Давно.

— И с патентом брось! Больше заплатишь как против мира пойдешь!

— Ты ровно свои две тысячи бережешь... Мою руку держи. На-ка тебе пока четвертной билет!

Я посмотрел на него пристально и с презрением ответил:

— Эх, ты, торгаш! Привык гнилой ситец продавать и писарей подкупать!.. Не на того напал!

— Чего ж ругаешься!.. Пощупать вашего брата не мешает...

— В воскресенье на сход приходи щупать!

Андрей Иванович сделал продолжительную паузу, видимо, сдерживаясь, и с угрозой произнес:

— Будешь народ мутить против меня, как против Хахалиных? Не похвалят, брат, тебя за это!.. Меня все начальство в городу знает...

— Ну, ладно. Не хвастайся!.. Еще раз говорю: не открывай склада!

— Не на пользу мне твой совет.

— Ну, как знаешь!..

Известие о том, что Андрей Иванович хочет торговать водкой, быстро распространилось по селу. Кто не был на работе, тот забегал в волостное правление

выразить свое негодование вплоть до угрозы кулаком по направлению к дому Миронова и спрашивал: неужели нельзя запретить ему торговлю?

Я отвечал одно:

— У «мира» много власти. Придумывайте меры, идите на него дружно, стеной...

Кабатчик обратился в ярого агитатора и подливал масла в огонь.

Предстояла борьба с возможной надеждой на успех при упорстве, находчивости и решительности крестьян.

Я поехал к волостному старшине переговорить об этом деле и просить прибыть в воскресенье на сход.

— Вот, видишь, и отрыгнулись Хахалины! — сказал Василий Михеевич. — Это они нахлестали Миронова открыть склад, чтобы потеснить «мир», значит, и мне заваруху сделать.

— Он разве за одно с ними?

— Эва! Один чихнет — другой платком утрется... Ну, Андрюшка не рад будет, что по их тропке пошел... Так скрутим — не дохнет!

На сход Андрей Иванович не явился. Зато были Хахалины и почти все село. Я заранее решил не предлагать никаких мер и содействовать тому или другому решению лишь составлением нужного приговора.

На сходе выяснилось, что Миронов, обязанный иметь для винного склада каменное помещение, арендовал в центре села у балтайского крестьянина Петра Сычева, жившего на железной дороге, большую глинобитную кладовую, уцелевшую от пожара.

— Ай да Петруха, против «мира» пошел! — раздалось возмущение.

— Не давать ему старого назьма!

— На задворки его!

— А его место отведем Семену Горохову. Он давно хочет ближе к базару, и построится живо...

— Ну-ка, Александр Иванович, загляни в новый план — устояла ли мазанка, — обратился ко мне Сенотов.

Я принес план, обязательный для руководства при распределении новых мест после пожара. Оказалось, кладовая Сычова пришлась на середине улицы, где не должна быть.

— Вот бог и наказал его, подлеца!.. К чортовой матери ее!

— Выписать его... пусть уберет!

— А не приедет?

— Сами снесем... Ты как, Василий Михеевич, можешь распорядиться?

Сенотов посмотрел на меня.

— В уставе сказано, — раз'яснил я, — что все остатки после пожара должны быть убраны после двух недель. Следить за этим обязан волостной старшина... Мазанка Сычова не вошла в план, значит необходимо убрать ее.

— На ней и крыши никак нет? — спросил Василий Михеевич.

— И крыши нет, и углы обломаны...

— Чего ж? Под лом ее — и больше ничего! — решил старшина.

Далее выяснилось, что Миронов за вином еще не посылал, но искал подвод на селе.

— Кто поедет! — раздался уверенный голос...

— Не говори, кум! Мало ль бедноты-то!.. Иной польститься на большие деньги и привезет бочку в ночь...

— В таком разе «заказ» установим.

— «Заказ» лучше всего.

— Не давать подвод чтоб и не работать на него, а кто покривит душой — штраф 10 рублей.

— Да еще в загривок накладем...

— Бог даст, не придется!...

— Тебе, староста, — сказал волостной старшина,— более всего делов. Собери десятских, сторожа из волостного правления прихвати и вместе с ними следи, не провернется ли в складе чего — не по закону. Александр Иванович скажет, что и как!

— Мы все будем сторожить! — раздались голоса: — Винцом в розницу не поторгует, не-ет!

— Пуще всего в базарный день надо глядеть в оба!

— Будем стараться!

Я составил приговор, выразив в нем, что сельское общество постановило: 1) крестьянину Петру Сычову, после пожара, отвести дворовое место на краю селения, а его прежнее место отдать Семену Горохову; 2) глинобитную кладовую Сычова, пострадавшую от огня и не вошедшую в черту новых построек по плану, снести, по распоряжению волостного старшины, и 3) принять «заказ»: не давать А. И. Миронову подвод и вообще не исполнять в его пользу никаких работ, под страхом штрафа в 10 рублей.

При подсчете голосов, оказалось, что на сходе присутствовало более двух третей домохозяев.

Через день или два сельский староста сообщил мне, что работники Миронова выравняли углы у мазанки, приколотили новый засов запирать склад и сейчас устраивают полки и подставки под бочки.

— Сказывали работники, будто завтра привезут вино, — прибавил он.

— А когда можно ждать — днем или вечером?

— К ночи разве, если не заночуют в дороге.

Я высказал соображение, что если бочки приедут очень поздно, то едва ли их будут устанавливать на место; если же завезут до утра в сарай, то вот первый повод для составления протокола, так как вино нельзя хранить на сеновале.

— Будем сторожить... А протокол ночью писать?

— Нет, рано утром... Захвати понятых с собой и зайди ко мне.

— Эх, кабы влетел!

— Одного раза мало. Надо привлечь его к ответственности по трем протоколам, тогда мировой судья может закрыть склад, да и то, если захочет рассмотреть каждое дело отдельно, а по совокупности присудит к штрафу, только и всего!

— Будем просить судью.

— Ну, там видно будет!

На другой день после того, как привезли бочки с вином, староста рано утром постучал ко мне. Когда я подошел к окну, он крикнул:

— В сарае!

С ним был десятский и двое понятых. Я поторопился выйти, захватив с собою бумаги и чернила.

Сарай был заперт. Я велел старосте постучать к Миронову.

На стук Андрей Иванович всмотрелся через окно, кто его беспокоит, и спустя некоторое время вышел вместе с своими молодцами и возчиками.

— Доброго здоровья, господа честные! Что пожаловали? Водочки свежей отведать? — шуткой замаскировал он свое волнение.

— Отвори-ка сарай! — потребовал староста...

— Это к чему? Чего ты не видал там!

— А ты покажь, что там есть?

Миронов послал работника за ключом. Отпирая замок, он говорил:

— Да вы никак пришли протокол составлять! Еще и к торговле я не приступил, а вы — уж за грудки .. Ну, смотрите — чего найдете?

— Ты где ж это хранить водку вздумал, а? — спросил староста. —Закон велит — в безопасном месте, а ты рядом с сеном!

— Ах, ты, остолоп с медалью! Где ты закон-то узнал? Это все писарь потроха вам набивает... «Безапасное место»!.. Какую опасность нашел!..

— Смотри, не ругайся, аршинник! Не то составлю другой протокол... при исполнении обязанностей...

— Пиши хоть десять!.. Денег у нас нет, что ли, штраф уплатить.. Найдем!

Составлять протокол в сарае оказалось неудобным и я, пригласив всех в волостное правление, спросил Миронова:

— Подпишешь протокол, Андрей Иванович?

— Это на себя-то? Нашел дурака!

— Ну, как знаешь!

— С богом! — злорадно проводил он нас.

Когда протокол был готов, я распорядился, чтобы его доставили немедленно мировому судье при соответствующем рапорте волостного правления...

Глава одиннадцатая

ВЕДЬ ЭТО РАЗБОЙ

Миронов устраивался в своем складе. Крестьяне с нетерпением ждали базарного дня, когда он предполагал открыть торговлю. С раннего утра все были

на-стороже. Староста и десятские расхаживали вблизи склада. Крестьяне бродили по улицам и присматривались к ехавшим на базар.

Кабатчик решил умышленно продавать вино только «распивочно» и отказывал отпускать его «на вынос», предлагая итти в склад. Многие ругались, предчувствуя ловушку, и тем не менее заходили в склад спросить бутылку или две, если не удавалось найти охотников купить вскладчину четверть.

Частые требования водки малыми дозами, видимо, разожгли в складе аппетиты, и приказчик Миронова соблазнился отпустить приезжему крестьянину штоф водки в четвертной боченок. Как только покупатель вышел из склада, на него набросились староста и двое крестьян, вырвали из рук боченок, встряхнули его и крикнули на весь базар:

— А-а, попался! Тащи его в волостное правление!

Таким образом явился второй протокол о нарушении «питейного устава» винным складом А. И. Миронова.

Крестьянин, купивший две бутылки водки, оказался грамотным, удостоверил протокол своей подписью и убедительно просил возвратить ему боченок, уверяя, что и у мирового судьи он подтвердит факт покупки.

— Ловок ты, парень, — ответил ему один из крестьян.—Супротив нас пошел, а мы тебя с гостинчиком домой отпусти?.. Не хочешь ли вот чего на дорогу (он показал ему кулак)? Вот так! А боченок у мирового получишь.

— Эх, господа, крестины у меня!.. Христом богом просил вашего кабатчика дать две бутылки, — не дал!.. По крайней нужде ведь я в склад попал... Явите божескую милость, дайте справить крестины.

— Ступай, ступай отсюда! Некогда тут валандаться с тобой...

— Да я... — что-то еще хотел он сказать, но староста повернул его к дверям и толкнул в спину: — Ступа...ай, тебе говорят!

Второй протокол так же, как и первый, был экстренно отправлен к мировому судье.

Крестьяне заходили справляться, нет ли повестки на суд по первому делу, но ее не было.

Между тем волостной старшина решил послать Миронову предложение в течение трех дней освободить от вина мазанку Сычова, так как она после пожара не вошла в новый план построек, и должна быть уничтожена, тем более, что мешает сооружению нового дома Семеном Гороховым.

Сельский староста отнес это предписание и не успел вернуться в волостное правление, как Миронов уже летел сам для переговоров.

Андрею Ивановичу, вероятно, стоило больших усилий проделать все обычные прелюдии обращения к начальству, прежде чем приступить к деловому разговору.

— Какую бумажку ты мне прислал, Василий Михеевич? — начал он. — Грозишь мой склад разрушить?

— Не склад, а остатки после пожара! — ответил Сенотов.

— Да в остатках-то твоих у меня без малого тысяча рублей лежит...

— И возьми ее в карман!

— Как же так? Припас я себе помещение под склад, деньги уплатил, а ты хочешь срыть его до земли... Ведь это — разбой!

— Ты поаккуратней выбирай слова-то, не то в холодной поучишься говорить... Слышишь?

— Да ведь обидно, Василий Михеевич, ей-богу!.. Я буду жаловаться... Адвоката привезу.

— Хошь двух.

— И долго это вы меня будете так маять со складом? То одно, то другое, то третье...

— Пока не закроешь, все будешь чесаться!..

— Ну, да я найду на вас управу, найду и на тебя, и на писаря: он тут мутит больше всех!

— Ступай, ищи скорей!..

Миронов ушел, хлопнув дверью.

Глава двенадцатая

ПОЙДЕМ НА ПРИСТУП

Прошло три дня, а складчик и не думал об уборке вина из мазанки. Напротив, за это время он прибил над входом в нее вывеску: «Винный склад А. И. Миронова»... Крестьяне волновались, видя, что он «не поддается»: в разные часы дня в ожидании приезжих покупателей отворяет склад, а в базарные дни даже «шибко торгует». Недовольство их было подогрето и решением мирового судьи — оштрафовать Миронова по совокупности, за два нарушения питейного устава на 25 рублей.

— Доколе терпеть-то будем? — спрашивали озлобленные и нетерпеливые крестьяне. — Зорить Петрухину хоромину — так зорить!

— Воскресенья дождемся: больше народу будет...

На ряду с боевым настроением в среде крестьян было и другое: как бы не ответить за слом помещения, где Миронов хранит вино и, говорят, стал нарочно держать деньги. Некоторых больше всего смущал з а м о к.

— Ведь замка-то, чай, трогать нельзя: со взломом ежели — больше ответ!

— Да зачем тебе сбивать замок!.. Ты потолок высаживай, стены... А замок пусть висит.

— В воскресенье-то верно пойдем на приступ?

— Верно. Старшина сказывал.

— А все же ребята, надо будет хватить для куражу!

— Эка, дрожишь, как осина!.. Твой ответ, что ли? Ведь старшины приказ!

— Так-то так... А все, вишь, не больно смело с непривычки...

Наступило воскресенье. По селу ходили группы крестьян в ожидании приезда старшины. Как только показалась его лошадь, все бросились по направлению к волостному правлению. Сенотова дружно приветствовали.

— Вот что, господа, — сказал Василий Михеевич,— ране, чем тащить ломы и лопаты, соберем сход и решим, что дале делать, коли он, глот, не повинится... Староста говорил мне, что вы удумали новую загвоздку.

— Как же, как же, есть кое-что на примете! — раздались голоса.

— А сход — чего ж? Все тут!

— Ну, староста, выходи, рапортуй!

Мгновенно водворилась тишина.

— А вот, господа миряне, — начал староста, откашлявшись, — толковал я ономнясь кой с кем... Нет лучше — осрамить его, купца, как насупротив его лавки с красным товаром установить горшечный ряд...

— Ха-ха-ха!

— И озлобится аршинник!

— А для бабенок, что с горшками, сделаем навесы, чтобы, значит, не видно было с дороги его растворов...

— Торгуй за корчагами и плошками: места много. А форсу уж не будет, нет, прогулял, Андрей Иванович.

— Ловко удумали!

— Чего лучше.

— Так и постановим. Пиши приговор, Александр Иванович!

Я ушел в волостное правление составлять приговор. С улицы доносились ко мне то смех, то угрозы.

Так как полным хозяином базарной площади являлось сельское общество, то оно было в праве распределять на ней места в интересах покупателей и торговцев, и составленный мной приговор гласил, что «для удобства приезжающих на базар, сельский сход постановил: отступя на три аршина от дома и лавки А. И. Миронова, расположить вдоль улицы горшечный ряд и сделать для торговли нужные приспособления».

Я прочел приговор на сходе и пригласил старосту и грамотных крестьян подписаться. При счете голосов опять оказалось больше двух третей домохозяев. С чувством некоторого удовлетворения я заметил старосте:

— Охотно ходят на сход.

— Еще бы! Хозяевами стали, а богатеи хвост поджали. Одолеем ежели Миронова, народ и вовсе осмелеет!.. Спасибо сказывают тебе и Михеичу!..

Крестьяне придавали особое значение последней выдумке. Они уверяли, что купцу будет прямо «непереносно» очутиться за горшками: какие ситцы и кумачи теперь ни развешивай по «затворам», прежней приманки уж не будет!..

Когда приговор был готов, волостной старшина отдал приказ:

— Айда, ребята, мазанку зорить! Возьмите из пожарного обоза багров парочку и лома три: будет, чай?

С большой охотой за орудиями разрушения отправился Семен Горохов, заинтересованный скорейшей очисткой места рядом с своей новой постройкой; к нему присоединилось человек пять из молодежи. Толпа двинулась по улице... Миронов, очевидно, следил в окно, пока шел сход и, как увидел необычайную процессию с баграми, вышел на крыльцо своего дома.

Кто-то с'озорничал, крикнув ему:

— Андрей Иванович! Иди помогать твое вино пить!

Он бросился бегом к складу, опередил толпу. Красный, растрепанный, он возбуждал смех и этим только подзадорил парней приступить к работе.

— Баграми сначала, баграми, отрывай углы! — вылетали отдельные возгласы из общего гула.

Разрушение оказалось не так просто, как предполагали. Багры отбивали ничтожные куски окаменелой глины...

— Ну и анафема!.. Не уколупнешь!

— На совесть сбита!

— Тащи лестницу! Лезь на крышу!

Стали проламывать потолок. Каждый удар поднимал пыль и сопровождался разными возгласами: «Чистый камень», «Искры летят». «Видно, щебенки подсыпано!»... Все-таки потолок оказался более податливым: в одном углу сделали большую брешь, и куски глины полетели внутрь склада.

Раздался победный крик «ура» и привел в чувство Миронова.

— Разбойники! Что вы делаете? — кричал он, бросившись отпирать склад.

Распахнулась дверь, и его обдало густым столбом пыли. Он неистово заорал:

— Злодеи! Все вино испортили мне!..

— Ха-ха-ха, го-го-го! — гремела толпа.

В потолке пробили новую дыру.

Миронов выскочил из склада, весь в пыли, и стал просить:

— Староста, останови их!.. Дайте, черти, убрать вино... Ну вас к шуту и с мазанкой-то вашей!

— Остановись, ребята! — крикнул староста: — На мировую идет!

Чувство разрушения, видимо, было слабо вообще, потому что парни без лестницы соскочили с крыши, а из толпы послышались голоса:

— Давно бы так!

— Нельзя, Андрей Иванович, убыточить крестьян!

— Утихомиришься—приходи на сход после обеда!

Старшина все-таки распорядился уничтожить мазанку, как только Миронов вывезет вино.

— Нанять двух—трех человек разбить ее, чем самим валандаться — не велики деньги! — сказал он.

Ожидания крестьян не оправдались. Миронов не явился на сход, а, поручив охрану склада своим работникам, уехал в город.

Его не было два дня. Склад бездействовал. На третий день он вернулся и привез с собой, по сведениям крестьян, «аблаката».

Приезжий, внушавший представление о ходатае по делам самого низкого ранга, ходил с ним в склад осмотреть «следы разрушения», долго угощался у своего клиента и перед от'ездом был в гостях у Г. С. Хахалина.

В тот же день он уехал на станцию железной дороги. Один из работников Миронова ездил к мировому судье, как обнаружилось впоследствии, с жалобой на «самоуправство крестьян, грозившее владельцу винного склада потерей всего имущества». Несомненно, по его внушению, работники и «стряпуха» Миронова мяли глину, смешивая ее с навозом и заделали отверстия на потолке склада.

Глава тринадцатая

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДОНОС

Приезд «аблаката» породил среди крестьян разные толки. В частности один из моих приятелей, создавшихся на почве общения с крестьянами по поводу ликвидации волостной кассы, передал мне, что у Миронова с «аблакатом» был разговор и обо мне. Андрей Иванович жаловался, что с приездом нового писаря «не стало житья» хорошим людям. «Самого последнего мужичонку норовит в красный угол посадить», а чуть «пообстоятельнее да с капиталом» — готов со свету вон.

— Вот и меня теснит! — сказал Миронов.

— Да ты сунул бы ему грош какой! — дал совет «аблакат».

— Пробовал. Да не берет, дьявол! — ответил Андрей Иванович.

— Знаешь — что? Да он не из эдаких ли? — спросил «аблакат».

— Из каких?

— Да вот, что прикидываются, будто за мужика стоят, а на деле бунт хотят сделать...

— В Самарской губернии были такие писаря, тоже мужиков ублаготворяли, а потом обозначилось: бунтовщики! Сцапали их, и все открылось...

— Ты вот что сделай, — говорит «аблакат», — скажи исправнику либо жандарму, пусть дознаютя... Ежели из эдаких — живой рукой в острог и на виселицу!

— Да как ты узнал, что был такой разговор? — спросил я приятеля.

— А видишь как! Зашел я с Фомой Рыбиным в лавку Хахалина, а туда и Миронов шасть! — «Ну, что аблакат—как?» — спросил Герасим Семенович.— А вот, говорит, какой совет дал насчет писаря», — и все обсказал при нас... Ему не вдомек, что мы в дружбе с тобой... Они нас и за людей не считают.

В то время в кругу разных любителей быстрой наживы, взяточников и казнокрадов с успехом стал практиковаться прием отделываться от лично опасных им лиц путем политических доносов; тот же прием начал спускаться и в деревню, где разные Хахалины и Мироновы могли обезопасить себя от неприятных людей по совету «аблаката»: шепни: из эдаких—и уберут.

Такая аттестация меня в глазах исправника тем более могла иметь значение, что я еще не сумел расположить его в свою пользу.

Необходимо было предупредить извращение Мироновым фактов борьбы с ним балтайских крестьян. В этих видах Ю. Н. Богданович, ставший любимцем исправника, поехал переговорить с ним в г. Вольск, а В. М. Сенотов, имевший частные дела с мировым судьей и предводителем дворянства, отправился к ним в имения познакомить их с нашими событиями. Оба достигли положительных результатов.

Глава четырнадцатая

НЕТ, ХАХАЛЬ, ПОПАЛСЯ И ПЛАТИ!

Миронов починил мазанку. Видимо, обнадеженный «аблокатом», он избегал сношений с крестьянами и снова открыл склад.

Рано утром в базарный день староста, десятские и двое плотников, с кольями и тесинами в руках явились ставить навесы для торговли гончарными изделиями.

Стук топоров всполошил народ и моментально собрал человек двадцать любопытных.

И Миронов вышел на улицу. При виде какого-то сооружения против его дома, он обратился за раз'яснениями к старосте.

— Горшками торговать будут против твоего магазина, — ответил староста.

Андрей Иванович сразу пришел в негодование.

— Что-о? Лавку мою заставить хотите!.. Да в уме ли вы, озорники лысые!.. Ведь красный товар простор любят... Какая же торговля за горшками?

— Ничего, поторгуешь! — издевались зрители.

— Еще навесы вздумали!.. Этак и не заметят лавки!

— А ты обтяни их ситцем... для приманки.

— Что удумали, а...а? — хлопал себя по ногам Миронов. — Убытку-то сколь будет!

— Все мене, чем нам! — сказал староста.

Навесы были готовы. Десятские пошли на дорогу сторожить приезд горшечниц, чтобы указать им новые места. Бабы были довольны, что в случае дождя им не придется растягивать свои пологи.

По мере того как собирался базарный люд и открывалась торговля, любопытные стали заглядывать в горшечный ряд и по адресу Миронова отпускать шуточки.

— Ай да купе-ец! Горшками торговать зачал!

— Тетушки, вы с ним сообща, что ли?

— Звал, вместе чтоб торговать, сулил по платку; не знаем, обманет аль нет...

— Кумачу просите на платья: ведь ему сколько помоги от вас!..

Шутки сопровождались задорным смехом и привлекали новых любопытных.

Некоторые из приезжих крестьян заходили к нему в лавку и, покупая нужный товар, вдруг невинным тоном спрашивали:

— Горшечками никак вздумал торговать?

Забегали к нему посетители и «с мухой»: кабатчик не жалел лишнего стаканчика для потехи.

— У тебя распродажа, сказывают? — спрашивал такой мнимый покупатель.

— Какая распродажа? Почему?

— Да гончарный завод, вишь, открыл: лавочку прикрыть хочешь?

Миронов ругался, выгонял из лавки слишком назойливых «озорников», но все-таки выдержал искус.

— Упорный! — говорили крестьяне. — Сдастся!.. А нет, так вовсе выгоним его из Балтая...

Прошла неделя без всяких инцидентов. Мировой судья признал правильным распоряжение волостного старшины об уборке остатков после пожара.

Решение судьи ставило Миронова в критическое положение перед вопросом, где найти новое помещение.

Выстроить собственный каменный склад, — крестьяне не дадут земли...

Навязывали ему мысль половину каменной лавки приспособить под склад, но думал ли он сам об этом,— неизвестно.

Пришел новый базарный день. Крестьяне вместе с кабатчиком решили прибегнуть к организованному издевательству над Мироновым... Беспрерывно слышался хохот в гончарном ряду...

Вдруг раздался неистовый мужской крик и визг баб...

Оказалось, кто-то в пьяном виде зашел в лавку Миронова и своими надоедливыми расспросами и приставаниями довел его до потери самообладания. Он схватил железный аршин и бросился выгонять его. Тот со всех ног ринулся вон и налетел на «легкомысленное» сооружение для продажи горшков... Пошатнулись колья, упал навес — и в результате разбилось не мало посуды.

— Бабы, — со смехом кричали из публики, — взыщите с купца за весь бой!

— Никак обливные были горшки, — больше берите с него!

— Разошелся, аршинник, драться стал!..

Не прошло и четверти часа, как сторож волостного правления таинственно сообщил нам с Василием Михеевичем:

— Миронов идет сюда!.. Видно, доняли его?

Андрей Иванович, действительно, явился. Он поздоровался с нами честь-честью и с сокрушенным видом произнес:

— Эх, господа, господа, распустили вы народ! Делают мужичонки, что хотят...

— Ты сказывай прямо, чево хочешь? Неча кружить у пустого места! — осадил его Сенотов.

— Что сказывать? Пришел узнать, жить-то вы дадите мне али нет?

— Закрой склад и живи!

— А ежели я платить буду?

— Что мелешь зря! Разве может экое село без питейного быть?

— Пусть торгует. И мне не препятствуйте. С обоих берите!

— Видать, что умеешь аршином только мерить!.. Кабак-то может заместо склада торговать?

— Может.

— Зачем же твой склад тогда? У питейного доход отбивать? За это мужикам не платят. Сам должен понимать... Будет кочевряжиться!.. Мало-мала в понятие вошел теперь — иди на мировую! Не то ведь вовсе вылетишь из села.

Миронов опешил: — Как вылечу?

— Очень просто. Ты приписался к обществу? Нет! Твой дом на мирской земле стоит. Снял ты ее в кортом на года? Тоже нет! Дружил с мужиками—дали тебе. А теперь пошло у вас на развал—отберут в лучшем виде.

— Как же так? — тоном совершенной растерянности спросил Андрей Иванович.

— Как да как!.. Постановят приговор и к мировому, а тот исполнительный лист — ссадить! Понял?

Миронов сидел некоторое время в раздумье.

— Так на мировую, говоришь?.. Чай, сдерут с меня с полсотни?

— Эва! Полсотни? Три тысячи дашь!

— Сколько расстройства сделал, из-за тебя кабатчик на податя не внес двух тысяч, а тебя по головке гладить?! Нет, хахаль, попался — и плати!

— Побойся ты бога, Василий Михеевич, за что же три тысячи?

— Чего ты торгуешься со мной! Иди на сход — там и клянчи!

Миронов испытывал неловкое положение при постоянных вспышках гнева волостного старшины и сознании, что сколько ни сиди в волостном правлении, здесь не добьешься снисхождения.

— Ну, прощайте, господа честные, — сказал он, поднявшись, — осрамили меня на весь уезд, изубыточили... Бог вам судья!

Когда он ушел, Василий Михеевич удовлетворенно произнес:

— На одного накинули оброть... Взнуздать бы Хахалиных теперь...

На сельском сходе, состоявшемся по просьбе Миронова, было много крику, резких слов по его адресу и упреков за попытку «пойти против мира», когда этот «мир» предоставил ему «уют», «покой» и «беспеqречь в мошну совал не малые деньги»...

В передышку были выработаны условия «мировой»: общество дает прежний простор лавке Миронова с красным товаром переводом гончарного ряда на старое место и предоставляет ему право заключить на десять лет арендный договор на землю, занятую его постройками.

Миронов, в свою очередь, обязуется немедленно прекратить торговлю в складе, продав вино в балтайское питейное заведение (расчет, что кабатчик приобретет его с уступкой), а если питейное не

возьмет, то приискать другого покупателя, и внести обществу в уплату податей 3.000 рублей.

Миронов протестовал против срока аренды земли, желая увеличить его, и против 3.000 рублей, предлагая ограничиться одной тысячей.

Крестьяне так были возбуждены против него, что после длинных дебатов, приправленных укорами, насмешками, даже бранью, согласились уступить только 500 рублей.

Так кончилась эта борьба «мира» с «богатеем», не пожелавшим считаться с его интересами.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ИЩУТ КРАМОЛУ

Глава первая

ПЛАТИТЕ-КА, РЕБЯТА, ПЛАТИТЕ

Шел октябрь месяц. Волостной старшина был озабочен вопросом о взыскании податей и недоимок.

— Знаешь, как я хочу поступить? — сказал он мне. — Выворотить дело на изнанку. Допреж как бывало: жали наперед бедноту, а богатеев оставляли в конец. Мы давай по-новому: у кого есть деньжонки, тех пошевелим, а горемычные пусть поправляются... Сразу сколько денег-то сгрудим — волость исправной окажется.

Василий Михеевич послал за старостой и сборщиком податей.

— Вот, господа, вам приказ мой: гоните на понедельник сюда народ с податями — в первую голову Хахалиных, арендателей мельниц, базарного — всех, у кого в кармане есть... А бедноту не трожьте. Ты, сборщик, изготовь листы — сколько за кем, и ежели собрал что, тащи сюда. А как Миронов, уплатил?

— Сказал: «как велите — принесу».

— Сходи к нему, староста, скажи, что в понедельник платеж. Ничего, ко времени пришлись его деньги.

— В самый раз угодили.

В понедельник старшина приехал часов в десять. Сборщик с сельским писарем ждали его.

— Оповестили народ? — поинтересовался Василий Михеевич.

— Всех обегали... Есть — кто шибко ругается!

— Хахалины, чай?

— И другие есть... кожевники, базарный...

— Набалованы: все мирволили им...

В волостное правление стал прибывать народ. Василий Михеевич здоровался, шутил, но не приступал к делу: он ждал Хахалиных. Наконец пришли два брата: Герасим и Семен, «для форсу» набросив на себя лисьи шубы.

— Податя выбивать приехал? — спросил Сенотова Герасим Семенович.

— Из вас не выбивают,—резко ответил старшина,— это из других выколачивают... Ну-ка, платите, сколько за кем...

— Да ты, Василий Михеевич, шевели сперва недоимщиков, — поучительно сказал Хахалин, — за нами не пропадает: у нас есть слава богу!

— Есть, так и давай.

— Разве бывало когда, что с нас в первую голову...

— Староста! Ты сказал, чтоб сегодня несли деньги?

— Как же, говорил.

— Так чего ж ты лясы точишь?.. Ты мельницу еще держишь?

— Две.

— И за мельницы давай!

— Все сразу!.. Дал бы хоть передышку! — явно издеваясь над старшиной, сказал Хахалин.

— Я шутить с тобой не стану, — разделяя слова, угрожающе ответил Сенотов и, ударяя рукой по столу, прибавил: — Завтра об это место, чтоб были деньги, а не то...

— Да ты не кричи... Слышу.

— ...В грязный коровник посажу в лисьей шубе! —

докончил свою угрозу старшина и, наклонившись ко мне, шепнул: — Нельзя ли его отодрать?

Я ответил также шопотом, что одна такая угроза уже осрамит его...

Пока мы шептались, Хахалины вышли и скоро вернулись с деньгами.

— На, вот! Денег у нас нет, что ли! — хвастливо сказал Герасим Семенович, положив перед старшиной нужную сумму.

Сенотов промолчал. Все как-будто ждали, когда Хахалины уйдут. Как только они скрылись за дверь, с'емщик базарной площади, состоятельный человек, заметил:

— Крутенек ты с Хахалиными, Василий Михеевич! В коровник, вишь, хотел засадить!.. Какая обида им: ведь они на знати...

— Еще больше знать стали бы, как из коровника вышли. А ты, аблакат, принес деньги-то за базар?

— Хотел было просить подождать, да вон ты строгий какой!.. Уплачу, так и быть...

— Пустое и платишь!.. Надо цены поднять на базар, на ярмарку, на мельницы... Торги назначать станем... Какие это порядки? Угостил мужиков с'емщик— они и скащивают с правильной цены... Да еще волостное начальство от вас — в сторонку, а из бедноты руками и ногами выжимает!..

— Это ты нас разоришь так, Василий Михеевич!

— Ну, да ведь известно: нам все мало!.. Я о том хлопочу, чтоб мужикам меньше платить... Поднял общественный доход да сунул его целиком в подать — смотришь, раскладка-то и вовсе пустая будет... Тебе же меньше причтется за твои «души»... Да и начальство утихомирится: теперь то становой, то исправник,

на тройке звонят... сажают старосту, старшину в холодную... тьфу! Платите-ка, ребята, платите!

Тот же прием взыскания податей был применен и в остальных селениях Балтайской волости. В Асановке, очень бедном селе, нашлось человек десять совершенно безнадежных плательщиков, и Сенотов внес за них из своих средств триста рублей, сказав только:

— Богатейте с моей легкой руки!.. Потом отдадите.

Всего было получено за вторую половину 1878 года значительно больше 18.000 рублей. Василий Михеевич решил немедленно отвезти их в казначейство, и мы вместе отправились в Вольск. Когда я представлял казначею «об'явление» на уплату такой суммы, он сказал:

— От Балтайской волости!.. Что у вас разбогатели, что ли, крестьяне? Была самая неаккуратная волость и тянула, тянула уплату податей без конца!.. Урожай хороший был?

— Нет, новый старшина у нас: взыскал подати в первую голову с состоятельных крестьян и все «мирские» доходы зачислил в уплату — вот и набралась такая сумма...

— Кто у вас старшина?

— Сенотов, Василий Михеевич.

— Сенотов?.. Знаю, знаю... Толковый мужик!.. Поклон ему от меня!

Глава вторая

ЗАРАЖЕННЫЙ ЛИБЕРАЛЬНЫМИ ИДЕЯМИ

В ноябре предстояло «сдавать рекрутов» и вести исправнику «подворные описи».

Призывной участок был в Сосновке, постоянной резиденции станового пристава. Добровольский был

уволен, и его место занимал протеже предводителя дворянства, Гололобов. Просвещенный, добродушный человек, он не походил на своего предшественника, и сосновские крестьяне отзывались о нем с большой похвалой.

При Добровольском Сосновка в период призыва обращалась в место разгула с тайной и явной продажей вина и притонами проституток — раньше для деревни последнее было неслыханным явлением. Рассказывали, что сотским вменялось в обязанность «припасать для господ почище, посмазливее», и среди этих «полицейских» играл первую роль балтайский Юдин.

Волостные писаря говорили, что в Сосновке на призыве есть где разгуляться: можно выпить и закусить — придавая последнему слову специфическое значение.

По приезде в Сосновку, мы остановились с Сенотовым в одной комнате. Василий Михеевич привел себя в порядок после дороги и пошел «по начальству». Не прошло часа, как он вернулся.

— Что скоро? — спросил я.

— У исправника только был... Видел одного, а принес много! Наказывал старшинам, чтобы все писаря были у него сегодня вечером со списками... А на тебя рычит—страсть!.. «Кострицынский,—говорит,—подкидыш». И бумаги ты задерживаешь, и не так пишешь — врет, чай? А главное, ведомости какие-то посылаешь в присутствие, а не ему... «Исправника,—говорит,—для него нет и знать не хочет»... Скакал, скакал, прыгал, прыгал на тебя да и ляпни: «За непочтение я переведу его в самую плохую волость»... Тут я не стерпел: Что ты, — говорю, — из себя козырного бардадыма представляешь, а? Можешь ли ты перевести нашего

писаря, коли он, первым делом, нам нужен, и все начальство, окромя тебя, им довольно?.. Этак,—говорю,—мы и жалобу на тебя губернатору... вот, как перед истинным, пошлем, зря ты наскакиваешь на писаря: разберись допреж!»

— Ну, что же он?

— «Какая такая женщина, — говорит, — живет у него?»—Сестрица, мол, Марья Ивановна, вдова. — «Она, сказывают, в волостные дела путается».—Помогает, коли по письменной части, тоже письма отправляет... что придется... на почту. «Откуда,—говорит,—она такой грамоты нахваталась?» Училась, стало быть, где-нибудь, как и ты ж... Уж этого я не могу сказать тебе... — «Скажи, говорит ему, чтоб сегодня беспременно явился ко мне»... Тише, да тише — и размяк... Ведь он отходчив! Уж и горячка! Тоже ведь выдумает с сердцов: «переведу в плохую волость!!»—Так я и дал ему командовать в моей волости!.. Дороги к губернатору, что ль, не знаю!..

Вечером я в первый раз увидал исправника. Небольшого роста, довольно полный, с глазами на выкате, он казался возмущенным до корня волос. Он просматривал «подворные описи», находил у всех писарей ошибки и в порыве гнева буквально бил некоторых кистью руки по ушам, сопровождая удары отборной бранью.

— И у вас тоже ошибка! — сердито обратился он к Юрию Богдановичу и прибавил: — Один только балтайский писарь представил описи без ошибок (он не знал, что Богданович умышленно допустил ошибку, чтобы дать мне преимущество перед ним).

Исправник раздавал писарям листы с собственными исправлениями для переписки и несколько раз повторил:

— Олухи! Бить вас по ушам надо, — забывая, что только сейчас проделал это упражнение...

— Пожалуйте-ка сюда! — наконец обратился он ко мне и прошел в соседнюю комнату.

Повидимому, от волнения исправник не сел у стола и продолжал стоять. Для безопасности я стал по другую сторону стола. Он порывисто курил папиросу.

— Что же это, г. Страхов, — открыл он беседу, — вы желаете признавать только выборную власть... например, непременного члена, а органов правительства и знать не хотите! До сих пор не представились мне... Мало того, не явились по моему вызову в становую квартиру по экстренному делу; не присылаете мне ведомостей о движении дел в волостном правлении. Теперь я уж не помню... еще чем-то проявили неуважение к власти... Я не мог допустить такого поведения со стороны писаря, не зараженного либеральными идеями...

Исправник замолчал... Пауза тянулась долго. Наконец я спросил:

— Вы разрешите представить вам об'яснения?

— Я вас слушаю.

— Я не знал, что волостной писарь, такая ничтожная величина по своему положению, может представляться вам... Я не мог допустить этой неделикатности с моей стороны. Вот почему до сих пор я не имел чести быть у вас... В Сосновку, по вашему вызову, я не мог явиться, потому что еще накануне получил предписание г. непременного члена прибыть к нему в Стригайскую волость и был в дороге, когда ваш приказ пришел в Балтайское волостное правление. Получи я оба предписания одновременно, я поехал бы к вам, а не к Н. М. Кострицыну, потому что

вы вызывали меня по экстренному делу подворных описей, а г. непременный член не указал цели своего вызова... В обоих случаях я был далек от непочтительности к вам.

— А ведомости о движении дел? — спросил исправник.

— Согласно инструкции они направляются в присутствие по крестьянским делам.

— Какой инструкции?

— Присутствия по крестьянским делам. В ней сказано, что так как большинство дел волостных правлений подлежит контролю присутствия, то ведомости следует адресовать туда...

— И мне — необходимо!

— Слушаю-с. До сих пор не было от вас приказаний.

Наступило томительное молчание.

— Угодно вам преподать мне еще какие-либо указания? — спросил я.

— Пока ступайте!.. После я еще поговорю с вами!

Я отвесил низкий поклон и вышел...

На другой день в воинском присутствии предводитель дворянства сообщил мне:

— Исправник находит, что по всей вероятности вы — политически неблагонадежная личность... Вчера он послал в Балтай отобрать паспорт у г-жи Говоровой.

— Она уехала.

— Кстати. Сенотов горой стоит за вас, и я пользуюсь этим, чтоб успокоить исправника...

— Вчера я говорил с ним. Корень зла — соревнование власти по назначению с властью по выбору... Не знаю, удалось ли мне рассеять его предубеждение...

Исправник больше не вызывал меня, и я только почтительно раскланивался с ним, когда он приходил в присутствие по приему рекрут.

Василий Михеевич не вытерпел, сходил таки к нему и рассказал мне о своем свидании.

— Пришел я к нему и спрашиваю: — Ну, что? По ушам бить не пришлось нашего писаря? — «Да ну тебя! — ответил с сердцем: — Почтенный ты человек, — говорит, — Василий Михеевич, а все думаешь: исправник и волостной старшина — в одном чине»... Я посмотрел на него и говорю: — Как исправник, ты мне не нужен, а как волостной старшина — я тебе... Какие тут чины? Одно знакомство. — Все же простились по-хорошему. Так полагаю, он отвалился от тебя.

Вскоре исправнику пришлось, действительно, «отвалиться».

Балтийским крестьянам предстояло вместо ненавистного Юдина избрать сотским другое лицо и нанять новое помещение для «вз'езжей квартиры», более удобное и дешевое, чем старое. Относительно этих вопросов в волостном правлении имелись два предписания станового пристава Добровольского, сочиненные им в последние дни своей службы. Одно гласило, что «на основании приказания г. вольского уездного исправника, строжайше предписывается об'явить крестьянам с. Балтая, что полицейским сотским безусловно должен быть избран Юдин, под страхом, что всякое другое лицо не будет утверждено полицейским управлением». В другом говорилось, что на основании тоже приказания г. исправника «вз'езжая квартира» должна остаться в том же доме, где была, и прибавлялось: «только гг. чиновники могут судить об удобствах

помещения, а не крестьяне, обязанные лишь платить за него». Такая забота Добровольского об Юдине и прежнем содержателе «вз'езжей квартиры» об'яснялась тем, что ему не хотелось расставаться с первым, в любой момент готовым предать своих избирателей, и ожидалась «благодарность» от второго, если удастся повлиять на крестьян в его пользу.

Для меня было ясно, что предписания станового пристава не имели никакого отношения к исправнику, да и раньше, по справкам, он никогда не вмешивался в такие дела.

Я решил с'ездить в г. Вольск переговорить с исправником.

Он принял меня на своей квартире довольно сдержанно.

— Я явился просить ваших указаний по двум случаям, — сказал я. — Балтайские крестьяне волнуются по поводу вмешательства полиции в их «мирские» распорядки относительно избрания сотского и найма «вз'езжей квартиры»...

— Что? Что такое? — встревожился исправник. — Сядьте, расскажите толком!

— В волостное правление поступили два предписания пристава Добровольского: в одном говорится, что вы приказываете избрать вторично сотским Юдина, а в другом — что «вз'езжую квартиру» менять не разрешаете... Крестьяне не соглашаются ни с тем, ни с другим...

— Да откуда он взял все это, старый жеребец! — вскрикнул исправник. — Никакого Юдина я не знаю и знать не хочу... И о «вз'езжей квартире» и не говорил с ним... Вообще я не вмешиваюсь в эти дела.

— Вот его предписания! Извольте взглянуть!

Исправник читал и трясся от негодования.

— Ничего подобного! Все это он выдумал: получил, очевидно, взятку!.. Послушайте, отдайте мне эту дребедень! Ведь это — срам, если при ревизии волостного правления попадутся такие документы!

— К сожалению, я не могу исполнить ваше желание: предписания занесены во входящий журнал, и я рискую попасть под суд за уничтожение официальной переписки.

— Ну, засуньте их, пожалуйста, куда-нибудь подальше!.. Вот негодяй, как отблагодарил меня за мое заступничество!.. Передайте крестьянам, пусть делают, как хотят... Успокойте их: мне и в голову не приходило навязывать им сотского и вмешиваться в наем квартиры. Все это — проделки Добровольского!

Исправник возвратил мне «предписания».

Я положил их в карман и, поднявшись с места, проговорил:

— Извините, что я вас обеспокоил... Имею честь кланяться.

— Очень, очень благодарю! — выразительно сказал он, пожав мне руку.

Он проводил меня до выходной двери и еще раз удостоил рукопожатия.

Глава третья

НЕТ ЛИ ГДЕ БУНТОВЩИКА

На другой день он должен был окончательно убедиться в моей «политической благонадежности».

В присутствии по крестьянским делам я познакомился с секретарем присутствия, производившим

приятное впечатление простотой обращения. Он рассыпался в любезностях и между прочим сказал:

— Хотелось бы поболтать с вами подольше!.. Не посидим ли в трактирчике?

Я выразил готовность, и он указал мне трактир, куда обещал притти в девятом часу вечера.

Мы сошлись одновременно.

— Вы не думайте, пожалуйста, — сказал он, что я навязываюсь на угощение... Мы по-товарищески, на половинных расходах...

— Только вы распоряжайтесь: я не знаю здешних порядков.

Секретарь позвал полового, заказал ему порцию чаю с лимоном и коньяком, бутылку очищенной водки и две порции рыбной селянки на сковороде.

— Будет, я думаю? — спросил он.

— Для меня много: я не пью...

— Как не пьете! Волостной писарь — и отрицаете напитки?.. Ну, знаете, для первого знакомства вы должны выпить со мной.

Подали чай. Я спросил хлеба и сливок.

— Это с коньяком-то! — изумился секретарь.

— Я не люблю чаю с коньяком.

— Рому можно взять.

— Со сливками лучше.

— Вы так говорите, что я должен допустить ваше знакомство с напитками.

— К сожалению, было очень близкое и пришлось познать нужду во всех видах...

Секретарь пил чай с коньяком, вливая в стакан целую рюмку.

— Может быть, вы одного коньяку выпьете рюмочку?

— Ох, не соблазняйте! Это был раньше мой любимый напиток!.. Признаюсь, я и теперь смотрю на него с вожделением...

— Ну, так выпейте!.. Ну, что стоит — одну рюмочку? Пожалуйста, нарушьте ваш зарок!.. А то одному как-то неловко пить... Убедительно прошу вас.

— Коньяк — ни в каком случае... Очищенного разве только для вас.

Я налил рюмку и выпил залпом, закусив сахаром, как пьяница.

— Ну, спасибо!.. Скучновато жить, не правда ли? Вы кончили курс в духовной семинарии... Я тоже из кутейников... Добролюбовым хотел быть да ошибся... Из нашего сословия много дельных людей выходит...

— И пьяниц много... по бесхарактерности больше.

С этими словами я налил две рюмки, сказав:

— Вот вам доказательство!.. Крепился, крепился и прорвало.

— За компанию можно... Вы раньше где служили?

— Ох, и не спрашивайте! Был в консистории — спился, в полицию попал — хуже запил: выгнали!.. Если рассказать вам про мое пьяное бытие — не похвалите!

— Ну, знаете: «Не судите да не судимы будете»... Давайте хлопнем еще!

Он налил рюмки. Я поставил их рядом и сказал:

— Дядя есть у меня — поп. Так тот без благословения ни одной рюмки не проглотит... Осенит крестом и скажет: «Изыди все нечистое, поганое, останься лишь хмельное, пьяное»... За ваше здоровье!

Подали селянку.

— А то помните: «рыба по суху не ходит»?—спросил секретарь.—Надо блюсти традиции. Не так ли?

— Что ж!.. Давайте!.. Господи, благослови перненькую!

— После выпитых... ха-ха-ха!

— Ну, конечно.

Вторая бутылка водки подходила к концу. Секретарь заметно осовел.

— Я к вам в гости приеду. Хотите?

— Рад буду. Угощу вас на славу.

— А знаете, исправник вас считает неблагонадежным человеком...

— Насчет выпивки? Ошибается.

— Нет. «В Страхове, — говорит, — бунтовщик сидит. За ним смотреть и смотреть надо»... Да... Эти полицейские по нынешнему времени то-и-дело поднимаются на цыпочки: нет ли где бунтовщика?.. Взяток не берешь — и бунтовщик...

— То-то он пристава Добровольского любил!

— Да, ссадили негодяя... Слава богу!

— Опорожним-ка по одной за упокой его души.

— Идет...

Мы выпили по рюмке и спросили пива.

— Признаться, благонадежности во мне мало, — сказал я. — Сколько превращений было в жизни, — уму непостижимо! Чиновником был, приказчиком был, письмоводителем станового пристава был, сельским писарем был — и все это, так сказать, ради отдохновения от пьянства... Раз в политику чуть не влопался, наотмашь хотел двинуть полицеймейстера — да добрые люди удержали.

— Ха-ха-ха! Простота духовная: разве это — политика?

Я рассказывал ему небылицы в лицах. Он говорил со мной уже на «ты». От смеси водки, коньяку и пива

он был близок к потери сознания. Мы сидели на диване. Он обнимал меня и заплетавшимся языком бормотал:

— Знаешь Витевского, царевщинского писаря?

— Мы — соседи.

— Приятель мой!.. Выпивали, когда он служил здесь у нотариуса Фролова... Вот любит его исправник!.. Я говорю: Страхов по делу не хуже... хочу завести с ним знакомство. И что же? Глуп он... Как хочешь, не из умных! «Угости его в трактире, — говорит, — не расстегнется ли?»... Дурак! Расстегнись-ка на сквозном ветру — чахотка и больше ничего!.. «Может, — говорит, — и семинарии-то не нюхал»... Ха! Еще исправник!.. Я в Самогитском полку... в мундирах все... у-знал семинариста... А он? Одень тебя во фрак... что фрак?.. в камергерский мундир... как был семинарист, так и умрешь... Без рассудка!.. Тоже уши любит... пока не попал на хорошего борова... Уши? Я сам люблю уши... да какие?.. Хорошенькую женщину приятно взять за ушко... У жареного поросенка тоже... Милый! Давай закажем поросенка и еще бутылочку...

Но есть поросенка не пришлось. Секретарь все дальше и дальше отходил от членораздельной речи, упал на диван и заснул... Я позвал полового и расплатился за ужин.

— Выпить любят, а слабоваты! — сказал он про секретаря.

— Вы не будите его... Пусть отдохнет!

— Зачем будить! Подушечку дадим... Хороший господин, добрый.

В ту же ночь я выехал в Балтай, крайне недовольный, что ради устранения от себя подозрений в политической неблагонадежности, пришлось хитрить

с испраником и разыграть пьяницу в обществе секретаря присутствия по крестьянским делам. Какая опасность в том, что совершено мною в Балтае до сих пор?.. «Не берешь взяток — и бунтовщик» — резюмировал секретарь впечатления действительности... Какой прискорбный вывод!

*

Исправник, очевидно, убедился в моей политической благонадежности. Для деревни готовилась «реформа», и она появилась в форме «института урядников». Чтобы пустить в ход это колесо, исправнику пришлось прокатиться по всему уезду, набирать подходящих людей и знакомить их с обязанностями по особой инструкции, заботливо выработанной в Петербурге. Исправник приехал в Балтай. Когда я пришел к нему на «вз'езжую квартиру», перед ним стоял на вытяжку молодой человек, оказавшийся кандидатом в урядники. Исправник был рассержен.

— Олухи! Ничего понять не могут! — говорил он, пожимая мне руку. — Вот — господин Балтайский волостной писарь. Если не разберешься в чем-нибудь, не будешь знать, как поступить, обращайся к нему за приказаниями... Слышишь?

— Слушаю, ваше высокородие! — ответил по-солдатски урядник.

— Теперь ступай, скажи, чтобы мне лошадей подали.

— Слушаю-с, ваше высокородие!

Когда урядник скрылся, исправник встал с кресла и прошелся по комнате с очень озабоченным видом.

— Серьезное дело, а людей нет, — сказал он, остановившись передо мной. — Становые пристава все

остолопов каких-то набрали... Знаете — что? Поступите вы в урядники! Вот клянусь перед богом (он перекрестился на образ), через полгода будете становым приставом!

Я положительно не нашелся, что ответить.

— Конечно, жалованья маловато: 300 рублей в год; зато — карьера! Разве можно высидеть что-нибудь в волостных писарях?

Я продолжал молчать.

— Что вы молчите?

— Сразу не могу разобраться...

— Вы подумайте! Кстати приглядитесь к деятельности нашего урядника.

Такое же предложение исправник сделал и Ю. Н. Богдановичу. Тот отказался под предлогом, что хочет поступить опять в землемеры.

— Что же вы не сказали мне об этом? — воскликнул исправник. — Я могу найти вам хорошее место по землемерной части.

Богданович попал в худшее положение, чем я.

Глава четвертая

НИ К ЧЕМУ ВСЕ ЭТО

В качестве волостного писаря я мог наблюдать, как отражаются на крестьянах распоряжения начальства — совершенно неожиданные и лишние с точки зрения деревни.

Ранней весной 1879 года администрация трех губерний — Самарской, Саратовской и Астраханской — была приведена в движение, благодаря строжайшим распоряжениям графа М. Т. Лорис-Меликова [32], назначенного

в этом году генерал-губернатором этих губерний с особыми полномочиями для ограждения России от чумы, якобы свившей себе гнездо в с. Ветлянке, Астраханской губернии. В предписаниях рекомендовалось, конечно, чистить дома, улицы, дворы, избегать заражения колодцев и рек разными отбросами и т. п.

Сами по себе, эти меры не представляли новизны, потому что и заботы о предупреждении холеры сводились к указаниям на необходимость везде и всюду чистоты и опрятности. Новизна и оригинальность сказались в том, что низшая администрация свои требования сплетала с угрозами военным положением («чуть что — к расстрелу!»—переводили крестьяне) и в лице становых и исправников то-и-дело «рыскала» по волостям для проверки исполнения строжайших повелений.

В Балтае о ветлянской чуме ходила сказка. Рассказывали (преимущественно бабы), что один казак убил на войне богатого турка, снял с него чалму, свитую из турецкой шали, и решил отвезти ее в гостинец жене. В Ветлянке казачка, получив подарок, пошла «бахвалиться» по селу. Бабы набросились на нее, щупали шаль, примеряли — и в результате хозяйка шали и все любопытные заразились чумой и умерли.

— Как же казак-то вез шаль — и цел остался? — спрашивали скептики.

— Чай, он вез ее в кожаной суме...

— А в Туретчине развертывал и складывал — и ничего?

— Там климат не тот!

После такого ответа сомнения делались лишними.

Других сведений о чуме не было. Газеты высказывались очень сдержанно с слабыми намеками на то,

что Ветлянка едва ли представляет большую опасность, требующую исключительных мер... И вот при отрицательном отношении крестьян к распоряжениям относительно чистоты наш исправник появляется в Балтае каждую неделю, а становой пристав — чаще. Оба бегают, суетятся, осматривают древний склад навоза на дворах, в переулках, по берегу реки. Исправник раздражается, выслушивая замечания крестьян в роде: «Ни к чему все это» или «Времени у нас не больно много навоз-то чистить: сколько лет лежал— бог миловал!..» Он кричит, грозит военным положением, позволяющим ему пригнать роту солдат для уборки навоза на их счет.

— И деньги за работу заплатите по высокой цене, и сколько кур с'едят у вас на постое! — пугает он последствиями вызова солдат...

Крестьяне крайне вяло принялись исполнять приказания начальства. Недовольные, они порой вымещали досаду друг на друга и только затягивали работу, избегая взаимных уступок. Раз два соседа пришли в волостное правление разобраться, кому убирать навоз, плотным слоем лежавший в проулке между их домов.

— Ну, что вы, господа, — упрекнул я их, — не считались, когда засоряли проулок, а теперь работу хотите свалить друг на друга... Да вы сообща очистите проулок!

— Мне обидно супротив него, — сказал один, — у него скота близко вдвое, чем у меня.

— По навозу видать, чей он, — ответил другой. — Разве у меня были когда овцы?

Для предупреждения таких дрязг вопрос об очистке улиц и проулков пришлось перенести на усмотрение сельского схода, где он и был решен в смысле уборки

навоза рабочими по найму с раскладкой расходов по «душам».

Исправник продолжал ездить и не только словесно, но и печатно старался убедить крестьян в необходимости санитарных мероприятий для борьбы с чумой. Он привозил вороха «об'явлений» и приказывал развешивать их по стенам в местах сборищ крестьян, не исключая кабаков, и раздавать на руки духовенству, должностным лицам и грамотным крестьянам.

В об'явлениях говорилось о бактериях, гигиене, дезинфекции: иностранных слов было больше, чем нужно.

Вскоре исправник убедился, что никакое военное положение не облегчит ему прививки мужику сознания о вреде навоза, об опасности пить воду из реки, где мочат кожи, о необходимости дезинфицировать шкуру павшего скота и пр. В Балтае, где было 12 кожевенных заводов, он столкнулся с одним заводчиком, очень упорным, решительным человеком и круглым невеждой. На все замечания исправника у него находились доводы, поражавшие своей неожиданностью.

— Ты мочишь кожи в реке, откуда берут воду для питья, — говорит исправник. — Этого нельзя делать: ты отравляешь воду...

— Какая же отрава, ваше высокородие, когда, примерно, я кожу — в реку, а баба с ведром тут пришла зачерпнуть для самовара, потому как с такой воды крепче настой!

— Ну что ты мелешь!

— Извольте спросить наших баб!..

— У тебя в квасильных чанах вонь такая, что тошнит... Надо полоскать чаны и менять раствор!

— Известно, ваше высокородие, с непривычки, может, и вонь... А только вреды в ней нету... Мы завсе на язык пробуем, каков рассол...

— Вот еще насчет шкур... Вероятно, тебе попадаются и с больных, дохлых животных... Необходимо обезвреживать их. Иначе ты можешь заразить здоровый скот.

— Это зря болтают о заразе, ваше высокородие... У меня — лошадь. Какую привычку взяла! Как привезу шкуру, брошу в сарай, — она сейчас подойдет и оближет всю мездру... Извольте посмотреть лошадку: печь-печью!

В другой раз после разных толков, возбужденных «об'явлениями», тот же кожевенный заводчик упрекал исправника:

— Вовсе житья не стало, ваше высокородие. Приказываете дикую спекцию заводить... А где ее взять? Да и денег она, чай, стоит... А не купишь — геeной стращаете.

— Что ты чушь порешь? Какую дикую спекцию я велю заводить? Какой геeной стращаю?

Я об'яснил исправнику, что дикая спекция — это дезинфекция, а геeна огненная — гигиена.

— Дур-рак! С тобой нельзя по-человечески говорить. Пошел вон!

Исправник в волнении сновал по комнате, обернулся ко мне и, всплеснув руками, проговорил:

— Вот извольте насаждать между ними санитарию!

Чем больше кипятилось начальство, чем больше оно тратило слов и бумаги для внушения крестьянам опасности от чумы, тем как-то равнодушнее относились они к этой смертоносной болезни, признавая лишь «стеснения», «прижимки», «лишние расходы»...

Мысль крестьян работала в другом направлении.

Вот какие разговоры мне приходилось вести.

— Зря это к мужику-то лезут с чумой. С другого конца надо бы подойти... Может, кому и на пользу чума.

— Кому же может быть на пользу мор?

— Известно, кому не охота поступиться своей земелькой, тот и пущает эту холеру, чуму, чтоб, значит, народу поубавилось... Мне, к примеру, надо земли на семь душ, а у меня только на три... Сократи-ка мою семейку, — разве я буду скулить о нарезке?

— Эх, ты, Фалалей-дуралей! Не далеко ходить — возьми царевщинских крестьян. Они тоже «скулят о нарезке», между тем арендуют землю у графа, работают у него: кто — из-полу, кто за деньги. Какой же расчет графу холеру или чуму напускать на своих мужиков? Кто же тогда у него будет работать, арендовать земли? Из других мест не выпишет, потому что и там эта боль половину мужиков уберет...

— А вот в Царицынском уезде доктора колодцы отравляли. Тут же убили их мужики...

— Не мужики, а дураки, скажи — безголовая сволочь! Доктора-то ведь первые лезли в избы больных спасать, первые заражались... Какая нужда была им итти в деревни лечить крестьян, если они хотели травить народ?

— Деньги им платили за это.

— За что?

— Да за отраву.

— Дура! Подошел к колодцу, бросил отраву и иди получать деньги... Зачем же в избу лезть, растирать больного, грелки к ногам ставить, лекарство давать?.. Раскинь-ка мозгами!

— Народ говорит... я не больше знаю...

Эта уверенность в умышленном сокращении населения, между прочим, связывалась с турецкой войной. Если бы взяли Константинополь, как хотел Скобелев [33] («ведь он—из мужиков»), то с турок получили бы миллионы. Деньги пошли бы на расплату с помещиками за их землю, давно предназначенную крестьянам. Дело не выгорело в силу «измены», и вот теперь «вертят и туда и сюда», чтобы сказать: «хватит и той земли, какая есть».

Фантастических рассказов о приемах «изничтожить мужика» было очень много, и один нелепее другого. Я приведу только один из балтайского творчества, потребовавший моего вмешательства, чтобы оградить человека от печальных последствий глупейшей выдумки.

Однажды ко мне пришел солидный крестьянин и сообщил:

— А знаешь, Александр Иванович, мор-то на людей еще летось должен быть, да ямщикова сноха отвела — повернула на коров.

— Что же она сделала?

— Видишь, в позапрошлом году заехал на станцию барин лошадей менять... Заказал себе самовар, яичницу — все как быть должно. Ямщикова сноха ему прислуживала. Подала самовар, яичницу, он ей и говорит: «выпей со мной чашечку чайку: одному скучно»... Она села—бедовая бабенка. Слово за слово, он ей и брякни: «Вот, говорит, тебе моя бутылка, продай мне своего женского молока. Я тебе 30 рублей дам».. И деньги выложил, три красных... Она, дура, и соблазнись! «Только говорит, барин, я при вашей милости чиркать не стану, в чулан пойду»... Пошла в чулан, а там бог ее надоумил:

влила коровьего молока. Приносит. Барин расплатился с ней честь-честью... Уехал. Выехал за село и говорит Федюшке-ямщику: «Остановись, парень, приляг к земле: что услышишь?» Тот слез с козел, припал к земле: «Коровы ревут», говорит... Барин как всплеснет руками и говорит: «Ах, она — подлая! Должен быть мор на людей, а будет на скотину»... Видишь, что делают, а?

— Ну, сообрази ты, зачем барину женское молоко и как можно им напустить мор на людей?

— А кто ж их знает, прибавляют, видно, чего...

После ухода этого легковерного старца я спросил хозяйку дома, где жил:

— Ты слышала что-нибудь про сноху земского ямщика?

— Как не слыхать! — ответила женщина. — Семь шкур с нее надо спустить, да и того мало... Вот что сделала!

— И ты веришь!

— Как не верить? Ведь был же летось падеж скота!

— Я разберусь в этом деле.

— Разберись! Да под суд ее, плеху, чтобы отодрали хорошенько.

— Ведь нынче не секут женщин.

— Такую мо...ожно!

Ожесточение баб было ясно.

Я пошел повидать «злодейку». Из расспросов этой красивой, высокой женщины, ямщика и Федюшки выяснилось, что в позапрошлом году летом действительно заезжал на станцию... не «барин», а приказчик торговца скотом. Он ждал, не догонит ли его хозяин, загулявший в дороге, а пока что заказал самовар и яичницу. Перед закуской выпил, и «здорово выпил из плетеной бутылочки». Сел чай пить под хмельком,

усадил с собой бабу («она шустрая, дьявол») и все уговаривал прокатиться с ним до Вольска... Перед от'ездом приказчик попросил налить ему в дорогу молока в бутылку. Она принесла кринку из чулана—надо бы из ледника, да поленилась... Когда наливала, он, жеребец, шепнул: «хорошо бы твоего молочка» и указал пальцем — откуда...

— И тридцать рублей давал? — спросил я.

Женщина со слезами и досадой ответила:

— Дава...ал, да не за молоко.

Выехав из села, приказчик действительно велел Федюшке прилечь к земле — что услышит («видать, хозяина-то все ждал»). Гнали из поля скотину он и сказал: «коровы ревут».

— Поехали было, а барин велел придержать лошадей: молочка выпить захотелось... Глотнул, выплюнул и рявкнул: «Ах, она подлая! Кислого молока дала... Только людей морить».

— А насчет скота говорил что-нибудь?

— Спрашивал, нет ли мора?.. Тогда бог хранил...

Вот что было в позапрошлом году, и о чем тогда баба безбоязненно разболтала всем. Но тогда было время без «диких специй», а теперь были тревожные дни, и мужик ударился искать истинных причин появления чумы: пригодилось в руках барина и женское молоко...

Глава пятая

ЧЕРНЫЙ ПЕРЕДЕЛ ЗЕМЛИ

В это время правительство было убеждено, что только «злоумышленники» (так переводилось слово: «революционеры») распространяют в народе слух,

будто вся земля помещиков будет отдана крестьянам— потому мужики и ждут какой-то «нарезки» или «черного передела». Известный циркуляр министра внутренних дел Макова [34] — одна из ярких иллюстраций заблуждения правительства.

В действительности «злоумышленники» никогда не распространяли и не поддерживали этого нелепого слуха. Они понимали, что вера народа в переход дворянских земель в его руки ослабляет силу его недовольства малоземельем, делает невозможным какие-либо самостоятельные домогательства с его стороны... Утрата этой веры могла дать «злоумышленникам» то, о чем они мечтали, и укреплять эту веру, сложившуюся без всяких сторонних влияний, был бы логический абсурд с их стороны.

*

С течением времени, когда наступило затишье после «чумного» настроения, стали исчезать рассказы об умышленном сокращении народа и заменяться обычными повествованиями на тему: «как ни вертись господа, а придется поступиться».

Как-раз в эту полосу ожиданий попало окончательное решение Сенотова купить садовским крестьянам землю у помещицы Александровой. Год тому назад они находили его предложение даже благодеянием для себя, но тогда колебалась барыня, все прикидывала да примеривала, и покупка не состоялась. Теперь она сама пошла навстречу, не запрашивала, не торговалась, просила лишь скорее кончить дело. Зато в этот раз крестьяне, не вдаваясь ни в какие расчеты, прямо заявили:

— Надо подождать... Ишь ей приспичило!

Я выяснил себе значение для Садовки проекта Василия Михеевича и стал защищать его в разговорах с крестьянами.

На первом же сельском сходе по этому делу обнаружились мотивы предложения «подождать». Особенно проницательным оказался отставной солдат, служивший в Петербурге и намекавший на свою якобы близость к вернейшим источникам всяких предначертаний.

— Бывало на карауле стоишь и слышишь, что господа промеж себя говорят.

На сходе он первый выступил с протестом против сделки с Сенотовым.

— Что ране барыня-то не скакала, — убеждал он крестьян, — а теперь верещит: «родимые, не томите, давайте скорей деньжонки»... Пронюхала?

— Что пронюхала? — спросил я.

— Мне ль не знать! Чай, в Питере не раз слышал... Узнала, что земля ее и так отойдет к нам, вот и торопится продать, пока закон не вышел...

— Что-то тянут больно с этим законом! — заметил крестьянин. отделавшийся от суеверия оптимистов.

— Из-за войны останова была... А теперь опять дело повернулось по-старому... Не долго ждать!

— Что ж, мужики, будем просить Василия Михеевича повременить... Чего зря ей деньги совать, — сказал один старик.

— Вот что, служивый, — обратился я к нему, — хотя в Питере я не был, на карауле не стоял, а знаю, что господские разговоры ты слушал не ухом, а брюхом (у вас в роте, наверно, так фельдфебель говорил): господа-то. что сами на карауле бывают, говорят: никогда не будет такого закона и мужики зря ждут его...

Василий Михеевич знает это — вот почему и хочет не упустить случая купить земли для вас по сходной цене... Он сказал мне, что если вы не согласитесь на его предложение, он все равно с Александровскими угодьями не расстанется: «после, — говорит, — мужики одумаются»... Может он купить эту землю?

— Сколько угодно.

— Тогда какого же закона ты будешь ждать?

В конце концов авторитет Василия Михеевича взял верх над осведомленностью солдата, и на третьем сходе ему дали уполномочие приобрести Александровские земли на имя общества крестьян с. Садовки.

Глава шестая

СОЧУВСТВИЕ ЛИБЕРАЛЬНОГО ЧИНОВНИКА

В это время Юрий Богданович вел агитацию среди крестьян своей царевщинской волости с целью об'единить работавших в экономии графа требованием повысить заработную плату на все полевые работы, а «испольщиков» — согласием продолжать работу на новом условии: вместо половины хлеба, полученного их усилиями, отдавать графу только одну треть.

О замыслах крестьян под влиянием волостного писаря стало известно управляющему графа, и он воспользовался проездом через Царевщину Н. М. Кострицына, чтобы переговорить с ним по этому поводу. Непременный член, не возлюбивший Богдановича, как ставленника исправника, предложил управляющему прислать ему официальную жалобу на действия волостного писаря и отказался от всяких об'яснений с самим Богдановичем.

— Исправнику не везет с волостными писарями, — говорил мне Кострицын, когда заехал в Балтай из Царевщины: — один растрату учинил, другой допился до белой горячки... Теперь Витевский, его любимец, захотел обездолить свою волость организацией стачки среди крестьян, работающих на экономию графа, и его «испольщиков»... Кончится его выдумка тем, что крестьяне лишатся заработка и станут нищими. Я велел управляющему прислать мне жалобу, и настою в присутствии по крестьянским делам на увольнении Витевского от должности...

Сердце мое замерло.

— Для меня крайне тяжело, — сказал я, — лишиться Витевского, самого близкого мне товарища...

Кострицын не дал мне кончить.

— Вы заблуждаетесь... Он не может быть вашим товарищем, потому что сделал на вас донос исправнику.

— Какой донос?

— Да, вы не знаете, а мне сам исправник говорил, что именно от Витевского узнал все подробности вашей борьбы с этим торгашом — как его? — из-за винного склада...

Я невольно рассмеялся.

— Николай Михайлович! Витевский сделал это по моей просьбе, чтобы предупредить извращение фактов Мироновым... Сенотов с той же целью ездил к предводителю дворянства... Вам говорил об этом Николай Петрович?

Кострицын ответил как-то машинально:

— Да, говорил...

Видимо, он был подавлен открытием, что Витевский действовал со мной солидарно, а он признал его

доносчиком, и в зависимости от такого представления о нем относился к нему крайне несправедливо.

— В доказательство, что мы с Витевским—товарищи,—сказал я,—приведу вам факт: мы сообща обсуждаем все балтайские и царевщинские дела, и стачка царевщинских крестьян так же близка мне, как Витевскому была близка наша борьба с Мироновым... Давно пора повысить заработную плату в экономии графа, и Витевскому передали из конторы экономии, что один слух о стачке уже заставил управляющего заявить: «пожалуй, придется увеличить плату»... Если полиция обратит внимание на ваше представление о Витевском, то расследование его действий заденет и меня... Я покорнейше прошу вас не давать хода жалобе управляющего, для вас это тем более возможно, что вы сами заставили его послать...

Кострицын молчал, опустив глаза.

— Точно так же я прошу вас не расхваливать меня в пику исправнику, вообще своими отзывами не обращать на меня внимания членов присутствия и других. Секретарь присутствия по крестьянским делам говорил, что однажды панегириком мне на ряду с отрицательными отзывами о писарях, рекомендованных исправником, вы привели его в бешенство... Отсюда — один шаг до расследования моей политической благонадежности.

— Послушайте, — после некоторого молчания сказал Кострицын, — все, что я сейчас слышал и знаю о вашей... как хотите... во всяком случае, не обычной деятельности волостного писаря, заставляет меня задать вам нескромный вопрос... Верьте, в моем любопытстве нет ни малейшей примеси полицейской любознательности: вашим ответом я хочу лишь определить собствен-

ное поведение, чтобы где-нибудь не сделать ложного шага... Скажите: вы...

Николай Михайлович искал подходящего слова.

— Не из «эдаких» ли? — как говорят балтайские «кулаки»... Да, из «эдаких»...

Совершенно неожиданно Николай Михайлович встал, обнял меня и расцеловал.

— Как давно я хочу встретить людей вашего типа,— говорил он, волнуясь. — И вот наконец удалось!!. Не вы ли были и в Самарской губернии?

— Да, мы: Витевский, я и Печкарев.

— И Печкарев — ваш товарищ?

— Да.

— Ради бога!—воскликнул Николай Михайлович.— Скажите Витевскому, что я глубоко извиняюсь перед ним за свое несправедливое отношение к нему... Я буду употреблять все усилия, чтобы ограждать его от неприятностей, как и вас... Кстати, дайте мне свой паспорт: ведь он фальшивый? Если у вас спросят его (исправник один раз порывался), то скажите, что представили мне при прошении об определении вас на службу...

Кострицын был так взволнован всем, что обнаружилось в это свидание со мной, что в разговоре, точно после продолжительной разлуки с близким человеком, перескакивал с предмета на предмет...

Я принес свой семинарский аттестат и, передавая его, сказал:

— Чтобы выразить вам мою признательность и доверие, я скажу вам, кто я. Я назвал себя.

— Ну, храни вас бог! — с чувством произнес Кострицын, перекрестил меня и снова обнял.

Глава седьмая

ЗАКАБАЛЕНИЕ КРУГОВОЙ ПОРУКОЙ

Во второй половине марта 1879 года в волостное правление явился представительный мужчина, высокого роста, хорошо одетый и отрекомендовался управляющим имения графа Шувалова, того имения, где булгаковские крестьяне снимали покосы. Я пригласил его сесть и спросил, чем могу служить. Он вынул из кармана мелко исписанный лист писчей бумаги и, подавая мне, сказал:

— Условие по найму ваших крестьян на работы... Прошу записать в «Книгу сделок и договоров»... Плата обычная: десять рублей вам.

Я читаю условие и изумляюсь. Сто крестьян нашей волости, большинство из с. Асановки, где было много голытьбы, шли на покос и полевые работы, принимая на себя тяжелые обязательства, за круговой порукой друг за друга. Слово «штраф» попадалось на каждой строчке. Прогулы и отсутствия по болезни восполнялись артелью и т. д. Условие было подписано управляющим и сельским писарем Асановки за неграмотных крестьян, какими оказались все сто человек.

— Я должен вызвать всех крестьян и опросить, согласны ли они принять ваши условия, — сказал я.

— Как опросить? — почти крикнул управляющий.— Значит вы подозреваете, что договор представлен вам без их согласия? Вы говорите нечто несуразное, г. писарь!

— Я ничего не подозреваю, г. управляющий, а только исполняю закон, требующий присутствия обеих сторон при заключении условия. Вы—здесь, а крестьян—нет.

— Раньше я никогда не встречал препятствий, и мне свидетельствовали договоры, вполне полагаясь на мои слова...

— Теперь очень строго. Присутствие по крестьянским делам не допускает ни малейшего отступления от правил.

— Когда же я дождусь ваших крестьян! Неделю прикажете жить?

— Завтра утром они все будут здесь.

Я встал, давая понять, что прием кончился.

— Не знаю, удастся ли вам собрать так скоро сто человек! — сказал управляющий и вышел, даже не кивнув головой.

Крестьяне уже привыкли отзываться немедленно на приглашения волостного правления, зная, что если их зовут, то по серьезному делу, и непременно — в их интересах. Иначе или волостной писарь заехал бы в село или передал что нужно через сельского старосту.

Я послал нарочного в с. Асановку и д. Никулино передать мое приглашение нанятым крестьянам, а сам поехал к волостному старшине сказать о приезде управляющего и возможном столкновении.

— И крепостного права нет, — проворчал Сенотов, — а все графские бурмистры хотят командовать... Ладно, приеду завтра пораньше.

Утром волостное правление стало наполняться народом, приехал и старшина, а управляющий «заспался на вз'езжей квартире». В его отсутствие я проверил, все ли крестьяне явились, и передал им содержание договора.

— Ишь чего вбухал туда, — заметил один, — говорит одно, а пишет другое, вертят нашим братом, как вздумают.

Пришел управляющий; поздоровался со старшиной за руку, а мне лишь кивнул головой издали и обратился к крестьянам:

— Это не я согнал вас сюда... Благодарите своего волостного писаря: его выдумка...

— Знать, надо, коли позвал, — ответил один из крестьян.

— И очень надо поговорить, — сказал я. — Управляющий имения графа Шувалова нанял вас на работы и просит засвидетельствовать условие. Он подписал его, а за вас расписался сельский писарь. Разве среди вас нет грамотных?

— Есть, мало-мало я маракую, Григорий Стрелков расписаться может, человек пяток, коли не боле, все наберется.

— Почему же за всех размахнулся писарь?

— Для скорости, видать, сунулся, кобель, услужить хотел...

Управляющий сердито чиркнул спичкой, закуривая папиросу.

— Так нельзя, — сказал я, — одного этого достаточно, чтобы признать условие незаконным... Ну, а читал вам управляющий или писарь, что тут написано?

— Нет. Управляющий сказал, как уговор был, так и значится.

— Ну, слушайте, я вам прочту.

Я стал читать и об'яснять каждый пункт.

— Вот здесь сказано, что если кто-нибудь из вас не приедет к сроку из деревни или захворает на работе или прогуляет день или два, то вы отвечаете за него своей работой. К примеру, вот ты на два дня задержался в Асановке, два дня был болен в экономии и день,

скажем, с похмелья, не выходил из казармы: согласны вы отработать за него пять дней?

— Дай бог за себя управиться, не то что за других работать... Пущай каждый за себя отвечает, — послышались ответы.

— Хворать в экономии дозволяется только три дня, и эти дни вы обязаны отработать за больного. После трех дней рабочий увольняется и, если за ним останется долг, то вы должны его отработать или вернуть деньги...

— Неужели все это прописано здесь!—раздался голос изумления.

— Из своей головы не выдумаешь! — заметил старшина.

— Что ж это, мужики! — возмущенно сказал кто-то в толпе: — Разве ж это условие? Прямо кабальная бумага!.. Пиши по совести, ваше степенство. Поотпусти удавку-то свою!

— Я не неволю: не хочешь работать — и не надо, — ответил управляющий.

— Ну-ка, дальше-то чего нагородил он? — спросил старшина.

— За каждую испорченную вещь уплачивается штраф от одного рубля и больше, смотря по стоимости. Например, изломали простые грабли — за них рубль платить?

— Не ломай, будь осторожен!—сказал управляющий.

— Да ты что же, господин, и на граблях хочешь нажиться? — спросил тот же протестант.

— Не твое дело — на чем я хочу нажиться... Молчи! — резко сказал управляющий.

— Как «молчи»! — чуть не крикнул Василий Михеевич.—Ведь ты его в оглобли вгоняешь, а не себя?..

— Продолжайте!—обратился ко мне управляющий.

На следующий пункт крестьяне ответили взрывом негодования.

— При подписании условия каждому выдается задаток в три рубля; остальные заработанные деньги уплачиваются по усмотрению экономии.

— Как по усмотрению! Этак ты и в другой год переведешь.

— Мне податя надо платить, а ты — по усмотрению!

— Деньги-то ведь мои, коль я заработал: и отдай! Смотреть тут нечего!

— Господа! — спросил я. — Может быть, вы согласитесь изменить этот пункт так: деньги выдаются в сроки, определенные по взаимному соглашению.

— Господин писарь! — сказал управляющий. — Работники могут согласиться, но соглашусь ли я? Вы должны спросить меня...

— Вы здесь сидите и можете делать какие вам угодно замечания.

— Благодарю вас за разрешение... Пользуюсь им, чтобы вам сказать: все ваше поведение при разборе пунктов моего условия показывает, что вы занимаетесь возбуждением крестьян против помещика... за это вас не похвалят.

Я взял со стола «Устав благоустройства в селениях государственных крестьян» и сказал:

— Я точно исполняю статью закона: «Волостное правление обязано отговаривать крестьян от невыгодных сделок друг с другом и частными лицами»...

Управляющий промолчал.

— Вам угодно сказать что-нибудь по поводу моего предложения крестьянам? — спросил я.

Он пропустил мимо ушей мой вопрос и непосредственно обратился к толпе:

— Когда вам нужны деньги, вы на все согласны, а ухватили — и на попятную!

Старшина пришел в сильнейшее возбуждение.

— Тоже подумаешь: много они у тебя ухватили — по три рубля на человека... Ты делайся по-совести, а не то—вот тебе твои деньги!

Он вынул из бумажника триста рублей и придвинул их к управляющему:

— Не туда, господин, ты заехал. Здесь обижать народ тебе не позволят.

— Вы, господин старшина, — с трудом выговорил управляющий, — ведете себя непозволительно дерзко... Я буду жаловаться на вас.

— С богом!

Управляющий встал, не взял денег и вышел.

На старшину посыпались благодарности за то, что «подрезал гордыню графского сосунка; авось, теперь посговорчивее станет»... Но скоро послышались тревожные замечания:

— А все же работишка нужна.

— Как махнет на нас рукой—куда денешься?

— Придет, — утешал Василий Михеевич, — было бы в уме уехать — сгреб бы деньги.

— Да и где работников сыщешь? — сказал я. — На базары не поедет.

Я предложил крестьянам составить новое условие: без круговой поруки друг за друга, с личной ответственностью каждого за неисполнение того или другого пункта договора, с признанием штрафа за порчу вещей в размере их действительной стоимости, с выдачей заработанных денег в определенные сроки и т. д

— Он непременно придет или пришлет спросить, какое условие может быть засвидетельстовано в волостном правлении, и я пошлю новое... Согласится!.. Всем ждать здесь нечего. Пусть останутся только грамотные. Они подпишутся за остальных. Василий Михеевич посидит здесь...

Крестьяне с уверенностью, что они попадут на работы, разбрелись по домам. Часа через два управляющий, действительно, прислал урядника спросить, не составлен ли договор согласно желаниям крестьян. Я послал новое условие.

Он подписал его. Крестьяне были очень довольны.

Когда условие было занесено в «Книгу сделок и договоров», я приготовил квитанцию на получение от управляющего 10 р. 10 к. и сказал уряднику:

— Отдайте ему условие и скажите, что запись условия в книгу стоит, по закону, 10 р. 10 к., по гривеннику с каждого участника в договоре.. Эти деньги—не в мой карман, куда он хочет сунуть взятку, а в доходы волости... Вот квитанция. Передайте ему.

Урядник принес деньги.

— Разозлили мы его,—сказал Василий Михеевич,—чай, поедет, с дуру, жаловаться. Только кто его послушает.

Глава восьмая

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОПАСНОСТИ

Управляющий, проездом через Вольск, действительно вел переговоры с исправником о необходимости обуздать балтайского волостного писаря, позволяющего себе бунтовать мужиков против крупного землевладельца.

Исправник рассмеялся.

— Вероятно, ваше условие не отвечало каким-нибудь требованиям закона, — сказал он. — Да, там у нас формалисты.

Иначе отнесся к жалобе управляющего жандармский полковник, сказав исправнику:

— Я хочу все-таки поручить моим жандармам наблюдать за этим писарем: слишком много говорят о нем...

И вот, два жандарма, сколько раз благодушно распивавшие у меня чай с легкой закуской и даже искавшие у меня сведений о степени политической благонадежности учителей и учительниц, явились в Балтай с предупреждением... В этот раз они не зашли ко мне в гости. Зато доискивались у крестьян, не даю ли я читать каких-либо книг, разгуливали с урядником и внушали ему тоже мысль о необходимости следить за мной.

На таких «ловцов» вдруг выбежал «зверь». Когда они поравнялись с крыльцом волостного правления, с него спускался крестьянин, рассматривая почтовую расписку.

— Что, деньги отправлял? — спросил жандарм. — А это — квитанция? Покажи-ка.

Расписка приковала к себе внимание жандарма.

— Деньги-то кто у вас принимает?

— Та-к! — многозначительно протянул жандарм, скрывая изумление: деньги принимает Говорова, расписывается Страховой... Что-то не чисто *.

---

* Выше я говорил, что все почтовые расписки я подписывал заранее.

Жандармы поспешили в Вольск с докладом начальству о своем открытии.

Жандармский полковник обратился к полиции с запросом, прописана ли на жительстве в селе Балтае вдова губернского секретаря М. И. Говорова; если не прописана, то просил прописать и прислать ему копию с ее паспорта.

Такое поручение было дано приставу 2-го стана, Гололобову.

Он приехал в Балтай одновременно с жандармами, сделавшими открытие, и послал урядника просить М. И. Говорову, захватив с собой вид на жительство, пожаловать к нему на «въезжую квартиру». Жандармы спрятались за перегородкой в ожидании новых открытий.

Между Марией Ивановной и становым приставом произошел такой разговор.

— Извините, пожалуйста, что я вас побеспокоил. В моем стане идет прописка паспортов частных лиц, и я заехал получить ваш вид для прописки... Вы—сестра здешнего волостного писаря?

— Да.

— Ваша урожденная фамилия?

— Страхова.

— Вы занимаетесь почтовыми операциями в волостном правлении? Кто выдает квитанции в отправке денег?

— Квитанции выдаю я, но на всех стоит подпись моего брата «А. Страхов», сделанная им раньше.

— Благодарю вас... Дня через два я возвращу вам паспорт через царевщинского волостного писаря: он должен быть у меня.

В тот же день урядник захотел меня порадовать. Он сообщил мне, что жандармы, сидевшие за перегородкой, сказали ему:

— Ах, как мы опростоволосились! Мы думали, что Марья Ивановна расписывается Страховой, а это Александр Иванович заранее ставит свою фамилию на всех квитанциях. Дали мы маху!

Последствия могли их утешить.

Через два дня Богданович приехал к нам с тревожным известием, что жандармский полковник решил проверить паспорт М. И. Говоровой по телеграфу... Необходимо было немедленно покинут Балтай. Вечером я был в Садовке для переговоров с Сенотовым.

— Приехал к вам проститься, — сказал я, — завтра утром уезжаю в Саратов к губернатору...

— Что ты выдумал? Зачем? — испуганно спросил Василий Михеевич.

— Сейчас был у меня Витевский, приехал прямо от станового... Шуваловский управляющий жаловался на нас жандармскому полковнику, главным образом на меня, говорил, что я — из бунтовщиков, и меня давно следует арестовать и выслать в Сибирь... Жандармы уж приезжали в Балтай разнюхивать... Управляющий собирался в Саратов к губернатору и грозил, что будет жаловаться своему графу... Вот я и хочу предупредить управляющего. Поеду и сам расскажу все губернатору.

— Чего ты испужался! Ничего тебе не сделают... Не то, хочешь — я поеду к губернатору (в Саратов-то мне давно надо по делам), свезу ему условие управляющего — сразу увидит, как он хотел оболванить наших мужиков; покажу и твое условие — бунт-то наш против графского кобеля!..

— Спасибо, Василий Михеевич, но это не то, что нужно... Надо подробно рассказать губернатору, как мы ведем дела, чтобы и на будущее время он отмахивался

от всяких жалоб, какие могут провертываться... Вы уж не задерживайте меня!

— Да как же волость-то без тебя останется?

— С недельку поработает и один помощник. (За месяц до этого события В. И. Фигнер прислала мне из Петровского уезда молодого человека, родного брата Степана Ширяева [35], с просьбой «преподать ему курс волостного делопроизводства». Он оказался очень способным и быстро усвоил всю технику дела).

— Сиди ты, нечего тебе скакать!

— И досижусь до приезда жандармов, до ареста... Оторвут меня от вас навсегда...

— Да я за тебя 30 тысяч залогу внесу!—воскликнул Сенотов, хлопнув ладонью по столу.

— Эх, милый Василий Михеевич, не помогут тут ваши деньги... Лучше отпустите меня!

— А Марья Ивановна с тобой едет или останется?

— И она поедет... Кстати повидается с родными в Саратове.

— Ой, парень, не те мысли у тебя в голове! Чует мое сердце, что ты не вернешься.

— Почему не вернусь! Я так полюбил вас... Лучшего места искать не стану.

— А я-то с тобой как вздохнул!.. Много просветления принял я через тебя... Повремени хоть малость! Дай, я слетаю в Вольск, переговорю с исправником, с жандармом...

— Нет, Василий Михеевич, завтра рано утром я должен уехать... Не просите, не задерживайте меня: мне дорога каждая минута!

— Да что такое, бог с тобой!.. Индо страх нагоняешь.

Вероятно мой вид обнаруживал сильное волнение. Я молчал, не находя убедительных слов.

— Скажи, что думаешь... а?..

— Ну, вот что, Василий Михеевич, — сказал я решительно, не видя другого выхода, — я вас так люблю, так верю вам, что скажу правду... Становой приезжал прописать паспорт Марьи Ивановны и послал копию с него жандармскому полковнику, а тот решил справиться по телеграфу, действительный он или фальшивый... Паспорт у Марьи Ивановны фальшивый... И у меня — фальшивый... Мы — не те люди, какими называемся. Я — не сын дьячка Страхов, а дворянин Александр Иванович Иванчин-Писарев, бывший помещик Ярославской губернии; я мог бы жить, как живут господа, но наплевал на ту жизнь и пошел служить крестьянам: ведь они так нуждаются в защите!.. Вам говорил исправник, что в Самарской губернии были хорошие писаря, а потом оказались «бунтовщиками»... Это я был там с Витевским... Меня предупредил один крестьянин, что полиция едет арестовать меня, и я скрылся... Попал к вам — и опять надо все бросить!.. Теперь вы все знаете... Видите, как мне нужно торопиться!..

Василий Михеевич долго молчал, опустив голову... Наконец спросил:

— Что же это ты — для души так?

— Да, для души...

— И то!.. Сколько у нас в волости за тебя бога молят!.. Ну, парень, спасибо за любовь... Держать тебя боле не стану... Завтра на своих рысаках я довезу тебя на станцию.

— Нет, Василий Михеевич, этого не надо... Вы приезжайте пораньше принять от меня деньги: от кого — кому, все будет обозначено, и простимся... Помалки-

вайте, что знаете что-нибудь: был Страхов—и все тут... про себя держите—кто я...

На другой день Василий Михеевич приехал очень рано в волостное правление.

— А мальчонка-то Ширяев знает, кто ты? — был его первый вопрос.

— Нет, ничего не знает... Кроме вас, во всей волости нет человека, кто бы знал что-нибудь обо мне... Ширяеву я сказал, что еду на время... Оставьте его пока писарем...

— Где ж я дознаюсь, цел ты либо нет, где живешь?.. Сердце будет ныть по тебе...

Я указал саратовского нотариуса В. С. Праотцева:

— Знаю: хороший человек...

— Если будет ему известно что-нибудь обо мне, он вам скажет... Вот, Василий Михеевич, волостные деньги!.. Получите!

— Возьми себе на дорогу... дай мне только записку!

— Спасибо, у меня денег много... С Саратова я уж опять барин!..

Подали лошадей.

— Ну... простимся, Василий Михеевич!.. Желаю вам всего хорошего... Позвольте поцеловать вас!

Он крепко обнял меня и долго, долго целовал... Слезы катились из его глаз... Я с трудом удерживался, чтоб не разрыдаться...

— А что же... скажи мне? — он задал мне вопрос не по времени и обнаружил изумительную скрытность, какую таил в душе за весь длинный период нашей дружбы...

Прощаясь со мной и Марьей Ивановной на нашей квартире, Василий Михеевич снял с себя суконный тулуп

на дорогих мерлушках, как оказалось, нарочно привезенный для меня, и сказал:

— Поезжай в нем... тепло будет... оставь себе на память...

— Что бы мне подарить вам?.. Да... Вот бумажник с секретными отделениями... Я носил его, когда был барином... И еще возьмите револьвер: может, пригодится...

— Спасибо... Буду хранить, пока жив...

Мы еще раз крепко расцеловались... Он долго, долго стоял на крыльце волостного правления.

Глава девятая

НА НОВУЮ ДОРОГУ

Я приехал в Петербург 31 марта 1879 года. На другой день в «Северную гостиницу», где я остановился, пришел повидаться со мной А. К. Соловьев. Он был удручен какой-то думой... 2 апреля об'яснилось для меня его тяжелое настроение [36]... Больной, недовольный своей деятельностью волостного писаря, он уезжал из Балтая, где провел последние дни у меня, не сказав ни слова о том направлении, в каком будут развиваться его дальнейшие планы... И вдруг 2 апреля!..

Легко было представить себе, как окрасится наша деятельность в Вольском уезде, если откроется, что Соловьев был одновременно с нами волостным писарем под именем Печкарева... Так и случилось. Началось следствие, изумившее всех, кто был знаком с нами в Вольском уезде.

На долю В. М. Сенотова выпали тяжелые дни. Как волостной старшина, он то-и-дело принимал «гостей»

из Петербурга... Два-три раза он ездил в Саратов справиться, не задела ли меня мрачная полоса арестов, дознаний...

В то время, как вольские дворяне не умели разобраться в сложных явлениях жизни и готовились забаллотировать своего предводителя Н. П. Фролова, крича: «нам друзья Соловьева не нужны», — неграмотный, необразованный мужик, В. М. Сенотов, поражал многочисленных следователей из Петербурга своим тактом и умением держать себя с большим достоинством...

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ВСТРЕЧИ с Н. К. МИХАЙЛОВСКИМ

Глава первая

СТОИТ ЛИ ПРОДОЛЖАТЬ

Мой «провал» в конце марта 1879 года сопровождался тяжелым раздумьем: стоит ли продолжать деятельность в деревне в прежней форме, если в условиях современности ее может прекратить сущий пустяк, как письмо из Петербурга с известиями об арестах или отказ управляющему крупного землевладельца засвидетельствовать «кабальное» условие с рабочими?..

Очевидно, мы жили в такое время, когда в любой деятельности в пользу крестьян, раз она не совпадает с выгодами разных эксплоататоров, власти усматривают признаки «политической неблагонадежности», и этим настроением властей с успехом пользуются взяточники и «кулаки» всех видов, чтобы отделаться от «опасного» человека, подведя его под полицейский обух. Становой пристав, уличенный во взяточничестве писарем, кричит по его адресу: «Прохвост! Его не слушать надо, а гнать в шею: темная личность!..» «Кулак», утративший надежду получить страховую премию в уплату долга, благодаря указанию волостного писаря на закон, обзывает его «бунтовщиком»... Торгаш, встретивший противодействие крестьян при открытии винного склада, ищет защиты от влияния на них волостного писаря у «аблаката», и тот дает совет: «Шепни исправнику или жандарму, что он — из «эдаких»: живой рукой в острог и на виселицу!.. А управляющий влиятельной

персоны, огорченный постигшей его неудачей в волостном правлении, уже прямо добивается жандармского расследования, проверки паспорта и пр.

Если эти гнетущие условия работы ради крестьян приводили к мысли, что следует отказаться от дальнейших попыток итти в деревню с надеждой добиться каких-нибудь серьезных результатов, то впечатления от непосредственных сношений с темным, беспомощным людом, так нуждающимся в защите от хищников всякого рода и произвола администрации, значительно ослабляли решимость прекратить деятельность, порождавшую столько искренней благодарности и благословений...

Я колебался. Доводы товарищей, уже отказавшихся от повторения опытов поселения в деревне, казались мне мало убедительными: они жили среди крестьян короткое время и не могли вынести впечатлений, доставшихся на мою долю. Решительный поворот в моих планах произвели сношения с Николаем Константиновичем Михайловским [37].

Глава вторая

ВСТРЕЧА С Н. К. МИХАЙЛОВСКИМ

С Николаем Константиновичем я познакомился в начале 1877 года через Глеба Ивановича Успенского. В первое время знакомства он не относился критически к моей деятельности. Он знал, что в качестве «пропагандиста» я провел два года в Ярославской губернии, почти год подвизался в разных «положениях» и местах Саратовской, Рязанской и Калужской губерний и, в подспорье для «пропаганды», сочинил за границей между

прочим две книжонки: «Смутное время на Руси» и «Внушителя словили» [38]. В этот период, по отношению Н. К. Михайловского к моей деятельности, я мог заключить, что его интересует главным образом степень восприимчивости крестьян к «пропаганде» и на какие перемены в их жизни можно рассчитывать при усвоении ими наших воззрений.

— Почему, скажите, — однажды спросил Николай Константинович, — вы писали свои книжки простонародным языком, стараясь сохранить его конструкцию, все неправильности произношения слов? Я заметил тот же прием и в «Сказке о четырех братьях» Л. А. Тихомирова. В литературе, как вам известно, существуют мнения относительно книг для народа: одни считают нужным писать их так называемым популярным языком, упрощая его до детского лепета, а другие отрицают эту необходимость, рекомендуя заботиться лишь о том, чтобы наши лучшие прозаики и поэты были доступны деревне... Очевидно, вы не разделяете ни того, ни другого мнения?

Я об'яснил Николаю Константиновичу, что свои книжки я составлял по указанию личной практики в Ярославской губернии. Там я давал крестьянам для самостоятельного чтения «Коробейников» Некрасова [39], «Дедушку Егора» Цебриковой [40], «Фабричные Очерки» Голицинского [41]. При недостаточной грамотности—они усваивали их с трудом, не получая того удовольствия, какое доставляло им мое чтение вслух тех же произведений. В некоторых деревнях на «посиделках» по просьбе слушателей я читал одно и то же по нескольку раз и не замечал, чтобы от повторений внимание крестьян ослабевало, напротив, оно усиливалось. Все это привело меня к мысли составить рассказы в духе нашей

«пропаганды», исключительно пригодные для чтения вслух грамотным людям, а не для самостоятельного чтения крестьян.

— Значит, при отсутствии в деревне хороших чтецов ваши произведения могут пойти на цыгарки? — спросил Николай Константинович.

Я должен был признать основательность его предположения.

Глава третья

ПРОДОЛЖАТЬ НЕ СЛЕДУЕТ

Относительно деятельности волостных писарей Н. К. Михайловский высказывал уже ярко определенные суждения. Когда, по возвращении в Петербург из Саратовской губернии, я передал ему много подробностей из периода своей службы в Балтайской волости и спросил, как он думает: следует ли продолжать такой образ жизни или нет, Николай Константинович решительно ответил:

— По-моему, не следует... Вы работали при самых благоприятных условиях, на вашей стороне были все власти: предводитель дворянства, непременный член, редкий волостной старшина, даже исправник... обещал вам блестящую карьеру, и все-таки они не могли оградить вас от подозрений в политической неблагонадежности: вам пришлось бросить волость и скрыться... К чему вы стремились в деревне? «Об'единять крестьян на вопросах дня», чтобы приучить их к защите своих интересов путем борьбы с «кулаками», с администрацией и т. д. Но в вашей деятельности я не усматриваю ни одного факта такого об'единения... Мне

кажется, без непременного члена вам не удалось бы прогнать взяточника станового пристава: крестьяне не решились бы раскрыть его злоупотребления, что они не добьются его отставки, и он жестоко отомстит им за попытку лишить его места. Полицейский произвол сделал из них крайне робких, нерешительных людей. Это видно из их поведения относительно станового пристава и еще яснее из отношения к приказанию волостного старшины разрушить мазанку, где приютился винный склад. В последнем случае балтайцы уж могли бы действовать смело, а между тем, и здесь заговорила трусость... Когда я слушал ваш рассказ о том, как крестьяне спасали кабак, свою доходную статью от его конкурента — винного склада, я невольно думал: что они стали бы делать, если бы винный склад возник на земле графа Нессельроде, смежной с их угодьями? И еще думал, как отразилось бы об'единение крестьян, добытое борьбой с кулаком-виноторговцем, в том случае, если бы вслед за победой над ним открыл склад соседний помещик? Мне кажется: в первом случае не было бы повода для об'единения, а во-втором оно не проявилось бы никаким протестом из боязни ответственности.

Глава четвертая

ЗАЧЕМ ГУБИТЬ СВОИ СИЛЫ

Таким образом я прихожу к выводу, что при современных политических условиях всякая деятельность в пользу крестьян, не отвечающая видам правящих сфер, будет преследоваться и кончаться тюрьмой и ссылкой... Зачем же губить свои силы, когда им можно

дать более ценное применение? В тех же условиях, развращающих крестьян, немыслима и организация их для достижения какой-либо серьезной цели... Людям вашего типа, умеющим отказываться от земных благ, давно пора подумать о политической борьбе... Ведь только она может повести к созданию обстановки, благоприятной для всякой культурной работы в деревне и для свободного проявления крестьянских идеалов... Без «конституции» нельзя обойтись в России, и бояться ее в виду возможного развития буржуазии значит не понимать политических требований времени [42]. Бросьте ваше паломничество в деревню и займитесь организацией политической борьбы... Давайте вместе работать!..

Глава пятая

ЗА НОМЕРОМ „НАРОДНОЙ ВОЛИ"

Я отказался от дальнейших попыток продолжать свои деревенские опыты и примкнул к товарищам, ставшим сторонниками политической программы. Деятельность в новом направлении требовала между прочим сношений с «обществом» и забот о создании органа для защиты идеи политической борьбы. Я принял участие в той и другой области, и на этой почве мои сношения с Н. К. Михайловским все более и более закреплялись. Часто он задавал мне вопрос:

— Ну, что — скоро будет выходить газета?

Я передавал известные мне подробности устройства тайной типографии и сожалел, что тратится много времени на дебаты с прежними товарищами, сохранившими веру в возможность агитации на почве требований народа.

— Вероятно, повторяют зады больше теоретики, не пытавшиеся лично работать в деревне, — сказал Николай Константинович. — Колебания, конечно, возможны и вполне естественны... В интересах молодежи, стоящей на распутьи, вам необходимо в первом же номере будущей газеты выступить с описанием вашей деятельности в деревне. Она очень поучительна, как иллюстрация условий, обращающих самое скромное начинание в пользу крестьян в политическое преступление с неизбежными последствиями его: шпионством, арестом и т. д.

К сентябрю 1879 года все было готово, с технической стороны, к выпуску первого номера новой газеты, получившей название «Народная Воля»[43]. При всем желании сохранить для газеты прежнее название «Земля и Воля», столь близкое нам в смысле лозунга, пришлось отказаться от него, в силу раскола среди товарищей, раньше об'единенных программой партии «Земля и Воля».

К началу сентября Н. К. Михайловский еще не вернулся из Кисловодска, куда ездил отдыхать почти каждый год, и не успел приготовить статью для первого номера, так как наборщики тайной типографии требовали срочной доставки материала. Зато по возвращении в Петербург Николай Константинович принял деятельное участие в оценке статей как членов партии, так и литераторов, выразивших готовность сотрудничать в политическом органе.

В состав № 1 «Народной Воли», помимо корреспонденций и официальных документов, входили:

1. Передовая статья: С.-Петербург, 20 сентября 1879 года, с эпиграфом: . . . . Льва Александровича Тихомирова[44]. 2. Из деревни. Моя

статья, за подписью Кудряшов. 3. Последняя исповедь. Отрывок из драмы, в стихах, Николая Степановича Курочкина. 4. Циркуляр министра внутренних дел Макова от 16 июля 1879 г. Сергея Николаевича Кривенко[45]. 5. Хроника преследований, Николая Александровича Морозова.

Передовая статья Л. А. Тихомирова являлась особенно важной для определений направления, в каком будет развиваться деятельность партии «Народной Воли», и вестись газета: Николай Константинович уделил ей исключительное внимание при обсуждении ее вместе с автором.

По поводу этого первого выступления Тихомирова в «Народной Воле» Николай Константинович сказал мне:

— Ни один из легальных литераторов не сумеет писать на эти темы так ясно и убедительно, как Лев Александрович: он — революционный публицист большого таланта *.

Вообще литературные способности Тихомирова располагали Николая Константиновича искать с ним частых встреч, и нередко они подолгу беседовали, обсуждая вопросы газеты и практической деятельности партии.

---

* Впоследствии, когда Тихомиров отказался от своих прежних воззрений и стал работать в „Московских Ведомостях", Николай Константинович говорил:

— Куда девался его талант!.. Вот что значит служить политической свободе и потом изменить ей!

В 1895 г. в „Московских Ведомостях" появились фельетоны Тихомирова: „Петропавловская крепость" и „Шальное лето". По поводу последнего произведения, где автор вспоминал о движении молодежи в народ в 1874 г., Николай Константинович заметил:

— Послышались отголоски прошлого — опять ведь встречаются блестки таланта!

Естественно, я очень интересовался, что скажет Николай Константинович относительно моих очерков «Из деревни». Он ответил:

— Вы отличаетесь редким даром писать так, как рассказываете.

— А не нужно что-нибудь сократить, изменить? — спросил я.

— Ровно ничего. Хочу только видеть продолжение ваших картинок.

В своей передовой статье Л. А. Тихомиров подчеркнул значение моих деревенских воспоминаний. «Мы не говорим, — писал он, — чтобы в народе была абсолютно невозможна пропаганда, агитация, даже чисто бунтовская деятельность; но при настоящих условиях она слишком затруднена. Отсылаем читателя к статье «Из деревни», помещенной в настоящем номере «Народной Воли». Много ли результатов даст деятельность при такой обстановке? Мы говорим, что для партии абсолютно необходимо изменить эту обстановку».

Предсказания Н. К. Михайловского, что мои очерки произведут влияние на молодежь, еще не выяснившую себе, каким путем итти, оправдались. В виде иллюстрации к его предвидению я позволю себе привести отрывок из воспоминаний Н. Л. Геккера, напечатанных в № 7 журнала «Заветы» 1913 года, под заголовком «Наша юность».

«Опыт хождения в народ, — говорит он,—был для нас еще не ясен, потому что прошел он в темноте и обычной российской безгласности. Кто в точности знал, чем он кончился и чему научил подвижников, самоотверженно вынесших крест на своих плечах? Кому доподлинно было известно тогда, как встретила

их деревня, как отнесся к ним крестьянин и вообще какой успех в народе имела пропаганда? Все это было темно и гадательно и определенных данных никто не имел для того, чтобы с полной убедительностью доказать, нужна и возможна ли прежняя работа в деревне или она требует каких-нибудь изменений в своей технике и постановке. Одни говорили одно, другие утверждали противоположное, и все вместе вращались вокруг некоей огромной неизвестности, которая неустанно удручала и волновала без конца.

Вот почему мы так лихорадочно набросились на злободневную статью в первом же номере «Народной Воли», озаглавленную «Из деревни» и отвечавшую на столь наболевший наш вопрос. Ответ был вполне ясный и определенный...»

Оправдались предположения Николая Константиновича и относительно «легальных» литераторов.

Сергей Николаевич Кривенко выразил готовность написать статью по поводу циркуляра министра внутренних дел Макова о «ложных слухах и толках о предстоящем будто бы общем переделе земель». Его статья, напечатанная в № 1 «Народной Воли», в своем первоначальном виде отличалась таким обилием площадной брани и непозволительных эпитетов, характеризовавших правительственных лиц, что воспользоваться ею без многочисленных сокращений было немыслимо.

— Что с вами, Сергей Николаевич? — спросил я: — Куда девалось ваше уменье писать убедительно, без резких слов? Ведь, чтобы воспользоваться вашей статьей, необходимо выбросить из нее почти половину.

— Я, право, не знаю, что сделалось со мною, — ответил Кривенко: — Когда я почувствовал свободу от

цензуры, моя злоба по отношению к представителям власти могла найти для себя подходящее выражение только в самой отборной брани... Я понимаю, что в свободном органе писать таким языком нельзя, но сдержать себя... был не в силах!

Александр Михайлович Скабичевский [46] захотел написать статью по поводу сенаторской ревизии. Я доставил ему «Особое наставление сенаторам, назначенным для производства общей ревизии в губерниях: Казанской, Костромской, Воронежской, Тамбовской, Киевской, Черниговской, Саратовской и Самарской».

«Наставление», предлагавшее сенаторам «удостовериться в настроении умов крестьянского населения» по вопросам, раньше занимавшим «пропагандистов», представляло богатый материал для остроумной критики.

Александр Михайлович сказал, что пишет обыкновенно по ночам, и предложил остаться ночевать у него, обещая к утру кончить статью.

Действительно, на другой день он вручил мне несколько исписанных листов писчей бумаги и просил сейчас же определить, годится его произведение или нет.

Статья начиналась с призвания Рюрика на русскую землю и была обогащена столь многочисленными историческими и литературными фактами, что из-за них не видно было «наставления» сенаторам, т. е. основной темы.

— Ну, что, как? — спросил Скабичевский, когда я кончил чтение.

— Мы радикально расходимся с вами в оценке этого правительственного акта, — сказал я. — Вы слишком серьезно отнеслись к нему; мы же склонны

лишь посмеяться над ним. Вот образец нашего отношения к сенаторской ревизии.

Я вынул из кармана юмористическое стихотворение Николая Александровича Саблина [47] и прочел:

В лаптях, с котомкой за спиной
Мы исходили край родной...
    Сенаторы в столице жили,
    Дремали в креслах... не тужили...
А нынче все пошло обратно!
О, как судьба людей превратна:
    Мы дело в Питере нашли —
    Сенаторы „в народ" ушли...

— Мы хотели поставить это стихотворение эпиграфом к вашей статье — и вдруг вы написали целый трактат, не соответствующий мужеству министерской затеи!

— Да, я вижу, — сказал с грустью Александр Михайлович, — мои литературные приемы не годятся для «Народной Воли»: здесь нужно говорить сжато и внушительно...

Михаил Алексеевич Протопопов, прославившийся своими остроумными фельетонами, за подписью «М. Горшков» и отделом «Меж газет и журналов» в газете «Северный Вестник» [48], казался очень подходящим сотрудником для свободного органа. Он выразил согласие писать заметки по поводу великосветских слухов и сплетен. Ему доставили материал и указали желательный размер статьи... Он долго придумывал «гарнир», так легко дававшийся ему в отделе «Меж газет и журналов», и наконец заявил:

— Определенный размер статьи крайне стесняет меня! Дайте мне 15 гранок... Потом сокращайте, как хотите!

Дали и 15 гранок. В результате всех его усилий получилась такая скучная болтовня, что из нее можно было воспользоваться только тремя-четырьмя абзацами для «Рабочей газеты» — «Народной Воли» [49].

Глава шестая

МИХАЙЛОВСКИЙ—НАРОДОВОЛЬЧЕСКИЙ ПРОПОВЕДНИК

Для Н. К. Михайловского участие в революционном органе не представляло ни малейшей трудности. Для «Народной Воли» он писал статьи так же легко, как для «Отечественных Записок», не изменяя ни своего слога, ни обычной манеры убеждать читателя.

Мы опасались, как бы характерный слог Николая Константиновича не обнаружил его сотрудничества. Чтобы замаскировать его участие, мы предложили задуманные им «Политические письма социалиста» присылать якобы из Женевы и, кроме того, я принял на себя обязательство переписывать их, дабы по почерку оригинала не могли узнать, кто автор.

Первое письмо Николая Константиновича «С родины Руссо, чье широкое сердце умело ненавидеть и политическое и экономическое рабство», подписанное псевдонимом «Гроньяр» и датированное: Женева, 2 ноября (21 октября) 1879 года», появилось в № 2 «Народной Воли». В отличие от прежних тенденций революционных изданий Николай Константинович писал:

«Вы не боитесь тюрьмы, каторги, виселицы. Но вы боитесь собственной мысли...

Изучая новейшую историю, вы узнали, что Великая Революция не привела Европу в обетованную землю

братства, равенства и свободы, что конституционный режим, вручая власть буржуазии, предоставляет ей, под покровом формальной политической свободы, экономическую власть над народом. Этот горестный результат европейской истории вселил в вас недоверие к принципу политической свободы... Да, вы правы. Конституционный режим не решает тяжбы труда с капиталом, не устраняет вековой несправедливости присвоения чужого труда, напротив, облегчает ее дальнейший рост. Но вы глубоко неправы, когда отказываетесь от политической борьбы. Из живых людей, страстно отдающихся своей идее, вы обращаетесь в сухих доктринеров, в книжников, упрямо затвердивших теоретический вывод, которому противоречит вся практика.

... Предрассудок против политической борьбы силен в России... Достойнейшие люди, соль земли русской, заражены этой болезнью *. Пора, давно пора выздороветь и понять, что политический деспотизм выгоден только врагам народа. Конституционный режим есть вопрос завтрашнего дня в России. Этот завтрашний день не принесет разрешения социального вопроса. Но разве вы хотите завтра же сложить руки? Разве вы устали бороться? Верьте мне, что даже самое единодушное народное восстание, если бы оно было возможно, не даст вам почить на лаврах и потребует нового напряжения, новой борьбы. Век живи, век борись! «Мир и в человецех благоволение» принадлежит далекому будущему. Мы с вами не доживем до него» *.

---

* Настоящая цитата, как и другие, взята из X т. соч. Н. К. Михайловского (второе исправленное, издание).

Я крайне сожалею, что не могу привести блестящей характеристики положения дел в России в 1879 году, сделанной тут же Николаем Константиновичем; она показала бы, в какую яркую и остроумную форму отливалась мысль этого большого человека, не встречая цензурных препятствий...

В № 3 «Народной Воли» появилось второе «Политическое письмо социалиста» от 9 декабря (27 ноября) 1879 года.

Продолжая развивать свою идею о «конституции», Николай Константинович, между прочим, писал:

«... Я — не убийца и не подстрекатель на убийства. Лично мне политическая борьба представляется в совсем иных формах. Я только логически развиваю положение людей, берущихся за кинжал и револьвер, и вижу, что они не могут довести собственную мысль до конца из-за предрассудка относительно политической свободы. Чего доброго, систематическая политическая борьба, опирающаяся на тот или другой общественный элемент или даже на все недовольные элементы, поведет к политическому перевороту, к «конституции»! Вот «жупел», от которого бежит русский революциноер.

Я вижу тебя, моя несчастная родина! Белая пелена снега лежит на твоих полях и лугах. Лед сковал твои реки, пруды и озера. Еловые ветви гнутся под тяжестью снежной седины. Каждая береза обвита белым саваном. Глухо. Мертво... Но вот начинает теплиться жизнь... Ярче, ярче разгорается благодатный огонь... протеста...

---

* Для примера можно указать на С. Н. Кривенко, одно время бывшего сторонником фантазии, будто для России лучшей формой правления была бы монархическая власть под контролем „Исполнительного Комитета“.

кругом оттаивает саван снега и... обман! Эти люди умеют умирать и не хотят жить.

Они говорят, что не имеют права жить, потому что, завоевывая себе жизнь путем систематической политической борьбы, они должны будут подать руку либералам и помочь им наложить новое ярмо на народ... Союз с либералами не страшен, если вы вступите на него честно и без лицемерия об'явите им святой девиз: земля и воля. Они к вам пристанут, а не вы к ним. В практической борьбе безумно не пользоваться выгодами союзов, хотя бы случайных и временных. И признаюсь вам: я думаю, что многие либералы гораздо к вам ближе, чем вам кажется. Они были бы еще ближе, если бы ясно понимали особенности условий русской жизни... Я убежден, что словами «земля и воля» исчерпывается для нашей интеллигенции единственно возможная программа, и что вне ее интеллигенция осуждена на роль вечного политического недоноска...»

Глава седьмая

ВОЛЧИЙ РОТ И ЛИСИЙ ХВОСТ

В ночь с 17 на 18 января 1880 года типография «Народной Воли» была случайно открыта в доме № 10, по Саперному переулку, и газета не могла выходить в прежнем об'еме до устройства новой типографии в конце октября 1880 года. В период отсутствия собственного печатного станка, можно было выпускать только «Листки Народной Воли», чем Н. К. Михайловский и воспользовался, чтобы в № 2 «Листка» дать характеристику графа М. Т. Лорис-Меликова.

Назначение Лорис-Меликова было встречено дружным хором газетных ликований, как начало новой эры. Общественное мнение расходилось с голосом печати, хотя и не в такой степени, чтобы в обществе нельзя было слышать толки о богатых милостях, ожидающих Россию. Верить так хотелось, и в словах графа от 14 февраля—«На поддержку общества смотрю, как на главную силу, могущую содействовать власти в возобновлении правильного течения государственной жизни» — видели чуть ли не обещание дать «конституцию».

Николай Константинович изумлялся легковерию малодушных и недальновидных людей, встречавшихся даже в кругу близких ему лиц по журнальной работе, и решил дать портрет Лорис-Меликова, чтобы образумить хотя бы «своих легальных собратов».

«Говорят, — писал Николай Константинович, — что к фигурам Минина и Пожарского [50] на известном московском монументе будет в скором времени прибавлена статуя графа Лорис-Меликова. Говорят, что благодарная Россия изобразит графа в генерал-ад'ютантском мундире, но с волчьим ртом спереди и лисьим хвостом сзади, в отличие от прочих генерал-ад'ютантов, отечества не спасавших. Мы даже готовы принять посильное участие в национальной подписке на сооружение статуи. Но так как подписка еще не об'явлена, то ограничимся пока духовной лептой — сообщением данных, свидетельствующих, что граф достоин памятника».

И затем Николай Константинович яркими штрихами характеризует деятельность Лорис-Меликова в Петербурге, в Тверской области, в Харькове.

«Таков граф, спаситель отечества, восстановитель правды, насадитель свободы,—кончает он свою статью.

— Наши легальные собраты, вам не нравятся наши теории! Нравятся ли вам сообщенные нами факты?..»

В № 3 «Листка Народной Воли» от 20 сентября 1880 года Н. К. Михайловский поместил заметку «Еще о лисьем хвосте». Она посвящена беседе Лорис-Меликова с редакторами газет и журналов.

«Наши собраты, — пишет Николай Константинович, — привыкли к отеческим наставлениям. Они выслушали их и от Макова и от Григорьева, не говоря о периодических, канцелярски-лаконических письменных приказаниях не писать о том, о сем, об этом, о короле прусском, о пирогах с сигом, о тетке Варваре, о тверди небесной, о гадах земных; в особенности о гадах.

Приглашения предстать пред светлые очи министра или начальника управления по делам печати практикуются очень редко, но зато в этих торжественных случаях из-под перьев наших собратов выхватываются уже не тетка Варвара или какой-нибудь единичный гад, а целые отделы литературы.

Последнее приглашение состоялось 6 февраля, когда Григорьев наложил табу на 1) народное образование, 2) политические отношения России к Германии и 3) крестьянские наделы и переселения.

...Граф начал с того, чем он всегда начинает: помахал пушистым лисьим хвостом. Он сказал несколько слов о своем уважении к печати, оказавшей столько услуг при осуществлении реформаторских предначертаний.. Но, продолжал граф, волновать общественное мнение намеками на необходимость конституции, земского собора или вообще какого-нибудь решительного шага печать отнюдь не должна. Ничего подобного не имеется в виду и не будет...

Граф готов сделать, что может, но он может немного. Он уже об'единил полицию и снарядил сенаторские ревизии, которые на месте узнают нужды населения; он возвратит земству его права, следующие ему по положению, предоставит печати критику правительственных мероприятий и избавит ее от административных кар, если только печать послушается его отеческого наставления и по-добру по-здорову уберется из рая...

...Переходя от общего к частному, граф взял со стола номер газеты «Молва» и прочитал редактору ее, г. Полетике, наставление по поводу какого-то фельетона, в котором заключаются непочтительные отзывы о попечителе одесского учебного округа.

— У вас есть дети? — спросил между прочим граф редактора.

— Есть.

— Так как же вы не понимаете, что подобными статьями подрываете уважение к школьному начальству?

Взял граф другой номер «Молвы» и прочитал наставление по поводу передовой статьи о необходимости подчинить администрацию самоуправлению.

— Вы ведь и сами не верите тому, что пишете, — закончил граф.

— Ваше сиятельство, — возразил г. Полетика, — не желаю выслушивать подобные упреки.

Граф моментально спрятал свой лисий хвост и разинул волчий рот:

— Как,—вскричал он,—так я закрою вашу газету!

...Подводим итоги:

1) земной рай торжественно ликвидирован. По собственному признанию графа Лорис-Меликова, рай существует только личными его, графа, добрыми намерениями; но

2) намерения графа более чем скромны, а сам он, достаточно сильный, чтобы закрыть газету за обнаружение редактором человеческого достоинства по собственному признанию, бессилен; в виду этого

3) в частности пределы свободного слова остаются прежние, потому что возбраняется свободное обсуждение даже деятельности попечителя учебного округа, а следовательно, и всякого другого чиновника.

Собраты! Вы рай во сне видели! Пора вставать!»

Глава восьмая

ЗА НАРОДОВОЛЬЧЕСКИМИ БУДНЯМИ

Н. К. Михайловский не только принимал непосредственное участие в газете «Народная Воля», но содействовал обогащению ее содержания доставлением официальных документов, не подлежавших оглашению в легальной печати, и других сведений из правящих сфер. Для этой цели он пользовался своими «пятницами», приглашая на них «сведущих» лиц. В числе таких гостей особым рвением отличались муж и жена Самарские-Быховец, располагавшие большими связями. От них поступило между прочим «Наставление сенаторам» и много ценных сообщений, напечатанных в отделе «Мелочи». Они так добросовестно относились к исполнению своих обязанностей поставщиков сенсационного материала, что пропускали «пятницы», когда за неделю не могли собрать нужных сведений: таково было влияние Н. К. Михайловского, внушавшее даже светским людям серьезное отношение к делу.

Содействие Николая Константиновича развитию идей политической свободы сказалось и в его плане

пользоваться систематически легальными журналами. В «Отечественных Записках» он брал на себя эту роль; в «Дело»[51] вошел Л. А. Тихомиров и писал там под псевдонимом «И. Кольцов», а я попал с Кибальчичем[52] в артельный журнал «Русское Богатство»[53] и в «Слово»[54], где работал вместе с Тихомировым до 17 марта 1881 года, когда был арестован.

Вот еще два ярких штриха, пригодных для оценки личности Н. К. Михайловского.

Из расположения к Л. А. Тихомирову он выразил желание быть шафером на его свадьбе в 1881 году, казавшейся необходимой для его жены, и в полковой церкви на Царицыном Лугу участвовал в обряде с Тихомировым, Желябовым[55], Лангансом[56] и со мной, бывшими «нелегальными» людьми...

Однажды на личном свидании с моей матерью, когда я сидел в доме предварительного заключения, мы обменялись с нею носовыми платками. По возвращении в камеру я развязал узел платка и совершенно неожиданно для себя увидел дорогие строчки Николая Константиновича. Без соблюдения какой-либо конспирации он употребил обращение: «Дорогой Александр Иванович» и подписался: «Ваш Ник. Михайловский». Его письмо было на четырех страничках. Он шутливо разгонял мое опасение, ставшее ему известным: не набросил ли я на него тени подозрения своими частыми визитами? — и сообщал кое-какие факты из жизни наших общих знакомых, заменяя их имена инициалами или окончаниями фамилий. Между прочим он писал (воспроизвожу его слова по памяти): «Успенский был в Москве и видел Гольцова[57] В. А., ездил в Петербург просить Победоносцева[58] дать «конституцию». Гл. Ив. сказал ему:

— Я знаю простое средство созвать «земский собор» [59].

— Какое? — спросил Гольцов.

— Попросить В. Н. Фигнер и Александра Ивановича [60] назвать жандармам всех своих друзей, приятелей и знакомых — и соберется «земский собор».

Успенский прибавляет, что он слышал, как дрожь пробежала по хребту Виктора Александровича» [61].

Я просил передать Николаю Константиновичу, что его письмо доставило мне большое удовольствие, но, по-моему, он поступил рискованно, подписав его своим полным именем.

В ответ мне доставили его слова: «Я не считаю опасным признать наше знакомство и не отрекусь от него»...

ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

ИЗ ЖИЗНИ Г. И. УСПЕНСКОГО

„У кого узнать обо мне? Знают обо мне О. Н. Фигнер, А. И. Писарев, Н. К. Михайловский.

(Из автобиографии Глеба Успенского, „Былое“ 1907 г., № 10).

Глава первая

НЕЗАУРЯДНЫЙ СЛУШАТЕЛЬ

В июне 1875 года, после двухлетнего пребывания у себя в деревне, Ярославской губернии, и целого года раз'ездов по разным местам Саратовской, Рязанской и Калужской губерний я попал в Париж, где в это время жили два лица, главным образом и повлиявшие на мое решение поселиться в столице Франции, это — Дмитрий Александрович Клеменц и Глеб Иванович Успенский. С первым я был близким товарищем по деятельности, а второго знал по его литературным произведениям и не раз слышал о нем как о простом, изумительно остроумном и добром человеке. Последний по счету отзыв о Глебе Ивановиче я получил в дороге, заехав в Брюссель повидаться с С. М. Кравчинским [62].

— Я завидую тебе, — говорил Кравчинский, — ты будешь жить с Бульдожкой * и часто видеться с Успенским... Вот человек, доставляющий истинное

---

* Прозвище Клеменца.

наслаждение своим обществом, когда в ударе!.. Он часто подтрунивает надо мной, но всегда так остроумно, что совершенно обезоруживает меня, хотя, как ты знаешь, я не очень склонен давать себя в обиду...

В Париже мне пришлось устроиться с Клеменцом на rue Bertolet, 4, в квартире редактора журнала «Знание», Исидора Альбертовича Гольдсмита[63], переехавшего на лето с своей женой на дачу, недалеко от Севра. Квартира была вполне благоустроенная, и Клеменц, предлагая мне избрать комнату, остановился на кабинете, сказав:

— Бери сей аппартамент!.. Здесь любит сидеть Успенский, находя его наиболее деловым по виду и уютным.

— А часто бывает у тебя Глеб Иванович? — спросил я.

— С от'ездом Исидора — довольно часто. Он живет за городом, в Отейле, и жалуется на безлюдие... «Один Тургенев в Буживале поблизости, — говорит, — и тот в последнее время сидит на курином бульоне»... Успенский уверяет, что когда Иван Сергеевич «творит», то Виардо кормит его исключительно куриным бульоном и фруктами.

Дня через три Глеб Иванович, действительно, зашел к Клеменцу.

Издали до меня долетали отдельные фразы их разговора.

— А ко мне приехал мой ярославский барин, — сказал между прочим Клеменц, очевидно раньше сообщивший Успенскому, что под видом моего кучера он занимался революционной пропагандой в Даниловском уезде.

— Народ, значит, все прибывает из России... Плохой признак! — послышался ответ.

Через несколько минут Клеменц привел ко мне Успенского.

— Вот вам — мой барин, Александр Иванович Иванчин-Писарев, а тебе — Глеб Иванович Успенский!—сказал он.

Передо мной стоял довольно высокий, стройный человек, с широким, белым и гладким лбом, с густыми русыми волосами на голове и более светлыми на бороде. Он внимательно смотрел на меня темно-карими глазами, как-то ласково-застенчиво улыбался и, протянув руку, сказал:

— Уцелели?

Я предложил ему сесть на кресло к столу, но он отказался:

— Я лучше на диванчике, рядом с вами.

Клеменц принес спиртовой прибор для нагревания воды, со всеми принадлежностями для чаепития, и поставил на стол передо мной.

— Ну-ка, смастери чайку!... Угостим Глеба Ивановича, — сказал он.

Наш гость сидел на диване и курил папироску, держа ее в правой руке, а левой покручивал бороду. Я заметил, что он курит без «затяжки», просто «дымит», но зато растягивает этот процесс надолго особым приемом: когда папироса подходит к концу, он вынимает из нее мундштук и вместо него вставляет новую папиросу... Эта система куренья, это постоянное покручивание бороды и вообще порывистые движения обличали в нем крайне нервную натуру.

— Откуда вы прибыли к нам? — спросил меня Глеб Иванович.

— Из Калуги, где пребывание мое становилось рискованным, — ответил я.

— Прямо оттуда?

— Нет, заезжал в Вильну, чтобы при содействии одного приятеля перейти границу; пробыл три дня в Брюсселе у Кравчинского и — сюда.

— Границу миновали без приключений?

— Без малейших!

— Вон Дмитрия Александровича чуть ли не сама приятельница его [64] перевела через границу!.. Какая изумительная организация!..

— За все, про все — за встречу на станции железной дороги, за пару лошадей для переезда тридцати верст до пункта перехода границы и за целый эскорт проводников до пограничной речушки — 15 рублей и... две папиросы!

— Две папиросы?!—изумился Глеб Иванович, склонив голову на бок и как-то особенно улыбаясь сжатыми губами. — Две папиросы? — повторил он.

— Да. Когда мы поравнялись с опушкой небольшого леса, откуда выглянули два стражника, контрабандист сказал: «Дай-ка мне две папироски: я потом угощу их, они не любят наших сигар».

— По-божески берут!

— Раньше дешевле было, пока не сообразили, какие мы торговцы, — заметил Клеменц.

— Почему же догадались? — спросил Глеб Иванович.

— «Пограничников» у нас мало. Сегодня приедет наш Мойша для переговоров о транспорте книг, а через неделю привезет вот этакого «купца», как Александр: смекнули и повысили цену.

— А до выдачи не дойдут?

— Расчета нет. Среди действительных торговцев, путешествующих без заграничных паспортов само

и овамо, наш брат — капля в широком потоке... Представить одного в полицию — значит закрыть свою пограничную черту: купец пойдет в другое место... Со стороны контрабандистов опасности нет.

— А стражники?

— Этим тоже нет расчета хватать нашего брата. Первое дело — как узнаешь, что идет «враг государства», а второе — сцапал одного и лишился постоянного дохода! Ведь теперь за каждого беспаспортного фланера они получают два рубля...

— Только два рубля... и папироску? — насмешливо улыбнулся Глеб Иванович.

— Два рубля... Но сколько этих рублей наскребут в год, когда купец идет, как сельдь?.. Доход порядочный!.. А велика ли благостыня за нашего брата? Стоит ли из-за нее терять верный доход!

— Как все это интересно! — воскликнул Глеб Иванович и, повернувшись в мою сторону, тоном глубокой любознательности сказал: — Дмитрий Александрович передавал мне, как вы действовали в Ярославской губернии... Расскажите, пожалуйста, что вы потом делали, видели — все!

— Кстати и я послушаю, — прибавил Клеменц: — ведь я не знаю, где ты пропадал, расставшись со мной.

Не столько потому, что передо мной был писатель, кому хотелось сообщить материал из жизни, недоступной его непосредственному наблюдению, сколько потому, что вся манера Глеба Ивановича располагала к откровенной беседе, — я стал передавать подробности своих метаморфоз в течение года и тех впечатлений, какие вынес из столкновений с разными людьми за этот период.

Глеб Иванович оказался не заурядным слушателем, пассивно воспринимающим разные моменты повествования, а какой-то фотографической пластинкой, схватывающей все оттенки переживаний, выпавших на долю рассказчика.

Так, упомянул я о случайной встрече в вагоне 2-го класса, около Тулы, с товарищем прокурора и жандармским офицером, ездившим куда-то по делам службы, и сказал, что, занимая верхнее место над ними, слышал, как они, между прочим, были озабочены розысками «молодцов, натворивших не мало каверз в Ярославской губернии»: на лице Глеба Ивановича отразилась тревога, он стал быстрее закручивать свою бороду и порывисто спросил:

— Не узнали вас?

Когда же услышал, что «блюстители порядка» вышли в г. Алексине, он облегченно вздохнул.

В другой раз его чудные глаза и лицо обнаружили прямо испуг, когда я передал, что, работая в Калуге в кузнице молотобойцем, своими неумелыми ударами так возмутил кузнеца, что он замахнулся на меня молотком.

— Ударил?—со страхом воскликнул Глеб Иванович.

— Нет, — успокоил я его. — Я сам поднял молот и сказал: «Очумел, что ли: лезешь со своим крючком на мой инструмент!» Он отвел душу отборной бранью.

— Но он мог вас и ударить?.. Что бы вы тогда сделали?

— Вероятно, бросил бы молот и ушел...

— В рискованные же положения вы попадали! — все еще не мог успокоиться Глеб Иванович.

Он просидел с нами довольно долго. Случайно оторванный от России, он жадно прислушивался ко всем

сведениям о том, что делается на родине, в особенности интересовался вопросом, какие перемены замечаются в жизни крестьян, в зависимости от последних реформ: введения земства и мировых учреждений.

Приходилось констатировать, что крестьяне пока отрицательно относятся к этим переобразованиям, не видя для себя никакой пользы ни от земского самоуправления, где им отведена мало заметная роль, ни от мировых учреждений, куда со своими гражданскими и уголовными претензиями к ним обращаются кулаки и помещики.

— Ну, а ссудо-сберегательные товарищества приносят пользу? — спросил Глеб Иванович.

— Приносят тому, кто получил ссуду, но на самое короткое время — до наступления срока возврата. А тут уж слышишь: «Не рад, что и связался: хуже податей выколачивают»... Ведь какие-нибудь 20 — 30 рублей не могут поправить расшатанное хозяйство настолько, чтобы уплата их стала по силам... Так бывает: возьмет крестьянин ссуду для покупки лошади, а потом ее же сведет на базар, чтобы рассчитаться с товариществом... Да и кто может получить ссуду? Вот прекрасный работник, но скрутила его нужда. Помоги ему выпутаться — и он встанет на ноги и погасит свой долг... В правлении товарищества начинают определять его кредитоспособность.

Оказывается, что у мужика нет даже имущества, какое, по уставу товарищества, может подлежать продажа за долг.

— Эх, парень, — говорят ему, — дали бы мы тебе с превеликим удовольствием, ежели у тебя... хоть коза была. А у тебя ничего нет.

— Было бы что—не просил бы у вас,—отвечает он.

— Ну, ты сам посуди, — вразумительно убеждают члены правления, — как же тебе дать, коли у тебя нет ничего?

— Да-а! Правильно! — заметил Глеб Иванович. — Как же тебе дать, коли у тебя ничего нет?

— Выходит, что ссудо-сберегательное товарищество преследует цель помощи только людям некоторого достатка.

— Что станешь делать? — вопросительно сказал Глеб Иванович. — Коли у тебя ничего нет, зачем же тебе помогать?.. Логично... Вполне... Можно при случае воспользоваться этой логикой?.. В поучении нашим Шульце-Деличам? [65] — спросил он.

— Пожалуйста!

Ясно было, что Глеба Ивановича глубоко заинтересовал этот факт.

— Еще долго думаете пробыть в Париже? — спросил его Клеменц.

— Надо ехать... Ох, как надо... да правов нет! — задушевно-грустным тоном ответил Успенский. — Писал Григорию Захаровичу Елисееву [66], нельзя ли выслать рубликов триста?.. Не знаю, соблаговолит ли?.. Может, ответит: «Да как тебе дать, коли у тебя ничего нет?..» Не пишется что-то в последнее время...

Прощаясь, Глеб Иванович обратился к Клеменцу:

— Дмитрий Александрович, отец родной!.. Хоть у меня и нет козы, а позвольте перехватить у вас... франка два!

— У барина моего есть, а у меня все жалованье от него вышло, — ответил Дмитрий.

Еще не успел он окончить свою фразу, как я вынул из портмонэ несколько золотых и, положив на ладонь, протянул руку Глебу Ивановичу.

— Можно? — с улыбкой, наклонив голову, спросил он, взяв 20-франковую монету.

— Пожалуйста! Не надо ли еще?

— Не соблазняйте, господин!.. И так прегрешаю против нужды... Сашечке * надо, — обратился он к Клеменцу, — шоколаду купить, себе папирос и пачку почтовой бумаги: писать-то ведь пора!

Это простое отношение к займу я мог об'яснить себе только присущей Глебу Ивановичу особой склонностью самому приходить на помощь любому человеку, нисколько не считаясь со своими нуждами.

Впоследствии я бывал свидетелем в Петербурге, как Г. И. Успенский, постоянно жалуясь на свое безденежье, при получении из «Отечественных Записок» аванса в 200 — 300 рублей предлагал их при встрече с тем, от кого слышал, что ему нужны деньги.

— Вот, не угодно ли? — просто говорил он, вынимая из кармана пачку ассигнаций.

Однажды, в 1881 году, он сидел у меня в обществе Николая Алексеевича Саблина и еще кого-то. Постоянный остряк, Саблин говорил, что «террористы» сейчас в большом затруднении, не зная, где соединить проводы, если придумают какой-нибудь динамитный взрыв.

— Я избрал бы, — шутил он, — памятник Екатерины и под шлейфом ее устроил нужные приспособления... Да, вот беда — денег нет!.. Такое оскудение в моем кармане, — с глубоким вздохом произнес он, — что вместо «Палкина» хожу в с'естную лавочку, а крепкие напитки — давно забыл!.. Да-а, с этой революцией всякое пьянство запустишь!..

---

* Старший сын Успенского.

Как-раз в этот момент Глебу Ивановичу доставили ко мне, по его просьбе, 400 рублей из «Отечественных Записок».

— Пожалуйста! — протянул он всю сумму Саблину.

— Это зачем же? — изумился тот. — Для проводов под шлейфом или для поддержания пьянства?..

— Ведь вы говорите: оскудение в кармане... в с'естную лавочку ходите!..

— А-а, это я та...ак! «От большого остроумия говорю глупости»! — как говорит моя матушка.

— Пожалуйста, не стесняйтесь!.. Возьмите!

Понадобилось мое вмешательство, чтобы убедить Глеба Ивановича, что Н. А. Саблин не испытывает ни малейшей нужды ни в чем, и его глубокий вздох о безденежьи был лишь действительно «глупостью от остроумия».

Думаю, что если в среде, родственной Саблину, где не только высоко ценили Успенского, как писателя, и знали более или менее его жизнь во всех подробностях, никто не решился бы воспользоваться его предложением денег, то в других кругах, вероятно, встречались люди, готовые эксплоатировать его беспримерную отзывчивость ко всякой жалобе на недостаток средств.

Глава вторая

СЧАСТЬЕ БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ

Наши встречи с Г. И. Успенским становились чаще и чаще. Ему «все не писалось и не хотелось подышать деревенским воздухом», как он отзывался о моих беседах по поводу вопросов деревни, какие занимали

его; я же очень интересовался его оценкой текущих событий русской и заграничной жизни и, кроме того, все больше и больше проникался симпатией к его обаятельной личности.

Редкий день проходил без того, чтобы Глеб Иванович не приезжал в Париж и не предлагал совершить какую-либо прогулку по городу, где так много красот и еще больше памятников прошлой жизни великого народа, только-что пережившего тогда нашествие пруссаков и разгром «Коммуны [67].

На первых же порах сношений с Глебом Ивановичем легко было заметить, какая впечатлительность отличает этого человека.

То, что успело захватить его внимание, отражалось или неожиданной вставкой в разговор на совершенно иную тему или частым возвращением к чужой мысли, вдруг поразившей его, как резолюция правления ссудо-сберегательного товарищества.

После беседы о земстве и мировых учреждениях прошло не мало времени. Мы направлялись с ним в Лувр по берегу Сены и вели разговор, не имевший отношения к деревне. Вдруг Глеб Иванович остановился и сказал:

— Смотрите!

На берегу реки какой-то юноша бросал камни в воду, а его сетер каждый раз с визгом кидался за ними... Собака видит, куда летит камень, где падает в воду, и, приплывая на место, чтобы схватить его, с изумлением замечает лишь, как расходятся круги от падения камня...

— Вот они, реформы-то! — сказал Глеб Иванович.— Крестьяне тоже одни круги видят...

И он стал приводить примеры, как они обманывались в своих ожиданиях, начиная с 1861 года [68].

Мы шли в Лувр, куда мне давно хотелось попасть, особенно после рассказов Глеба Ивановича о Венере Милосской, но он удерживал меня:

— Подождите! Пойдемте вместе!.. Я был там три раза и с наслаждением опять пойду.

В первом зале Лувра Глеб Иванович предупредил меня, указывая вдаль:

— Вот она там! Но вы не смотрите туда... Сначала пройдем коридором и будем глядеть другие статуи...

В узких залах, ведущих к Венере Милосской, встречались памятники изумительного искусства, с каким художники отдаленных эпох умели воплощать женскую красоту. Тут были женщины во весь рост, редкого сложения и в разных позах.

— Видите, — говорил Глеб Иванович, обращая мое внимание на целый ряд статуй. — Все Венерки! Каждая старается по своей части: одна — стоя, другая — сидя, третья—лежа... «Будят страсть»!—как говорят знатоки.

Когда мы были в двух шагах от комнаты, отведенной «богине красоты», Глеб Иванович, взяв меня за руку, сказал:

— Теперь закройте глаза... я поведу вас к ней.

Через минуту мы остановились.

— Смотрите! — произнес Успенский, прижался ко мне и заговорил почти шопотом: — Видите, какая посадка головы... шея... грудь... ни тени улыбки на лице... ничего вульгарного! Очевидно, художник хотел показать не прелести Венерки, а красоту человеческой души, способной проникнуться великим, слиться с ним. С такой душой в гармонии и внешность, выражение всей фигуры.

Под впечатлением мысли Глеба Ивановича, получавшей в его изложении новые штрихи, я смотрел

на статую его глазами, и она все более и более оживала, становилась, действительно, олицетворением чего-то высокого...

— Вот красненький диванчик! — заговорил Глеб Иванович, когда мы отошли от «чуда искусства». — На нем сиживал Гейне [69] и плакал... О чем? Так надо полагать: каялся... Покойник ведь любил женщин и как любил! Не одну, не двух, а сотни!.. У одной хороши глазки: «пожалуйте». У другой шейка: «не угодно ли»? У третьей — ручки: «и эту надо приспособить»... А вон спина... разве найдешь еще такую спину? — «не откажитесь разделить ложе»!.. Да-а, целовал, миловал женщин, песни им пел, а хоть бы в одной поискал человека!.. Тут, только перед этой безрукой признал свой грех... ходил сюда и плакал. В ней, этом существе — только одно человеческое в высшем значении этого слова!.. Пойдемте еще взглянем!..

Если Глеб Иванович развивал какую-нибудь мысль, часто возвращался к ней, то можно было наверняка сказать, что эта мысль, с каждым разом принимая все более и более определенные очертания, очень скоро появится в печати. И мне казалось, что, передавая свои впечатления от Венеры Милосской, он не замедлит воспользоваться ими для своего очередного рассказа. Между тем время шло, появились новые рассказы, очерки, исследования, а изумительный памятник искусства не находил себе места в его произведениях до 1885 года. Очевидно, ему чего-то недоставало для реализации этой темы, нужна была встреча с человеком высшего порядка, в ком высокая идея не отделялась бы от его существа, была бы гармонично слита с его личными переживаниями... С таким человеком он столкнулся в 80-х годах. Это была Вера Николаевна Фигнер

Воображение Глеба Ивановича рисовало ее в образе девушки строгого, почти монашеского типа»*. «Она оставила в нем светлое, радостное впечатление потому, что та глубокая печаль, печаль о не своем горе, начертанная на ее лице, на каждом ее малейшем движении, была так гармонически слита с ее личною, собственною печалью; до такой степени эти две печали, сливаясь, делали ее одну, не давая ни малейшей возможности проникнуть в ее сердце, в ее душу, в ее мысль, даже в сон ее, чему-нибудь такому, что могло не подойти, нарушить гармонию самопожертвования, которое она олицетворяла,—что при одном взгляде на нее всякое страдание теряло свои пугающие стороны, делалось делом простым, легким, успокаивающим и, главное, живым, что вместо слов: «как страшно!» заставляло сказать: «как хорошо, как славно!»

Теперь Глеб Иванович говорил уже более определенно о задаче художника, создавшего Венеру Милосскую: «Ему нужно было запечатлеть в сердцах и умах огромную красоту человеческого существа, ознакомить всех с ощущением счастья быть человеком, показать всем и обрадовать всех видимой возможностью быть прекрасным — вот какая огромная цель овладела его душой и руководила рукой. Он создал образчик такого человеческого существа, которое решительно нельзя представить способным принять малейшее участие в том порядке жизни, до которого мы дожили. Нельзя представить себе это человеческое существо в каком бы то ни было из теперешних человеческих похождений, не нарушая его красоты»...

---

* См. рассказ „Выпрямила“ (отрывок из „Записок Тяпушкина“).

И вот почему, когда герой Успенского, Тяпушкин, пришел к выводу, что цепляться за одно «из теперешних положений» значит губить в себе человека, он «укрепил в себе желание итти в темную массу народа и там стремиться к тому, чтобы начинающий жить человек—народ не позволил себя унизить до необходимости переносить все уродства: быть лакеем, нищим, кокоткой и т. п.»

Глава третья

ВЫ ВСЕ МОЖЕТЕ

— Здесь, в Париже, у рабочих свои клубы,—говорил мне Глеб Иванович.—Можно наблюдать: чем труднее профессия, тем с большим азартом веселятся люди... Прачки и сапожники — самый неистовый народ в танцах!.. Прачка так вертит хвостом, что одним туром вальса может потушить все лампы; ей соответствует сапожник: вдвоем они поднимают такую бурю, что шляпа может слететь с головы... Пойдем посмотреть?

Мы отправились на Монмартр, где много разных кафе и зал для танцев.

У прачек было тесно.

Мы осторожно лавировали среди множества танцующих, пока наконец нам удалось занять место, удобное для наблюдений

— Какая беззаботная пара! — шепнул мне Глеб Иванович, когда мимо нас проскользнули двое — дама с цветком в волосах, красная от испарины, с открытым ртом, и кавалер — в синей блузе, весь в поту: оба улыбались и что-то кричали друг другу.

Были ли тут исключительно прачки и сапожники — трудно сказать, но по сравнению с двумя другими кафе столяров и каменщиков, куда мы заходили после, здесь танцовальный азарт был гораздо выше, чем там.

У прачек Глеба Ивановича постигло «сущее бедствие», по его выражению.

Пока пары кружились в зале, на нас никто не обращал внимания. Но в антракте нас заметили по костюму: мы были в пальто. Глеб Иванович стоял и пощипывал бородку. Вдруг грянул вальс — и к нему подлетела миловидная брюнетка с веселым смехом:

— Permetez moi de vous engager, monsieur *!

— Je ne puis pas **! — ответил Глеб Иванович, взглянув на девушку своими очаровательными глазами.

— Oh, non! — вспыхнула она от восторга: — Vous pouvez tout ***! И с этими словами положила руку на его плечо.

— Mademoiselle! Je suis malade ****!—с выражением такого ужаса на лице воскликнул Глеб Иванович, что прачка в испуге отдернула руку и, виновато повторяя: «pardon, monsieur», «pardon, monsieur» *****, медленно направилась в другой зал, то-и-дело оборачиваясь в нашу сторону.

— Могучее сословие! — сказал Глеб Иванович. — Ведь она не только положила руку на мое плечо, а сжала его так, что я чуть не вскрикнул от боли... Вы умеете танцовать? — вдруг спросил он и, когда я ответил утвердительно, прибавил:

---

* Разрешите вас пригласить.

** Я не могу.

*** О нет! Вы все можете.

**** Мадемуазель,—я болен.

***** Простите, месье.

— Пожалуйста, пригласите ее! Мне кажется—я обидел ее...

Я снял пальто, разыскал девушку и, видимо, доставил ей удовольствие, когда после двух-трех кругов по залу сделал последний тур рядом с Глебом Ивановичем.

— Mille pardons, monsieur! — воскликнула она, обращаясь к нему.—Je ne savais pas que vous êtes malade *,— и протянула ему руку.

— Ну, и силища! — говорил Глеб Иванович, вспоминая ее пожатие. — Вероятно, сразу до-суха выжимает белье...

Глава четвертая

СЧАСТЛИВОЕ КРУШЕНИЕ—ПУТЬ СВОБОДЕН

Очень часто Глеб Иванович жаловался не только на безденежье, но и на... «безысходную нужду»... Ему казалось, что он был бы «поистине счастлив», если бы мог получить в России какое-нибудь место с жалованием не больше 100 руб. в месяц, чтобы этой суммой гарантировать семье «основное пропитание», а затем уже без особых тревог заботиться о дальнейшем «приумножении капиталов».

— Писал бы не из-под палки, как теперь, — пояснял он, — а по внушению свободного рассудка...

Я предложил устроить ему эту «идиллию» при помощи моих калужских приятелей, служивших на Ряжско-Вяземской железной дороге.

— Кто же эти благодетели? — порывисто спросил Успенский.

* Тысяча извинений: я не знала, что вы больны.

— Верховский — начальник движения дороги. Шатилов и Мосолов — видные члены конторы движения. и Малинин — кажется, делопроизводитель[70].

— И они могут дать мне место?

— Не сомневаюсь. И вот почему: Верховский, Шатилов и Мосолов — люди с большим закалом 60-х годов (двое были даже на поселении), а Малинин судился по Нечаевскому процессу... От рискованных дел они уклонились, но сочувствуют им в пределах безопасности, и все страстные поклонники «Отечественных Записок». Шатилов любит читать в обществе ваши рассказы, а Верховский—Щедрина, и прекрасно читают... Уже в силу расположения к вам, как к писателю, они не только обеспечат вам «основное пропитание семьи», но и предоставят досуг для «приумножения капиталов» литературным трудом...

Глеб Иванович задумался. Быстро курил и покручивал свою бородку.

— И вдруг я получу место! — воскликнул он, как бы продолжая вслух свою думу. — Напишите, родной! Попаду на рельсы — какое спасибо скажу вам!

Я немедленно послал письмо в Калугу Алексею Михайловичу Верховскому, прося его устроить у себя Г. И. Успенского, сообразуясь с необходимостью платить ему жалованье не менее 100 руб. в месяц и не отягощать его работой, чтобы он имел свободное время для литературных занятий. Кроме того, в виду его безденежья в данный момент, я просил выслать ему прогоны 200 рублей.

Ответ из Калуги, по моему расчету, не мог придти раньше, как через две недели. Но Верховский из желания доставить удовольствие Глебу Ивановичу ответил по телеграфу: место готово и прогоны посланы».

Я отвез телеграмму в Отейль.

— Прогоны! — изумился Глеб Иванович, не зная, что я просил Верховского об этом. — Александра Васильевна! — крикнул он жене. — Поздравьте! Определен на службу, да еще с прогонами!.. Интересно,—обратился он ко мне, — на сколько лошадей пришлют ассигновку?

Он был доволен полученным ответом.

Ему не сиделось дома, и мы поехали к нам, на rue Bertolet.

— Дмитрий Александрович, поздравьте, — говорил Глеб Иванович, здороваясь с Клеменцом, — получил место в Калуге на железной дороге.

— А по какой части? — спросил Дмитрий.

— Буду подносить начальнику движения срочные телеграммы для подписи: «Счастливое крушение. Разбито 15 вагонов. Пассажиров не было. Товаров тоже. Путь свободен».

Накануне в Париж приехал С. М. Кравчинский и остановился у нас. Большой фантазер, он явился с проектом рассылать в копиях свои новые произведения близким товарищам для получения от них отзывов раньше, чем пустить ту или иную статью в печать. Для этой цели он купил себе «циклостин» и принес домой, когда у нас сидел Успенский.

— Сергей Михайлович! — радостно воскликнул Глеб Иванович, когда увидел его, и расцеловался с ним.—Пописываете?

— Как же!.. Вот купил копировальный прибор, хочу рассылать приятелям свои писания для оценки их еще в рукописях... Позвольте и вам посылать? Для меня очень ценны будут ваши указания.

Глеб Иванович с улыбкой смотрел на него.

— Когда же ваша статья попадет в печать?—спросил он, — ежели вы сначала пустите ее по рукам всех ваших друзей, приятелей и знакомых!.. И выдумает же человек сизифову работу!

Кравчинскому не понравилось это замечание.

— Положим... не всем приятелям!.. Но это необходимо потому, что я пишу ответственные статьи для революционных изданий, а не какие-нибудь рассказы для легальных...

— Значит, вы думаете, что мы пишем, не чувствуя ответственности перед читателем? Что взбрело в башку, то и жарь?.. Напрасно, господин, вы так порочите нас!

— Я вовсе не так думаю, Глеб Иванович,—захотел вывернуться Кравчинский. — У вас одна ответственность, у меня — другая. Да и не лично вас я имел в виду... Я...

— В таком случае, — перебил Успенский, — покажите-ка, что это за инструмент? Может, и мне пригодится...

Кравчинский энергично принялся развязывать покупку и об'яснять, как надо пользоваться циклостилом. Он написал для копии две строчки из песни, сочиненной Клеменцом. «Барка», где упоминается о лоцмане.

Получился плохой оттиск.

— На-ка, изобрази мою стишину! — сказал Клеменц и подал Кравчинскому свою эпиграмму на П. Л. Лаврова.

Ех-профессор, ех-философ,
Революции оплот,
Он сидит верхом на раке
И кричит: „вперед! вперед!"

Кравчинский тщательно смыл губкой с мастики свои строки и снял копию с эпиграммы.

Получился опять слепой оттиск.

Дмитрий заглянул в наставление, как обращаться с циклостином, и открыл, что Кравчинский упустил из вида какие-то нужные манипуляции.

— Позвольте, теперь я напишу, — сказал Глеб Иванович, и пока Кравчинский приготовлял мастику, написал крупными буквами:

«Манифест:

Которые теперича земли у помещиков, те и взять, деньги присылать нам, а вам жить смирно, Глеб Успенский».

В этот раз копия вышла удачной.

— Видите, инструментик-то как работает, — сказал Глеб Иванович, — если требовать от него копии глупости!.. На умное не очень-то отзывчив... Напишите-ка еще что-нибудь, Сергей Михайлович!

Кравчинский написал:

«Глеб Успенский велит вам жить смирно: не слушайтесь!»

Получилась хорошая копия.

— Э-э! Может служить нашим и вашим, — заметил Глеб Иванович. — Теперь каждую переметную суму буду звать циклостином!..

Все время, пока сидел у нас Успенский, он был в хорошем настроении: так подействовало на него известие из Калуги.

Перед уходом его Кравчинский узнал, что Глеб Иванович еще не видел его сказки «Мудрица Наумовна», и предложил захватить ее с собой с непременным условием при первом же свидании высказать свой «откровенный» взгляд, удалась ли ему эта форма популяризации «Капитала» К. Маркса.

Глава пятая

ДАВАЙТЕ ЧОКНЕМСЯ ЗА ОТЪЕЗД

Через три-четыре дня Успенский снова приехал к нам. В этот раз он был мрачен и не выпускал папиросы изо рта.

— Прочли мою «Мудрицу Наумовну»? — спросил Кравчинский.

— Потерпите, голубчик! Прочел и выскажу вам свое мнение... Сейчас же мне надо поговорить с Александром Ивановичем по неотложному делу... Не прогуляемся ли мы на бульвар S-t. Michell!? — спросил он меня.

Нежелание Глеба Ивановича сидеть в четырех стенах показывало, что он чем-то расстроен. На улице он сказал мне:

— А ведь мне приходится отказаться от места в Калуге... Александра Васильевна подсчитала, сколько нам нужно для ликвидации здешней жизни и на дорогу — не хватит никаких прогонов, даже на 10 лошадей!.. Пожалуйста, напишите Верховскому: я не могу ехать.

— Может быть, можно сообща обсудить, какие вам предстоят расходы? — спросил я.

В ответ на мой вопрос Глеб Иванович вынул из кармана целую роспись, составленную Александрой Васильевной. Неудобно было рассматривать ее на улице, и я предложил зайти в кафе, где спросил красного вина и сифон.

За отдельным столиком, когда мы уселись, я стал пробегать смету: передо мной был документ изумительного ведения хозяйства! В доме муж, жена, крошка-ребенок и одна прислуга, а расходы — достаточные

для содержания большого семейства в 6—7 человек! Красное вино, сыр, масло, белый хлеб, сахар, мясо всех видов — все это приобреталось в таких количествах, что, несомненно, значительная часть портилась или уходила на сторону. На ряду с этим прислуге не уплачено жалованья за два месяца, 80 франков!

— Как дорого обходится вам хозяйство!—сказал я.

— Ничего не поделаешь! — ответил Глеб Иванович. — От совести приходится брать лишнее.

— Как от совести?

— Кредитом пользуемся.. Если долго не платить и уменьшить забор — подумают: не жулье ли? Вот и берешь: вместо одного фунта сыра—два и т. д.

В смете Александры Васильевны поражали еще размеры «poure boire* (прислуге — 100 франков, консьерж—50 франков, гарсонам—40 франков), выкуп заложенных вещей и разные покупки на дорогу, начиная с новой шляпы...

— Чересчур много «на чай»! — заметил я.

— Нельзя иначе! У нашей Marie мы не только жалованье задерживали, но и перехватывали частенько... Консьерж тоже не без милости... Необходимо ублаготворить!

— Все-таки можно уменьшить. Вероятно всякий раз возвращались им деньги с прибавкой?

— Не без этого.

— Ну, а покупки следует прямо сократить или целиком оставить до России... Выйдет, что для от'езда вам нужно 500, много 550 рублей... Прогонов получите 200, а 300 вытребуйте из «Отечественных Записок», или... займем здесь.

---

* Чаевые.

— Да разве пришлют 200 рублей прогонов?

— Конечно, не меньше. Завтра, послезавтра получатся деньги: увидите!

— А в «Отечественные Записки», признаться, я уже написал... вчера отправил статейку и... присовокупил... Так повременить советуете, не отказываться?

— Ни в каком случае... Давайте, чокнемся за от'езд!

Глеб Иванович мало-по-молу развеселился.

— Возьмем еще бутылочку, — просительно сказал он.

— Не много ли?

— Что вы!.. И сыру кусочек!

Он становился оживленнее.

— Вот я сижу с вами в кафе, — говорил Глеб Иванович, — и невольно вспоминаю «Серапинскую гостиницу» на Забалканском проспекте в Петербурге. Там я жил в 60-х годах... Теперь знаю вас, Клеменца, Кравчинского, Лопатина [71], Кружкова... А тогда какой народ ко мне ходил! Семен Семенович, Иван Иванович, Аристарх Кузьмич — люди без фамилий и все «страдальцы за идею»... За какую? Так и не узнал... Придет, бывало, какой-нибудь Григорий Григорьевич, задаст вопрос: «Ну что новенького?» — слушает и молчит. «А у вас?» спросишь его. Махнет рукой и скажет: «Дайте-ка папироску!» Нудно с ним. «Мне надо итти», говорю. «Идите, я посижу, хотел зайти сюда Василий»... — Вернешься домой вечером, спросишь коридорного: «Был кто-нибудь?» «Как же-с! Семен Семенович были, заказали отбивную котлетку, скушали и ушли... Аристарх Кузьмич с Иваном Ивановичем заходили, по бифштексу спросили с картофелем и по стакану чаю... Вот счетик-с!»

— Да кто же это к вам ходил? — изумился я.

— А бог их знает — кто. «Люди преобразовательной эпохи», как выразился один... Бывало выдвинешь ящик комода — взять носовой платок: лежат два грязных, а чистого нет... По-братски жили... Один «преобразователь» просил найти ему работу — переписку. Достал. Принес домой... Целая сходка, и все лежат... Один на диване, двое — на кровати, четвертый на полу растянулся, на ковре. — А что, господа, Семен Семенович не заходил? — спрашиваю. «А вон, под диваном! — указал пальцем лежавший на ковре. — Назюзюкался!»

— И долго одолевали вас такие раритеты?

— С годик времени будет... Надо бы мне бросить гостиницу, перекочевать в безбуфетное пространство, да все денег нехватало рассчитаться за номер и по счетам гостей... Так и тянул из месяца в месяц...

Глеб Иванович сделал несколько глотков из своего стакана с вином и продолжал:

— Зато раз была встреча: одна стоит многих!.. Познакомился я с саратовским помещиком Павлом Васильевичем Григорьевым... До сих пор дружу с ним... Вероятно в «Библиотеке русской и иностранной беллетристики» вы читали статью П. Григорьева о стихотворениях Н. А. Некрасова—автор-то и есть мой искуситель... Пока вы вели пропаганду среди крестьян, Павел Васильевич носился с идеей «о самозванце»... «Вернейшее средство, — говорил он, — организовать крестьян: — «Константином» я вам половину России подпалю» *...

— Давайте, разопьем еще бутылочку!

---

* Далее следует рассказ, который читатель найдет на стр. 408.

Ред.

— Нет, Глеб Иванович, будет, — запротестовал я. — Пойдемте лучше к нам. Там Кравчинский ждет вашей оценки «Мудрицы Наумовны»!

— Да-а, я ведь обещал ему высказать свое мнение... Идемте!

Я рассчитался, и вы вышли.

— Хороший человек — этот Сергей Михайлович! — говорил Успенский дорогой. — Не без таланта... Вам нужны собственные писатели: поэты, беллетристы, публицисты... Наш брат не скоро приспособится к вашим требованиям...

— А ваша статья во «Вперед»: «Шила в мешке не утаишь»?

— Ну, какая это статья!.. В поповскую проповедь вставил два-три замечания мужика... Из Сергея Михайловича выработается крупный писатель... Теперь только он форсит: Карла Маркса в сказку вздумал переделать!

Кравчинский встретил нас заявлением:

— А мы давно ждем вас с чаем!

— Чайку? Можно! — ответил Глеб Иванович. — Представьте! — сказал он, когда мы вошли в кабинет.— Мое дело-то пришлось обсудить в трактире, по-купечески.., два шопинчика усидели, признаться... позадержались...

— Решили благополучно? — спросил Клеменц.

— Ясно наметил все пункты... Дальнейшее зависит от указаний практики железнодорожной, редационной и домашней... Ну-с, а теперь, — произнес Глеб Иванович торжественным тоном, — приступая к оценке произведения анонимного автора под заглавием «Мудрица Наумовна», я должен извиниться перед почтенной аудиторией, что буду говорить без достаточной

подготовки расположить ее в пользу этой прекрасной дамы...

— Любопытно! — произнес Кравчинский.

— Ничего любопытного не будет, — сказал Глеб Иванович уже своим тоном. — Не скажи вы, что в сказке зарыт «Капитал», я не заметил бы следов его... Мне думается, рабочий скорее усвоил бы идеи Маркса, если бы вы прямо изложили их простым языком, не одевая в пышные ризы фантазии.

— Простой народ любит сказки, — возразил Кравчинский.

— Любит-то любит, но любит, чтобы все было на месте, где полагается. Он допустит семь голов на шее, а посадите их на ноги — не одобрит...

— Разве у меня есть что-нибудь подобное?

— В роде того... Сколько у Мудрицы Наумовны должно быть ног? — Две, как у человека, а у нее — не то четыре, не то больше.

— Где вы насчитали столько?

— На болоте... Вы пустили свою Мудрицу по кочкам, по болотам, через всякие буераки... Бежит она по болоту, ножками перебирает, точно сороконожка какая... Ежели у нее были бы две ноги, как у всякой дамы, провалилась бы в воду — и конец! А ваша Мудрица пробежала благополучно, хотя, я думаю... все-таки подмочила свои ризы, простудилась, потому что после болота заговорила еще невразумительнее...

— Ну, вы придираетесь, Глеб Иванович! Ведь тут фантазия.

— Не обижайтесь, дорогой мой! Не фантазия, а особая литературная форма, именуемая: «чорт знает что»!..

Глеб Иванович привел еще две-три неудачных аллегории и сказал:

3078—21

— А все-таки хорошо; право, хорошо!.. Виден талант...

Наша беседа неожиданно оборвалась появлением Александры Васильевны.

— Здесь Глеб Иванович? — донесся ее голос из передней.

Взволнованная, вся в черном, она вошла в кабинет, куда пригласил ее Клеменц, и, не замечая ни меня, ни Кравчинского, обратилась к Глебу Ивановичу:

— Что с вами!.. Обещали вернуться скоро, а прошло больше четырех часов — вас все нет! Я справлялась у Тургенева, у Г. — не там ли вы?.. Измучилась!

— И совершенно напрасно беспокоили себя и других, — ответил Глеб Иванович, встав с места. — Я предупредил вас, что еду к Александру Ивановичу. — Он сделал жест рукой. — Как видите — здесь?

— Ах, здравствуйте, Александр Иванович! — протянула она мне руку. — И Сергей Михайлович!.. Давно ли приехали?.. Извините, не поздоровалась с вами, как вошла!.. Я очень расстроена... Глеб Иванович уехал из дому такой угнетенный...

Он промолчал, нервно теребя свою бородку.

— Не желаете ли чайку из России, Александра Васильевна? — предложил я. — Вот, садитесь к столику.

— Пожалуй, выпью стакан... Вам сказал Глеб Иванович, что он принужден отказаться от места в Калуге?

— Зачем отказываться? — ответил я. — Отложить надо от'езд на короткое время... Ведь причина—деньги? Их можно достать.

— Можно достать?... Хорошо бы. Мне хотелось бы поскорее выбраться из Парижа, хотя Глеб Иванович стал колебаться: он говорит, что, если бы чуть-чуть улучшилось его положение, он прожил бы здесь еще

год... Ему нравится ваша компания... Да и я довольна, что он бывает у вас. (Как сам Глеб Иванович ценил нашу компанию, можно видеть из его письма к В. А. Гольцеву, где встречаются такие строки: «За границей-то я и пришел в себя и, несмотря на крайнюю бедность, стал писать по возможности сознательно. Наша хорошая молодежь, среди которой я был, окончательно порвала мою связь с пьяным миром».).

— Это и видно! — заметил Клеменц. — Иначе не пожаловали бы вытащить его от нас...

— Ну, что вы!.. Случайное совпадение...

— Вы кончили чаепитие? — спросил Глеб Иванович Александру Васильевну, подойдя к нашему столику. — Кончили, так едем домой... Ведь Сашечка-то один остался!

Они торопливо простились с нами и направились в переднюю.

— Александр Иванович, так я вас жду, — сказал Успенский.

— Непременно, Глеб Иванович, непременно!

Глава шестая

ПОЛУЧИТЕ-КА КАПИТАЛЕЦ

Не прошло трех дней, как получились из Калуги деньги для Глеба Ивановича. Я поторопился отвезти их в Отейль.

Дома была только Александра Васильевна.

— Глеб ушел погулять в Булонский лес,—об'яснила она его отсутствие. — Вы посидите: он скоро вернется... Глеб Иванович очень удручен, что из «Отечественных Записок» не шлют денег, и боится, как бы без них все

прогоны из Калуги не ушли на хозяйство и уплату долгов: тогда не с чем будет выехать из Парижа...

— Ну, придумаем какую-нибудь новую комбинацию, — возразил я. — Из Калуги прислали 200 рублей, я привез.

— Прислали? Вот хорошо... Спасибо вам... Вернется Глеб Иванович — надо будет обсудить, как распорядиться ими...

— Алек-сандр Ива-но-вич! — воскликнул Успенский, когда, по возвращении домой, увидел меня.

— И с деньгами... — поторопилась сообщить Александра Васильевна.

— Из Калуги?.. Да, — произнес равнодушно Глеб Иванович. — Придется немедленно послать их обратно.

На мой вопрос: почему? — он об'яснил:

— После нашего подсчета... помните, на бульваре S-t Michel?.. нагрянули еще непредвиденные расходы, и открылись новые должники... Даже с деньгами от Елисеева не выкроишь на поездку... Да и пришлют ли из «Отечественных Записок»... Сильно сомневаюсь... Из Калуги — 200 рублей?

— Да, 200... Вот получите!

Глеб Иванович взял деньги, посмотрел на них и положил на стол.

— Хорош капиталец, — сказал он, — да не про нашу честь!.. Возьмите-ка, голубчик, и верните завтра Верховскому, а я напишу ему благодарственное письмо...

Я предложил не торопиться возвращать деньги и подождать ответа из «Отечественных Записок».

— Несомненно, вашу просьбу исполнят, — сказал я, — и тогда в вашем распоряжении будет 500 рублей... Разве этой суммы нехватит, чтобы ликвидировать долги и уехать в Россию?

Глеб Иванович закурил новую папиросу, склонил голову на бок и с улыбкой произнес:

— Еще вопрос, удержатся ли эти 200 рублей до денег Григория Захаровича... Александра Васильевна подвела итоги новейших неотложных расходов, и с калужским капиталом в кармане, признаться, будет трудновато не пустить его в оборот...

— Ну, что вы, Глеб Иванович! — воскликнула Александра Васильевна. — Конечно, можно не тратить 200 рублей... Разве нельзя удержаться?

— Потрудитесь,—сказать Успенский, сделав характерный жест левой рукой с двумя вытянутыми пальцами. — Нам с вами легко удержаться от трат, когда нет денег в кармане... да и то норовим ухватить в долг...

— Что подумает о нас Александр Иванович после такой характеристики, — конфузливо заметила Александра Васильевна.

— Ничего худого, — ответил я: — экономия, расчетливость, скопидомство не пользуются моей симпатией... Если вы истратите эти 200 рублей, я только постараюсь, как уже сказал, придумать новую комбинацию для от'езда Глеба Ивановича...

— Придумаете? — переспросил Успенский и, не дождавшись ответа, быстро зашагал в другую комнату, откуда вдруг вылетел крик его первенца. За ним скрылась Александра Васильевна... Через две-три минуты Глеб Иванович вернулся, держа на руках своего «Сашечку».

— Дай ручку Александру Ивановичу, — сказал он.

Ребенок протянул руку прямо к моим губам.

— Вы видели, как он тушит спички? Посмотрите.

Настроение Глеба Ивановича резко изменилось, и вместо прежнего унылого тона он говорил радостно.

Опустившись на диван, он посадил перед собой сына на стол и взял коробку спичек. Мальчик заерзал на столе и вытянул губки, приготовляясь дуть... Спичка вспыхнула и погасла. Ребенок с досадой замахал ручонками.

— Сейчас, сейчас, — успокаивал его Глеб Иванович, зажигая вторую спичку. — Смотрите на его глазки: сколько любознательности в них.

Спичка горела. Мальчик внимательно следил за колебанием пламени и, видимо, ждал, когда предложат ему потушить огонь.

— Дуй, дуй!—торопливо сказал Глеб Иванович, приближая спичку к сыну.

Он не мог еще сразу потушить пламя и безостановочно дул, увеличивая его колебания. Наконец Глеб Иванович приблизил спичку настолько, что от дуновения ребенка она погасла.

Мальчик опять заерзал на столе и замахал ручонками, издавая какой-то сложный звук, принятый Глебом Ивановичем за требование «еще!».

— Хочешь еще?.. Ну... вот! — и Глеб Иванович повторил опыт с новой спичкой. — Изумительно! — говорил он. — Я пробовал давать ему спичку за спичкой, и он с одинаковым интересом тушил и тушил... Для нас это — однообразное, скучное занятие, а ребенок все открывает в нем что-то новое... Вероятно, дети не могут сразу получить цельное впечатление от предмета, воспринимают его по частям, как неграмотные крестьяне готовы слушать без конца чтение одного и того же занимательного рассказа, пока не усвоят его целиком...

В комнату вошла Александра Васильевна и, протянув руки к сыну, чтобы унести его, сказала:

— Взять от вас этого гасителя света?.. Ему пора есть...

— Меня занимает детская психология, — продолжал Глеб Иванович.—Я наблюдаю, как Сашечка относится ко всему, что окружает его, и часто становлюсь в тупик, не зная, чем об'яснить то или другое движение его души... Чаще всего терзает меня его плач... Почему плачет? Чего хочет? Что нужно?.. Сдуру суешь конфету, игрушку, зажигаешь спичку, берешь на руки — ничего не помогает. «Вероятно, животик болит», — высказывает предположение Александра Васильевна... Хватаемся за животик — массаж просто рукой, рукой с маслом, согревающий компресс. Утомленный волнением и криком, вызванными неизвестно чем — непонятой просьбой, болью, досадой — Сашечка наконец засыпает... «Ну, конечно, животик», — закрепляет свою догадку Александра Васильевна, и я, чувствуя полную беспомощность разобраться в психологии ребенка, соглашаюсь: да, животик!

— Значит, в моменты родительской растерянности все равно — дома вы или нет? — с улыбкой спросил я.

— Это к чему же, господин, такой вопрос? Хотите одного меня отправить в Россию, а Александру Васильевну с Сашечкой попридержать здесь?.. Признаться, я об этом сам подумывал. Но нельзя нам разорваться на две части. Первым делом, Александра Васильевна и при мне весьма неспокойна, когда у нас нет денег, а без меня — и вовсе изведется, чуть в получке капиталов выйдет заминка... Ну, а жить в Питере или Калуге и ежечасно представлять себе тревогу Александры Васильевны, ее волнения, страх, раз'езды по Парижу в поисках десяти франков, переживать все это с болью в сердце при каждом получении письма, телеграммы —

воля ваша, сил нехватит... При моей наличности в семье нам обоим легче... даже без всякой наличности, и переселяться в Россию необходимо сразу втроем... Кабы только поскорее получить деньги из «Отечественных Записок»... Вы думаете, пришлют?

— Несомненно, Глеб Иванович.

— Можно, значит, не возвращать этих 200 рублей?

— Конечно.

— Александра Васильевна!.. Получите-ка капиталец... Позаткнем дырки, откуда особенно хлещет и отшибает, и прикупим, чего надо... маленько.

Когда прибыли деньги из «Отечественных Записок», от «капитальца» не осталось и следа... В этот раз к обычным причинам беспокойства Глеба Ивановича присоединился новый мотив: «Спустил все прогоны, и не добраться до места служения».

— Посчитайте-ка! — возбужденно говорил он.—Для ликвидации здешней жизни надо мало-мало сто рублей — раз; дорога до Питера во втором классе (с Сашечкой ведь не поедешь в третьем?) без малого двести — два; да на первоначальное устройство Александры Васильевны с ребенком около сотни, — вот и все 300 рублей... На что же я двинусь в Калугу?

При данных условиях менее впечатлительный человек не считал бы себя в безвыходном положении, но Глеб Иванович был болезненно удручен и быстро крутил свою бородку.

— До Петербурга еще доберусь как-нибудь, а дальше... относительно Калуги-то... придется признать себя ска-ти-ной.

Необходимо было вывести Глеба Ивановича из угнетенного состояния, и на выручку явился наш общий друг, Мария Павловна Лешерн-фон-Герцфельд.

Она просила Глеба Ивановича не смущаться соображением, как он попадет в Калугу, и готовиться к от'езду. Если обнаружится в дороге, что ему нехватит денег, пусть он завернет в Минск, к ее брату, Николаю Павловичу Мейнгардту, управляющему Ландварово-Роменской железной дороги, и передаст ему ее письмо.

Она напишет, чтобы он дал 200—300 рублей, сколько потребуется...

— И он даст? — удивленно спросил Глеб Иванович.

— Непременно. Я напишу, что деньги нужны мне... Брат охотно исполнит мою просьбу, тем более, что он получает десятки тысяч, а такая сумма—пустяк для него.

— Превосходно!.. Ну, а вам-то когда же я верну... этот пустяк?

— Сосчитаемся... Об этом не думайте.

— Лучше постарайтесь ускорить свой от'езд, чтобы сократить расходы в Париже, — сказал я.

— Я сейчас... Поеду к Александре Васильевне... Скажу, что снова призван к жизни... Воскресили вы меня, Марья Павловна... Спасибо! — с чувством произнес Глеб Иванович, пожимая ее руку.

Он направился к выходу и вдруг остановился перед самой дверью.

— Знаете, что? — обратился он ко мне. — Пусть Александра Васильевна укладывается с Marie, прихватит вместо меня мужа concierge * (какой же я укладчик!)... а мы с вами давайте погуляем последние дни по Парижу. Согласны?

— С большим удовольствием.

— Значит, au revoir **.

---

* Привратница.

** До свиданья.

Глава седьмая

ЛЮБОВНАЯ НЕБЛАГОНАДЕЖНОСТЬ

Когда, дня через два, я зашел к Глебу Ивановичу, он встретил меня довольно сумрачно.

— Александра Васильевна протестует против наших прогулок,—сказал он и насмешливо улыбнулся. — Видите ли, очень серьезные доводы. Во-первых, я нужен для укладки вещей: с Marie и с мужем concierge она не управится; во-вторых, наши прогулки влетят в копеечку, а перед от'ездом каждый сантим — капитал, и, в третьих, самый неотразимый аргумент, мое присутствие дома крайне важно именно в последние дни на случай семейного совета, например, не захватить ли мой старый галстук?

— Разве я не права? — спросила Александра Васильевна. — Глеб хочет побывать с вами в Сен-Клу, в Butte de Chaumont, еще где-то... Значит, будут пропадать целые дни... не обойдется без трат, а потом... сожаления, вздохи...

— Какие же траты? Позвольте спросить, — возразил Глеб Иванович. — До Сен-Клу на пароходе по Сене, в Butte de Chaumont возьмем correspondance *... где-нибудь подзакусим маленько — вот вся смета: даже мой карман не заметит!

—То-то п о д з а к у с и м! — с особым ударением повторила это слово Александра Васильевна.

— И под-за-ку-сим! — с оттенком недовольства произнес Глеб Иванович. — Так подзакусим, что все шантаны об'ездим!

---

* Омнибус с пересадкой.

— Ну, до этого не дойдет; что вам там делать!

— Успокойтесь, Александра Васильевна! — сказал я. — Как отразится на ваших сборах отсутствие Глеба Ивановича, не представляю себе, но чувствительных расходов ему не предстоит: на прощанье он будет моим гидом, а я за это отблагодарю его подвижной «отвальной» в каких-нибудь epiceries *...

— Видите, как, с божьей помощью, обернулись мои безумные траты, — сказал Глеб Иванович, с улыбкой покручивая свою бородку.

Дорогой на пароход он говорил мне:

— Вы думаете, протестуя против моих отлучек, Александра Васильевна приводит настоящие мотивы своего недовольства? Нет, за ними таится чувство ревности.

— Ну, что вы!

— Не зайди вы сегодня за мной, она продолжала бы терзаться подозрением, что прогулка с вами—один предлог улизнуть к дочерям Г. В последнее время ее воображение раотает в этом направлении. Ей говоришь: был в вашей компании, беседовали о том-то, — она смотрит, смотрит на меня пристально, в упор — и вдруг: «А у Г. не был?»

— Кто эти Г.?

— Г. — молодые девушки, по своему развитию скорее дети, чем взрослые, не могут ущемить ни моего сердца, ни ума, но Александра Васильевна заметила раз их радушие при встрече со мной и с тех пор строит догадки у этого пустого места...

— Все это Александра Васильевна говорит вам?

— Нет, прямо не говорит, но ее сосредоточенный взгляд, намеки, тревожное ожидание, когда меня

* Бакалейный магазин.

нет и замешательство при встрече, часто переходящее в слезы, — все это лучше слов раскрывает ее душу...

Успенский остановился, вставил в гильзу почти совсем докуренной папиросы новую и продолжал, волнуясь:

— Ужасно тяжело находиться в подозрении насчет любовной благонадежности! Чувствуешь себя связанным в каждом движении. Намереваешься, примерно, повидать Петрова или Семенова, повидать так, без особой надобности, но не можешь сказать просто: «иду туда-то», потому что в голове вертится мысль: «заподозрит мой алюр», и умышленно выдвигаешь вперед настоятельную необходимость визита, хотя ее нет... А застрял в гостях, пересидел заранее определенное время, уже представляешь себе душевную бурю дома, а за ней мучительную уверенность. «Ясно, попал не туда, куда хотел», и по возвращении действительно слышишь: «а я думала, не зашел ли ты куда-нибудь»...

Мы шли по берегу Сены.

— Присядем здесь, — предложил Глеб Иванович, когда мы поровнялись с лавчонкой, где можно было спросить сифон с красным вином.

— Говорят: ревность — оборотная сторона любовной страсти, — проговорил Успенский, выпив залпом свой стакан. — Не знаю, так ли, но факт тот, что страсть по временам стихает, а ревность не знает устали... Вот сидим мы с Александрой Васильевной дома, вдвоем, можно сказать, воркуем... Вдруг — звонок в передней. Почтальон принес письмо. Александра Васильевна опережает Marie, берет конверт в руки и, пока несет мне, разглядывает адрес. «Чей это почерк? — смущенно говорит она. — Точно женский!» А письмо от Исидора

Гольдсмита. Или усаживаюсь я к столу писать. Беру почтовую бумагу (я всегда пишу на ней), наклоняю голову и чувствую, что она смотрит на меня... «Вы что?» спрашиваю. «Ты пишешь письмо?..» Достаточно этого вопроса, чтобы писательские мысли разлетелись, как воробьи от выстрела, и захватило раздумье о семейных путах, позвякивающих довольно частенько и неприятно... Самое гнусное чувство собственности—супружеское: «ты мой», «не отдам». Оно требует безраздельной принадлежности одного человека другому; не допускает ни малейшей свободы в выборе знакомств, сношений, времяпровождения и решительно пред'являет права на получение постоянного отчета: куда идешь? где был? кого видел? что тебе не сидится дома?.. Безропотно, покорно переносить любовный деспотизм с его надоедливым контролем над каждой мыслью, над каждым движением—ведь это отказаться от себя самого, утратить права на независимое существование! Разве это мыслимо!.. Терпишь, терпишь — и вдруг фыркнешь. А фыркнул—потоки слез, несправедливые упреки, жалобы... Извольте восстановлять истину... Что говорить: занятие приятное для ревнивого сердца, жаждущего лишний раз услышать признание в любви хотя бы в такой форме, но не для меня, не повинного перед ним ни душой, ни телом: я предпочитаю убегать из дому от этих любовных упражнений... И убегаю. Однажды три дня пропадал, даже застрелиться хотел, но денег не нашлось купить пистолет...

— Застрелиться из-за ревности «на пустом месте», как вы говорите? — изумился я.

— Такая-то ревность и мутит... Навалились тогда сразу все злодейства: денег не было, нужда вылезала из всех щелей, к письменному столу не влекло... Стал

я шляться в Булонском лесу... Мыкался, мыкался из конца в конец и догулялся до подозрительных взглядов и расспросов Александры Васильевны... И раньше они были некстати, а тут перевернули все нутро, мысль уперлась в безнадежный тупик, все перспективы исчезли, охватила меня прямо безысходность... Да, государь мой, будь у меня в тот момент десять франков на Лефошэ, не попивали бы мы с вами винцо *...

— Вы сказали об этом Александре Васильевне?

— Как же, в тот же день сказал, как образумился и вернулся домой... Конечно, теплые слезы, раскаяние... Потишела месяца на два, а потом—опять это слепое чувство...

Меня заинтересовал вопрос: при каких условиях Глеб Иванович заметил признаки ревности Александры Васильевны, не подал ли сам он повода подозревать его в «любовной неблагонадежности» и неужели весь период их близости отмечен вспышками «слепого чувства»?..

После остановки в пути мы скоро сели на пароход, направлявшийся в Сен-Клу.

На левом, высоком берегу Сены, среди богатой растительности, показались развалины грандиозного сооружения.

— Эх, Наполеонтий, Наполеонтий! — воскликнул Глеб Иванович. — Какое именьице прогулял... Чудный парк, бассейн, фонтан... был роскошный дворец. Здесь в 1870 году он, на свою голову, пруссакам войну об'явил.. Немцы залезли сюда, а французы, задыхаясь

---

* Об этом случае Г. И. Успенский упоминает в письме к В. А. Гольцову, говоря: „За границей я пережил такие моменты, когда готов был даже наложить на себя руки".

от злобы на все, что напоминало Бонопартов, давай громить Сен-Клу ядрами из форта Мон-Валерьен: разрушили и сожгли дворец до основания...

В парке мы встречали кое-где обожженные деревья. новые скамейки, взамен старых, пострадавших от бомб. Однако, если не считать развалин дворца с его пристройками, не замечалось больших следов разрушения.

— Быстро оправляются французы, — говорил Глеб Иванович: — выбросили в немецкое хайло пять миллиардов — и ничего... А немцы, прямо сказать, обалдели от успеха! Я видел их в Берлине в 1871 году, после разгрома Франции. Все эти Фрицы, Михели, Карлушки-колбасники разбухли от сознания солдатского величия: ходят самодовольные, грудь колесом, морда кверху, усы — словно бычачьи рога... Перед дворцом то-и-дело в каком-то исступлении вскидывают и опускают ружья; по тротуарам щелкают шпорами; царапают асфальт саблями на колесах... Везде лязг, шум, звон... При встрече с своим братом — у каски два пальца и гордая улыбка; в толпе — презрение в глазах и что-то зверское... А дальше что будет, когда все пять миллиардов они ухлопают на новые пушки, ружья, палаши!.. Ведь только и думают, как бы, стальной щетиною сверкая, нагнать на всех страх!

— Но французы не очень огорчены постигшими их бедствиями, — сказал я, — утешились изгнанием Наполеонтия навсегда.

— Хорошо, как навсегда!.. Citoyen'ы * любят liberté, égalité и fraternité **... даже тюрьмы украшают такими

* Граждане.

** Свобода, равенство и братство.

надписями... и в то же время слабоваты насчет парадов, орденов... как бы не заскучали об них? Бывали примеры... Правда, расправа с коммуной версальского правительства показала, каких злодеев наплодил наполеоновский режим... Возвращаться к нему не очень-то соблазнительно, даже если какой-нибудь авантюрист и станет махать лентами почетного легиона... Авось, утвердится республика!

В парке мы сели на лавочку.

Я поднял вопрос, заинтересовавший меня, когда Глеб Иванович говорил о ревности Александры Васильевны.

— Сам я дал маху, — ответил Успенский. — Всегда я посвящал Александру Васильевну во все: где был, с кем виделся, как проводил время — ничего не скрывал от нее. Но вот со дня на день она ждала появления Сашечки, а на меня совершенно неожиданно прицелилась набросить любовную сеть одна девица, с уверенностью, во что бы то ни стало запутать в свои петли... Из боязни,—тут-то и был сделан первый ложный шаг,— из предосторожности, как бы не потревожить Александру Васильевну рассказом о слишком смелом, решительном нападении на меня, я умолчал о первой встрече с девицей, о прогулке с нею по Невскому и беседе в отдельном кабинете в Знаменской гостинице: ловкой змеей обернулась — незаметно обвилась и потащила за собой... Скрыл я от Александры Васильевны этот ритурнель, а затем быстрые подходы девицы обратились в сплошное преследование с записками, назначениями свиданий — Александра Васильевна могла подумать, что роман — не в первой стадии развития, и я усугубил свое молчание.

— Откуда взялась эта девица? — спросил я.

— А видите, как было дело. В едину от суббот, когда у Александра Александровича Ольхина [72] был очередной веселый вечер с молодежью, дамами, танцами, явился туда я с корректурой биографии Решетникова [73]. Я был поглощен мыслями, навеянными на меня его перепиской, дневником, заметками, отрывками сочинений... Частью материала я воспользовался для биографии, а другая, не совсем удобная для печати, носилась в голове.

— Не желаете ли, господа, — обратился я к танцорам, — отдохнуть, послушать биографию Ф. М. Решетникова? Вчера только кончил и под свежим впечатлением любопытного материала могу делать к ней словесные добавления. — «Пожалуйста, пожалуйста!» закричали все и бросились подсаживаться к столу, где я разложил свои листочки... Рядом со мной очутилась красивая высокая блондинка, подперла руками лицо и, вперив в меня жгучий взор карих глаз приготовилась слушать.

Вообще надо заметить, чтение Глеба Ивановича отличалось выразительностью, напоминавшею его манеру говорить.

Оно захватывало особенно слушателя, если Глеб Иванович прерывал чтение разговорной речью с неожиданными остроумными сравнениями, примерами, мимикой и жестами... Легко представить себе, в какое восхищение пришла молодежь, слушая интересную биографию Ф. М. Решетникова в изложении Успенского.

— Несколько раз меня прерывали аплодисментами, — говорил Глеб Иванович, — а когда я кончил, поднялся такой оглушительный треск, стук ногами и стульями, что грохот этого неистовства вылетел на улицу и вероятно так встревожил городового, что он донес

в полицию о преступном сборище: по крайней мере с этого вечера стали следить за квартирой Ольхина.

Когда я одевался в передней — итти домой, ко мне подошла красивая блондинка, пристально посмотрела на меня и, протянув руку в перчатке, произнесла:

— Позвольте поблагодарить вас от души... Ах, если бы чаще вы читали на наших вечерах, было бы куда приятнее танцев... Мне хочется спросить вас кое-что о Решетникове, но вы торопитесь, к сожалению, — прибавила она со вздохом, застегивая свое пальто.

— Если не претендуете на целый реферат — пройдемтесь, — предложил я.

— А вы далеко живете?

— На Невском, за Знаменской площадью.

— Значит, нам по пути.

С Малой Итальянской, где жил Ольхин, мы повернули на Надеждинскую и прошли на Невский. Девица сразу увлекла меня в полемику, заставив защищать Решетникова от ее уверений, будто он — графоман, не больше.

За этим разговором мы раза три прошлись по Невскому. Девица уставать стала...

— Хотелось бы присесть где-нибудь, — говорит. — К сожалению, не могу пригласить вас к себе: для поздних визитов мои родственники — неподходящие люди.

— И у меня большое неудобство,—говорю,—жена больна.

— Зайдемте в ресторан!

Так мы очутились в отдельном кабинете Знаменской гостиницы... Пришлось спросить чего-нибудь. Она пожелала чаю, я взял бутылку пива. После моей защиты «Подлиповцев» и «Где лучше», не поколебавшей ее взгляда, она подошла к вопросу с другой стороны.

— Ну, хорошо, — сказала она, — я могу согласиться с вами, что недостатки произведений Решетникова об'ясняются неблагоприятными условиями его жизни; изменись обстановка к лучшему — он писал бы лучше. Но его пристрастие к вину ведь это — явный признак, что он не был идейным человеком, его ум не горел заботой о людском счастьи... По-моему, искать забвенья в водке от всяких невзгод — удел мелких натур. Разве человек идеи согласится терять сознание хотя бы на один час, а ваш Федор Михайлович постоянно находился под влиянием винных паров... Вот почему мне и кажется, что он был больше графоманом, чем писателем.

Тут я вышел из себя.

— Ну, сударыня, говорю, в этом вопросе вы — не судья! Литературный труд сопряжен с такими тяжелыми переживаниями, что писателю часто необходимо прибегать к наркотическим средствам (табаку, вину, брому, хлорал-гидрату), чтобы привести себя в норму и снова приняться за работу... Возьмите такой случай. Вы пишете. Мысль ваша развивается в направлении несомненной истины, вдруг — соображение о цензуре!.. Уверенность, что вся ваша правда, ваш труд погибнет, рвет в клочки вашу мысль, и получается мучительное ощущение: точно перерезали вам нерв тупыми ножницами...

— Ну, это вы такой впечатлительный, — возразила она, — другие вероятно так не страдают при воспоминании о цензуре.

— Всякому дорога своя мысль... Будь у меня время, я раскрыл бы вам ужасные моменты писательской жизни, и тогда, надеюсь, вы не стали бы смотреть косо... ну, хоть на мою бутылку.

— Ну что вы, Глеб Иванович, — воскликнула девица и схватила меня за руку. — Вас я не имею в виду. Вы особенный, вы... — И пошла расхваливать меня по всем правилам расстроенного воображения...

В ресторане я все время сидел в тревоге: было уже поздно, и меня беспокоила мысль, как-то чувствует себя Александра Васильевна? Я предложил девице разойтись по домам. Она запротестовала, стала просить «посидеть еще часик» и познакомить ее с тяжелыми моментами писательской жизни, чтобы она могла судить правильно о литературном творчестве. Остаться я положительно не мог: так захватило беспокойство за Александру Васильевну. Чтобы покончить с упорством девицы—«подождите», посидите, прошу вас» — я сказал:

— Сейчас остаться просто не в силах. Хотите, встретимся завтра?

— А где?

— В двенадцать часов дня в Екатерининском сквере.

— Хорошо, — говорит, — только не опоздайте! Я буду ровно в двенадцать часов, вместе с ударом пушки.

На улице она взяла извозчика, и мы расстались.

Дома я застал Александру Васильевну в большом смущении: приближались роды...

Явился Сашечка. В разных хлопотах я основательно забыл девицу. Но она не забыла меня. Каждый день стала присылать записки по почте с назначением свиданий то на Николаевском вокзале, то в Екатерининском сквере; раз даже зашла с черного хода спросить у кухарки, здоров ли я. Я не отвечал ей.

Прошла неделя со времени рождения Сашечки, я сидел у постели Александры Васильевны, вдруг—звонок. Вошла прислуга и подала мне довольно об'емистое

письмо, сказав, что принес посыльный и ждет ответа. Я вышел в другую комнату посмотреть, от кого письмо. Оказалось, пишет девица!.. Страстный, безумный лепет влюбленной с упреками в жестокости и в то же время с надеждой на взаимность, потому, видите ли, что, если бы она не приглянулась мне с первого раза, то вряд ли я гулял бы с нею по Невскому, сидел в отдельном кабинете ресторана и назначил ей на другой день свидание в Екатерининском сквере: ловко скомбинировала все факты в свою пользу. Чему приписать мое упорное нежелание видеть ее? Допустить, что я болен, она не может, потому что лично справлялась о моем здоровьи на дому и вчера видела меня с кем-то на извозчике... Ей необходимо видеть меня. Когда, где — ей безразлично. Она лишь просит пожалеть ее, не томить продолжительным ожиданием встречи, так как все это время она не знает покоя ни днем, ни ночью...

Признаюсь, смутило меня это письмо. Без предварительных об'яснений по характеру содержания, его нельзя было показать Александре Васильевне; ответить смелой, решительной девице категорически: «убирайтесь к чорту с вашей любовью!» было рискованно... Я машинально вышел к посыльному и сказал, что пришлю ответ по почте...

Когда я вернулся к Александре Васильевне и она спросила, от кого такое большое письмо, я ответил: «Кривенко прислал чью-то рукопись, просит просмотреть»...

Через два-три дня раскрылось, какая это рукопись. Письмо лежало в кармане моего пиджака. Я небрежно бросил пиджак на стул, и письмо очутилось под столом. Прислуга, убирая комнату в мое отсутствие, заметила его и подала Александре Васильевне. Думая, что это

рукопись от Кривенко, Александра Васильевна заглянула в письмо. Сердце ее замерло, когда она увидела, какими любовными эпитетами девица уснастила свое обращение ко мне... С ней сделалась истерика, пришлось приводить ее в чувство... Когда, по возвращении домой, я зашел к ней, она встретила меня слезами, а на мой вопрос, что с нею, подала письмо, сказав, что была уверена, что это—рукопись от Кривенко... Я старался убедить ее, что если на основании этого письма она пришла к мысли о моей измене, то жестоко ошиблась. Я рассказал ей все, как было, и просил прочесть письмо целиком. Я думал, мои доводы вместе с письмом убедят ее, что у меня и в помышлении не было спускать на девицу амура... Но я не достиг цели... Вся в слезах, Александра Васильевна спросила: «Почему же раньше ты не сказал мне об этом?»—«Я хотел отстранить от тебя всякое беспокойство,—ответил я и сейчас же понял, что это об'яснение не удовлетворит ее... Она сильнее расплакалась. Я с досадой ушел в свою комнату, сказав: «Ну, время покажет тебе, что я прав!»

Но время не давало успокоения. Девица все настойчивее добивалась свидания. Раз я вышел из квартиры и заметил, что она прохаживается около нашего дома. Я взял извозчика и велел ему ехать как можно скорее. Через мгновение она уж гналась за мной на лихаче и, поравнявшись, окликнула: «Глеб Иванович!» Меня обуял страх... Некоторое время мы ехали рядом, и она все твердила: «Почему вы избегаете меня? Чем я провинилась?» На Надеждинской я остановился у знакомого табачного магазина, сунул извозчику деньги и быстро вошел в магазин с намерением скрыться через заднюю дверь. Только я показался на дворе, как увидел ее. Она шла навстречу, протягивая руки. «Оставьте

меня в покое, — крикнул я, — никаких свиданий я не желаю». — «Да почему? Скажите», спрашивала она, сильно жестикулируя. В ответ я повернулся и снова вошел в магазин. С полчаса я пробыл там, пока она образумилась и уехала.

Я полагал, что этот случай будет последним в ряде ее домогательств. Но ошибся. Она продолжала назначать мне свидания и наконец известила, что каждый день будет ждать меня от двенадцати до двух часов на Николаевском вокзале. Не в пример другим посланиям, даже грозившим добраться до меня во что бы то ни стало, эта записка была в нежном тоне, с мольбой пожалеть ее молодость, не лишать счастья провести со мной хотя мгновенье... После этого послания прошла, пожалуй, неделя без писем. Но вот, в день крестин Сашечки, когда совершался обряд, раздался неистовый звонок в передней. Я отворил дверь. Вошел посыльный внушительного вида. Он подал письмо. Было всего две строчки: «Я на вокзале. Прошу ответить: увижу или нет». Я сказал посыльному: — Ступайте, ответа не будет. Он заорал на всю квартиру: «Без ответа не приказано уходить». — Ступайте, я вам говорю. Вот вам на чай. — Он поблагодарил и прибавил: «Велено беспременно, чтоб ответ принес».—У меня крестины, а вы кричите... Уходите, пожалуйста, — сказал я, выпроваживая его за дверь, и сунул ему еще мелочи. Он ушел.

Появление посыльного и его крик очень взволновали Александру Васильевну... Между тем девица готовила ей более потрясающий сюрприз. Пронюхала она (вероятно, через кухарку), что с появлением Сашечки нам нужна няня или горничная и, нарядившись в соответствующий костюм, пришла наниматься.

По описанию моему ее внешних примет и по разговору Александра Васильевна догадалась, что это — она, и, почему-то заподозрев, что девица явилась с намерением совершить убийство, в испуге прибежала ко мне...

Я вышел в кухню и не застал уже «горничной»: она исчезла, оставив на память свою визитную карточку...

Потянулись скучные дни. Я боялся выходить на улицу из опасения встречи с девицей и чувствовал себя отвратительно без личных сношений с редакцией и с нужными людьми... Прошло недели две моего затворничества.

Раз вечером ко мне зашел Николай Константинович Михайловский и убедил меня пройтись с ним по Невскому. В Екатерининском сквере мы присели на лавочку покурить. Вдруг, откуда ни возьмись — передо мной торговка с лотком; протянула мне лоскуток бумаги: «Прочти, кормилец, адресок, я неграмотная»... Я взял бумажку, подошел к фонарю и... смутился — мой адрес; взглянул на бабу — она... «Когда же кончится ваше преследование!» — чуть не закричал я... Мой голос услыхал Николай Константинович и подошел к нам... «Я без вас жить не могу... Каждый день брожу по улицам в ожидании встречи», — волнуясь, проговорила мучительница.

— Послушайте, — сказал ей Михайловский, — присядем вон на ту лавочку; я хочу поговорить с вами. Ведь вы видали меня у Ольхина?

Они отошли в сторону, а я подрал домой.

Николаю Константиновичу удалось убедить девицу оставить меня в покое. Он неопровержимо доказал ей, что упорство, с каким она преследует меня, только угнетает и держит меня в постоянном страхе, — разве

на такой почве может родиться симпатия? Девица восприняла мудрый совет, образумилась и стала лишь изредка напоминать о себе присылкой фруктов со вложением визитной карточки.

Александра Васильевна, к сожалению, не усвоила взгляда Николая Константиновича на мои отношения к девице и продолжала подозревать меня в измене...

Вот с этого-то случая, — закончил Глеб Иванович свой рассказ, — и стала культивироваться в ее сердце ревность, причиняя нам обоим неприятности...

Девица эта по временам то исчезала, то снова появлялась. При виде ее неизменного приношения в руках дворника Глеб Иванович приходил в волнение, просил догнать ее и вернуть ей фрукты, но постоянно следовал ответ: «Барышня сейчас же уехала».

Однажды при мне повторился такой же случай. В 1880 году, летом, Глеб Иванович жил на Забалканском проспекте, в доме Сивкова. Я зашел к нему. Только мы расположились на диване, как явился дворник Иван с корзиной фруктов, украшенной цветами. «Вашей милости», сказал он, подавая корзину Глебу Ивановичу. — «Барышня?!» с испугом спросил Успенский. — «Так точно». — «Голубчик, Иван, догоните, отдайте ей и скажите: дома нет». — «Не догнать, Глеб Иванович; на хорошей лошади приезжала и сейчас же назад». — «Положительно — шпионка, — неожиданно воскликнул Успенский, когда вышел дворник... — Раз также явилась, когда у меня сидел Н. А. Саблин, теперь — вы... Выследит всех, кто у меня бывает, и донесет...» — «Давно бы донесла, — сказал я, — если бы этим занималась... Просто, ее визиты случайно совпали с нашими». — «Ох, сколько она мне причинила

беспокойства! — с тяжким вздохом произнес Глеб Иванович.

Подозрение девицы в шпионстве, несомненно, следует приписать особой мнительности Успенского, порожденной непонятным для него упорством этой особы, несмотря на явную невозможность достигнуть цели.

Глеб Иванович не отдавал себе отчета в той обаятельности, какая была ему присуща.

Выразительные темно-карие глаза, отражавшие бесконечную доброту; ласковая, застенчивая улыбка; особые манеры; оригинальная речь, всегда искренняя, содержательная, с большой дозой редкого юмора, — все это сразу приковывала к нему внимание. Даже поверхностное знакомство с ним вело к тому, что люди искали его общества, а частые сношения порождали глубокую, прочную привязанность. В обращении многих мужчин к Глебу Ивановичу сказывалась такая нежность, что его имя произносилось не иначе, как с добавлением ласкательных эпитетов, некоторые же за глаза называли его любовно «Глебушкой». Если так относились к нему мужчины, то женщины, очарованные им, свои симпатии проявляли еще ярче, и не удивительно, что среди них встречались поклонницы, готовые не считаться с его семейным положением.

«Девица», так упорно преследовавшая Глеба Ивановича, не была единственным примером исключительных отношений.

Вот две сестры, красивые, молодые девушки, случайно познакомившиеся с ним в дороге от Петербурга до Одессы. Они ехали с целью совершить морское путешествие за границу, но за три дня пути так увлеклись Глебом Ивановичем (в особенности старшая), что по приезде в Одессу не захотели ехать дальше. Располагая

большими средствами, они остановились в лучшей гостинице и старались не разлучаться с ним, приглашая его к себе завтракать, обедать и гулять вместе. Однажды, любуясь морем, Глеб Иванович воскликнул:

— С каким удовольствием я прокатился бы с вами за границу!

— Едем, — последовал решительный ответ.

— Ну, это не так просто. Нужен заграничный паспорт, деньги, необходимо предупредить домашних...

— Все пустяки! Паспорт мы вам достанем, денег у нас много, а домой пошлите телеграмму...

— Что же вы думаете, — передавал Глеб Иванович. — Через день захожу к ним. Старшая выбегает навстречу, держа что-то в руке, и кричит: — Едем! Вот паспорт и деньги!..

Я, признаюсь, смутился.

— Как все это быстро у вас, — говорю, — раздобыли заграничный паспорт без моего вида на жительство! Прямо волшебницы!

— Здесь комиссионеры — ловкий народ, — говорят, — устраивают более серьезные дела.

— Ловкий народ, говорите?

— Изумительно ловкий!

— Знаете что? — сказал я, улыбаясь. — Поручите им обставить нашу поездку так, чтобы моя жена признала ее необходимой и я мог пуститься с вами в кругосветное плавание с полным спокойствием и — на собственные средства... Иначе не могу! — Огорчились, в роде как обиделись... Не знаю, как бы они изловчились еще для нашего совместного бытия, но мне страшновато стало от их фантазий и решительности: я удрал из Одессы. Впрочем, мы остались друзьями навсегда...

Дружба эта поддерживалась не столько свиданиями, сколько перепиской. Вероятно, из боязни, как бы письма их не породили в семье Глеба Ивановича какого-нибудь недоразумения, они пользовались адресом Н. К. Михайловского. Их расположение к Успенскому сказалось активно и в тот период, когда по болезни он потерял трудоспособность, и для его семьи, по инициативе Михайловского, был образован капитал, позволявший Александре Васильевне содержать пятерых детей и давать им образование: наиболее крупные пожертвования исходили от этих сестер.

Вот писательница, симпатичная особа средних лет, долго дружившая с Глебом Ивановичем. 17 апреля 1885 года он писал мне о ней: «N. N. теперь не хочет иметь со мной никакого дела, потому что я ей не соответствовал»...

При свидании в 1888 году я спросил, почему произошел разрыв, и он сказал:

— Для резюме наших отношений она требовала от меня ре-бен-ка. И прибавляла, наивная душа: «Ну, что вам стоит!» Так и разошлись.

Я знаю еще случай. Однажды Успенский заехал в провинциальный город N., где в кружке «радикальной» молодежи встретил хорошую знакомую из Петербурга. По пословице «старый друг лучше новых двух» он оказывал ей предпочтительное внимание. Обоим предстояло уехать из города одновременно и часть пути совершить на пароходе. Глеб Иванович предложил приятельнице отправиться вместе. Она дала согласие, но через день обратилась к своим близким товарищам с просьбой как-нибудь расстроить эту поездку. На вопрос: почему? — она об'яснила, что обаятельность Глеба Ивановича лишает ее самообладания,

и, не ручаясь за свое поведение в дороге, она может скомпрометировать себя в глазах любимого человека...

Та же обаятельность Глеба Ивановича, но еще с большей силой, привязывала к нему его жену, и если можно сожалеть, что ревность Александры Васильевны иногда причиняла ему страдания до потери «всякой охоты писать», то в защиту ее следует сказать, что слепое чувство у нее никогда не проявлялось в резких формах, а кроме того, и впечатлительность Глеба Ивановича могла внушать ему предположения, не всегда совпадавшие с действительным настроением Александры Васильевны.

Так, в 1889 году Успенский говорил мне:

— При каждом звонке вздрагиваю, потому что чуть звонок — Александра Васильевна уже трепещет: не девица ли какая ко мне?.. Женщин боюсь и приглашать к себе.

В этой характеристике отношений Александры Васильевны к «каждому звонку» несомненно было преувеличение: в тот же вечер за чайным столом Успенских я встретил их общих знакомых, и среди них были две большие поклонницы Глеба Ивановича. Александра Васильевна была одинаково приветлива со всеми.

Глава восьмая

НАПОЛЕОНОВСКИЙ ОГРЫЗОК

Прогулка в Бютт-де-Шомон, куда через день мы отправились полюбоваться красивой местностью, вышла неудачной. По дороге туда Глеба Ивановича охватили воспоминания о жестокой расправе версальских властей с коммунарами, и его настроение быстро

изменилось. Мы шли пешком. Он жадно курил, часто останавливаясь, чтобы зажечь новую папиросу, и все время возмущался наполеоновским режимом, породившим Тьера и его сподвижников.

— Ведь какое зверье, — говорил он. — Расстреливали народ тысячами, а в Бютт-де-Шомон еще соорудили из трупов колоссальный костер, облили его керосином и зажгли... Им показалось мало убить и зарыть их в землю, захотелось изжарить в огне, обратить людей в густое, вонючее облако дыма, стоявшее больше недели над лесом!..

Освещая разные стороны наполеоновского режима, Глеб Иванович сильно волновался и в таком состоянии предпочитал итти пешком, а не сидеть в омнибусе, так что, когда мы добрались до Бютт-де-Шомона, почувствовали порядочную усталость.

В одном месте, на краю живописной лощины, где, вероятно, происходил расстрел коммунаров, мне вздумалось лечь на траву, к тому же я нигде не заметил запретительной надписи «цветов не рвать, травы не мять» и т. д.

Я лег ничком и быстро заснул. Вдруг я почувствовал, что чья-то сильная рука приподняла меня за шиворот, и в тот же момент услышал крик Глеба Ивановича:

— Comment osez-vous *.

Я вскочил и увидел, что Успенский левой рукой держит за грудь внушительного вида мужчину в форме охранителя порядка в парке, а правой замахнулся на него палкой. Оба неистово кричат: один по-французски, другой — с примесью русских бранных слов...

* Как вы смеете.

Несомненно, мой отдых на траве и заступничество Глеба Ивановича кончилось бы весьма печально, если бы во-время не подоспела группа французов, принявшая нас под свое покровительство, как иностранцев. Блюститель порядка принужден был удалиться, ворча что-то под нос, а мы, с чувством благодарности пожав руки нашим избавителям, поспешили оставить Бютт-де-Шомон.

Глеб Иванович долго не мог успокоиться при воспоминании о страже, называя его не иначе, как «наполеоновский огрызок»... Его нападение на этого «огрызка» явилось для меня совершенно неожиданным: он казался мне робким человеком, неспособным на решительные поступки, отчасти даже трусливым, потому что обнаруживал страх в таких случаях, когда не предстояло никакой опасности. Так, он боялся комнатных собак и выражал большое смущение, если такая собака подходила к нему ласкаться; отказывался ездить на извозчиках, а когда нельзя было избежать этого способа передвижения, постоянно хватался за сиденье возницы и просил: «Cocher, doucement s'il vous plait» *, хотя сам же говорил, что французские лошади «шлепают, а не бегут»...

В России я мог убедиться, что душе Глеба Ивановича вовсе не свойственна трусость, и его отношения к собакам и лошадям — лишь психические странности, какие встречаются иногда у нервных людей. Для примера укажу на Ю. Н. Богдановича. Несомненно, смелый, решительный человек, обнаруживший большое самообладание в роли Кобызева, — он готов был падать в обморок при виде черного таракана.

---

* Кучер, тише, пожалуйста.

Глава девятая

ОСТРЫЕ ДВУГРИВЕННЫЕ ЗУБЫ

Мне не пришлось проводить Глеба Ивановича в Россию, так как по неотложному делу я должен был с'ездить в Лондон.

Он уехал в мое отсутствие, кажется, не встретив никаких помех [74].

В Калуге, где служба на железной дороге, по мнению Глеба Ивановича, могла «гарантировать его семье основное пропитание, а ему обеспечить возможность писать не из-под полки», он прожил около пяти месяцев.

11 сентября 1875 года он писал Н. К. Михайловскому: «Сижу в должности». 1 февраля следующего года: «Места у меня больше нет». Бросить службу заставили его не денежные расчеты или нелады с начальством — обычные причины, играющие роль в жизни простых людей. На решение Глеба Ивановича повлияло исключительно особое настроение, вызванное знакомством с железнодорожными порядками, а также — с «благодетелями», от кого он получил место, вообразившими, что их служба имеет государственное значение и они в праве третировать других людей, в особенности симпатичную ему молодежь, предпочитавшую в то время всякой службе «хождение в народ».

В произведениях Успенского нет статей, специально посвященных порядкам Ряжско-Вяземской железной дороги. В беллетристике он не был корреспондентом-обличателем, кому нужна точность в изложении фактов и группировка их с целью обвинения известных

лиц. Он освещал явления жизни, не рисуя портретов деятелей, и хотя в его очерках и рассказах встречаются иногда фразы: «Моя записная книжка свидетельствует», « Моя записная книжка говорит»,—в действительности у него не было таких «книжек», не было никаких записей.

14 марта 1876 года Глеб Иванович писал Н. К. Михайловскому:

«Место в Калуге я должен был бросить, и как ни скверно это в материальном отношении, но решительно не раскаиваюсь: подлые концессионеры глотают миллионы во имя разных шарлатанских проектов, а во сколько же раз подлее интеллигенция, которая не за миллионы, а за два двугривенных осуществляет эти разбойничьи проекты на деле там, в глубине страны? Громадные челюсти концессионеров ничего бы не сделали, ничего бы не проглотили, если бы им не помогали эти острые двугривенные зубы, которые там, в глубине-то России, в глуши, пережевывают неповинного ни в чем обывателя. Я не могу быть в числе этих зубов. Если бы мне было хоть мало-мальски покойно, я бы, может быть, и не так был чувствителен ко всему этому и, понимая, считал бы себя скотиной, но жалованье получал бы аккуратно. Но при том раздражении, которое временами достигает поистине глубочайшей невыносимости, я не могу не принимать этих скверных впечатлений с особенной чувствительностью. Место надо было бросить: все, там служащие, знают, что они делают разбойничье дело (будьте в этом уверены), но все знают, чем оправдать свое положение... а зачем литератор-то (каждый думает из них) тоже макает свое рыло в эти лужи награбленных денег — это уж не хорошо. «Пишет одно, а делает другое». Вот почему

3078—23

нужно было бросить их в ту самую минуту, как только стала понятна вся подлецкая механика их дела».

Впоследствии, при встрече со мной, Глеб Иванович самыми мрачными красками рисовал и порядки железной дороги, и поведение интеллигенции, «за два двугривенных осуществляющей разбойничьи проекты», и между прочим сказал:

— Прочитайте мой рассказ «Неплательщики»: там я изобразил порядки этой подлецкой дороги и дал хо-ро-шу-ю затрещину моим «благодетелям».

По его письму к Михайловскому и по тому, что он говорил мне о своих впечатлениях за период службы на железной дороге, можно ожидать, что в рассказе «Неплательщики» он, действительно, не пожалел красок, чтобы обрисовать все безобразия дороги и «острые» двугривенные зубы благодетелей. На самом деле рассказ не имеет даже отдаленного отношния к железной дороге, и только отдельные штрихи в нем позволяют догадываться, что Глеб Иванович коснулся того «пустого места», где «с великим трудом пробыл около пяти месяцев».

Для характеристики творчества Успенского, как художника, стоит привести некоторые места рассказа, тем более, что на основании их можно судить об его общественных склонностях и симпатиях.

Вот описание порядков конторы движения якобы «Кавказско-погибельной железной дороги» («Неплательщики». Отечественные Записки», апрель 1876 г.):

«У под'езда сидели, кто на ступеньках, кто на тротуарной тумбе, несколько человек, и стояли два-три извозчика... Все это были местные коренные жители, знали всю подноготную (каждого), а главное—знали, кто сколько получает, до тонкости. Не успел один

заявить, что М. получает девятьсот рублей, как другой прибавил:

— Велики ли это деньги... У них ведь сколько охотников на эти деньги-то... Их нешто мало!..

— Рожали не в свою голову — известное дело!

— Ну, то-то и есть! — как бы обидевшись чем-то, заявил человек, начавший говорить о деньгах.

— Фамилия была большая... Много их было фамилиев-то таких... Нонче все больше пошло так, что дом под железную отдадут, а сами—на железную служить...

Посмеялись этой остроте.

— Она, матушка (т. е. железная дорога), много ихнего брата кормит. Иной так бы и сгинул с голоду,— ан, глядишь, побалует что-нибудь в конторе — сто рубликов и есть...

— Нашему брату от этого баловства-то только достается... Я вон почесть год дожидаюсь арбузов... Неизвестно, где...

— Да, вот извольте почитать эту штучку... — вдруг, оживившись и весь вспыхнув, заговорил один из разговаривающих. Очевидно, его задело за живое. Он выхватил бумагу и подал мне. В ней было сказано:

«На предписание ваше от 15 сего июля, чтобы получить мне по накладной мороженого судака, погруженного в Астрахани ноября прошлого 187* года, то позвольте вам заметить, которая рыба имеет полную свою протухливость, и тое рыбы я принять несогласен. А что взыскиваете вы за провоз онные рыбы по всем дорогам, и даже загнали вагон в Прусскую землю, и там онную рыбу таскали неведомо по каким местам, покуда в полную ее скверность не превратили, то двух тысяч шести сот рублей семи гривен за этакое безобразие платить я несогласен, в том смысле, что

и онная рыба сама того не стоит, и тогда штуку придется продавать по восьми рублей судак, окроме потехи в эфтом не будет ничего, а за порчу взыщет начальство. Посему имею я донести об онной рыбы господину министру, об неудовлетворении меня в мерзлом судаке».

— Ей-богу, вот перед создателем — дойду до министра... — повторял, задыхаясь, товароотправитель, покуда я читал эту бумагу. И едва я кончил одну, как тотчас являлась другая, в которой тоже вопияли против какой-то ни с чем не сообразной ошибки господ служащих... Мне грозило неожиданно превратиться в судью таких дел, которые были мне совершенно неизвестны. Несмотря на то, что люди эти видели, что я — человек совершенно посторонний и имею свое, не касающееся их, дело; несмотря на то, что я почти не отвечал им, потому что не знал, в чем дело — они один перед другим старались излить передо мной все обиды, причиненные им железной дорогой. Я даже думаю, что именно совершенно постороннее железной дороге лицо, которое могло понять их и сочувствовать им по человечеству, тогда как всякий специалист железнодорожного дела, именно вследствие своей специальности, непременно будет понимать не по человечеству, т. е. взыскивать за рыбу, которую надо выкинуть в помойную яму, налагать штраф за собственную свою ошибку и т. д. Ничего не понимая, я продолжал молча слушать эти излияния, когда на под'езде вдруг появилась какая-то фигура. Излияния замолкли... Просители сняли шапки. Фигура оглянулась на извозчика, который тотчас зашевелил вожжами, и произнесла:

— Опять вы... я говорил, что нельзя.

Сразу все просители возопили о судаках, об арбузах и т. п. Фигура надевала перчатки и говорила:

— Нельзя, господа, нельзя... я говорил вам — нельзя...

Вопли усилились, и голоса воющих поднялись на два тона выше.

— Нельзя, нельзя и нельзя, — спускаясь с трех ступенек, три раза произнесла фигура. Занося ногу в пролетку, она еще раз сказала: — Нельзя-с.

Затем, уложив портфель на коленях, прибавила:

— Новозможно-с.

— Ну, вот и поди!

В описании «фигуры» сказалась наблюдательность и впечатлительность Глеба Ивановича. Достаточно этих штрихов, чтобы в «фигуре» узнать начальника движения Ряжско-Вяземской железной дороги А. М. Верховского. И он узнал себя.

— Такой благодарности я не ожидал от Успенского, — говорил мне Верховский, пожимая плечами.

«Я чувствовал вместе с этими людьми какую-то физическую усталость от этого «нельзя». Точно все мускулы размякли и нервы упали: так это «нельзя» было неминуемо и непреклонно... Вялость какая-то вместо кажущегося негодования напала на всех, и уезжавшая на извозчике фигура казалась окруженною какою-то невидимою, но ничем не преоборимою атмосферою. Просители, еще недавно горячившиеся, как осенние мухи, разбрелись в разные стороны».

Характеристика «интеллигенции», от кого зависели эти порядки на железной дороге, дана в отрывке общих соображений об «интеллигентных неплательщиках».

«Обремененные жалованьем, — говорится о них, — они заседают вокруг пустого места. Изо дня в день, из года в год тянется их унылая, пустая, скучная

и пестрая жизнь... В атмосфере «не настоящего», «не заправского» нет минуты веселья, нет здоровья, нет дела, нет сознания простого покоя... Всякого что-то точит, вертит в душе, особливо, когда этот всякий остался один сам с собой и улучил минутку, когда может если не лгать прямо, то хоть не вывихивать себя, — что почти составляет всеобщую привычку... Лучшее, задушевнейшее желание большинства их — уйти друг от друга, и, несмотря на это, завтра, напившись утром чаю, все желающее разбежаться вновь сцепляется в тесный хоровод вокруг пустого места и вновь продолжает почти бесплодную толчею, вырабатывая или, вернее, «вылыгая» себе хлеб»...

Понятно, что такие «интеллигентные неплательщики» могут лишь крайне недружелюбно относиться к людям, не желающим следовать их примеру, т. е. тратить свою жизнь невзаправду, уставать от хлопот вокруг пустого места».

Для оценки их отношения к таким людям Глеб Иванович вводит в соприкосновение с ними «пропагандиста» 70-х годов.

«Они все не верят, — говорит он, — думают, что это (пропаганда) только так, одна либеральная праздность, нежелание делать какое-нибудь простое, но серьезное дело... Они думают, что так вот, болтаясь да разговаривая разные разности, я просто-напросто живу, ничего не делая, на чужой счет — и все... И знаете, ведь так думают очень добрые люди... «Врешь, каналья» — и все тут... Или так еще: «Нахватался верхушек, прочел книжонку — и задрал нос... ну и, натурально, пошли эти разные идолослужения и все такое»... Главное, допекают нашего брата деньгами: а деньги откуда ты берешь?

«Попробовал бы ты, говорят, зарабатывать так, как я... повозился бы ты с этой канителью, да тогда бы и разговаривал». Что отвечать на это, кроме того, что не могу я так, как вы, зарабатывать, что не могу жить так, как вы, потому просто, что нет у меня таких забот, таких огорчений, ради которых я бы так испугался жизни, что взял бы да подал прошение на железную дорогу. Мне ничего не нужно. Но именно этому-то и не верят... Еще вот как иные называют: «новомодное дармоедство», а один делопроизводитель по коммерческой части на железной дороге, где нет никакой коммерции, так тот вот как ощетинился: «Вы, — говорит, — все равно, что странники прежнего времени: придет, напустит на всех туману, получит даяние — и марш; а тут сиди да отрабатывай своим хребтом»... Очень все это натурально... Я только хочу сказать, что я именно и могу только вот, как делопроизводитель сказал, туман пускать... Если бы я мог не пускать его, я бы, разумеется, где-нибудь на железной дороге очень обстоятельно доказывал бы отправителю, что, облив его рожь керосином, я доставил бы ему только удовольствие и что не только мне за это платить ему не приходится, но, напротив, еще он обязан мне внести уйму рублей. В том-то и горе, а может, и счастье, что не могу. Уж крепко сидит во мне эта жажда туман распускать. А то бы почему окладами не побаловаться — самое любезное дело!»

К числу причин, заставивших Глеба Ивановича бросить должность на железной дороге, надо отнести еще попытки его товарищей по службе эксплоатировать его литературный талант в свою пользу. О порядках «конторы движения», где устроили его, они умалчивали,

зато охотно знакомили с неурядицами других служб дороги: управления, ремонта пути и пр.

— Вот бы вам изобразить своим пером, что там творится, — внушали ему.

— Знаете, — пояснил Глеб Иванович, — как у Благовещенского [75] в рассказе «Богомольцы» один странник определяет, что такое дьячок? — «Это, — говорит, — дудка, через которую проходит глас божий». Вот и меня они хотели обратить в свою дудку... И так старательно вдували всякую дрянь, не замечая, что я не могу петь с чужого голоса...

Глава десятая

ГОСПОДА ЛИБЕРАЛЫ

Действительно, несмотря на мягкость натуры, даже на кажущуюся слабохарактерность, Глеб Иванович всегда был самостоятелен в выборе тем и в своем отношении к тому или другому предмету. Навязывание, внушение ему мысли возмущало его до глубины души.

Летом в 1880 году в Петербург приехал один земец и, остановившись в «Европейской гостинице», в определенный день пригласил к себе Успенского, художника П. П. Забелло и меня. После продолжительной беседы он вздумал угостить нас обедом в загородном ресторане «Ливадия».

Забелло отправился с ним на извозчике, а Глеб Иванович, из предосторожности, как бы не вывалиться из пролетки, поехал со мной на империал-конке.

— Наслушаемся мы всяких жалоб, — говорил он дорогой,—узнаем, как противодействует либеральным

начинаниям администрация; как «правые» ухитряются организовать выборы по своему вкусу. Не услышим только рассказов о смелых, решительных поступках господ либералов...

За обедом земец много говорил о корыстолюбивых планах «правых», особенно подчеркивая деятельность предводителя дворянства, выступившего между прочим с проектом: «для здоровья заводских и фабричных рабочих отпускать их на летние месяцы в деревню», имея в виду, что таким образом они будут поставлены в необходимость наниматься на работы в дворянские экономии.

Он говорил интересно, живо, но слишком часто, обращаясь к Успенскому, предлагал ему:

— Воспользуйтесь этим материалом...—Или:—Приезжайте к нам на земское собрание: вы увидите наших квазимод в действии и потом изобразите их яркими красками...

Глеб Иванович безостановочно курил и нервно пощипывал свою бородку.

После одного предложения земца он с досадой произнес:

— А сами-то вы что же не размахнетесь? Занялись бы «арапами» в газете или журнале.

— У меня так не выйдет, как у вас, — последовал скромный ответ.

От внимания земца ускользнуло, что, чем больше он приводит фактов с намерением, чтобы Успенский воспользовался ими для посрамления «правых» в своих очерках, тем сильнее растет его протест против этого «насвистывания скворца».

Раз Глеб Иванович вышел со мной в коридор и, волнуясь, сказал:

— Ли-бе-ра-лиш-ка!.. Его я продернул бы с удовольствием: не виляй хвостом... А то дались ему «арапы».

Когда мы вернулись в кабинет, земец точно нарочно вскрикнул:

— Еще, Глеб Иванович, случай. Он прямо просится под ваше перо.

— Сейчас, сейчас, — заторопился Успенский. — Папиросы забыл в буфете, — и потащил меня за собой.

— Знаете, что? — сказал он, посмотрев на дверь кабинета. — Мне противен его обед... не спроста затеян: он надеялся настроить меня, как балалайку. Я хотел бы сегодня же расквитаться с ним: поедем к Борелю и угостим его шампанским.

Я согласился.

Было уже поздно, когда лакей подал земцу счет.

— Как бы мне еще повидаться с вами? — сказал земец, обращаясь ко всем.

— А на сегодня разве довольно? — спросил Глеб Иванович. — Уж извините-с, у нас так не водится... Едем к Борелю... Вы угощали нас обедом, теперь мы с А. И. предложим вам нечто.

— Слишком поздно, Глеб Иванович. В другой раз...

— Дождешься с вами другого раза... Нет, уж, сударь, не отказывайтесь... не побрезгуйте провести с нами часок.

Земец отговаривался на разные лады. Все-таки уступил наконец.

Спускаясь с лестницы ресторана, Глеб Иванович шепнул мне:

— Хорошо бы взять ландо, чтобы ехать вместе: боюсь, сбежит дорогой...

Ландо не нашлось. Поехали на извозчиках: земец с Забелло впереди, мы сзади.

При спуске с Троицкого моста предусмотрительность Глеба Ивановича оправдалась: извозчик земца повернул налево, а не направо.

— Видите, — сказал Успенский. — Голубчик, догони их, — обратился он к извозчику.

Когда мы поравнялись с ними, Глеб Иванович воскликнул:

— Господа! Разве так по-суседски?.. Уговорились к Борелю, а вы наутек.

— Да поздно, Глеб Иванович! Мне завтра надо рано вставать, — оправдывался земец.

— Успеете выспаться... В кои веки столкнулись — надо же проститься по-хорошему... Мы ведь не «арапы»...

Дальше не было остановок. Когда мы под'ехали к Борелю, я хотел расплатиться с извозчиком, но Глеб Иванович опередил меня, сунув ему вместо одного рубля по уговору три.

Зная постоянные нехватки в его бюджете, я невольно воскликнул:

— Зачем столько?!

— Ведь он старался, — просто ответил Глеб Иванович и направился в ресторан.

Там мы заняли отдельный кабинет. Успенский скрылся на минуту и вернулся довольный.

— Что вы замышляете? — спросил земец.

— Ничего неудобоваримого... даже рассказов об «арапах» не будет! — с улыбкой ответил Глеб Иванович.

На двух подносах лакеи внесли две бутылки шампанского, фрукты и тарелку поджаренного миндаля.

Когда они налили стаканы, Глеб Иванович, указывая на дверь, сказал им улыбаясь:

— А выпьем мы уже без вас!

Лакеи скрылись.

Глеб Иванович тотчас же сделал пригласительный жест рукой:

— Пожалуйте... Сначала рекомендую с'есть две-три миндалинки!

— Угощение с хитрецой, — заметил земец, но все-таки взял одну миндалинку. — А за что прикажете выпить?

— За победу и одоление «арапов»...

— При вашем участии?

— Сами расправитесь в лучшем виде.

— Ну, нет, Глеб Иванович, не отговаривайтесь! — И земец стал настойчиво убеждать Успенского воспользоваться «богатейшим материалом» и непременно приехать на земское собрание.

Глеб Иванович теребил свою бородку и, часто ударяя своим стаканом шампанского об его, повторял:

— Кушайте, кушайте!

Допив первый стакан, земец стал прощаться. Как ни уговаривали мы его остаться, он не согласился и увез с собой Забелло.

Глеб Иванович сидел молча, маленькими глотками пил шампанское и курил...

— Только и знают эти господа, — недовольным тоном произнес он, — убеждать правительство в своей благонадежности и насвистывать нашего брата, ругать «правых»... «Мы, мол, тихонько, да легонько будем строить козни, а вы размахнитесь по-хорошему»... Ну, уж больше не угостишь обедом.

Лакей подал счет.

— Шашенька!* А ведь денег-то у меня нет, — сказал Глеб Иванович. — Последнюю трешницу отдал извозчику... Вы расплатитесь... После сосчитаемся.

Для меня было ясно, что «насвистывание» земца так удручало Глеба Ивановича, что при желании расквитаться с ним за обед, казавшийся подкупом, он просто не мог думать, окажутся ли у нас деньги для его угощения.

Глава одиннадцатая

ВЫ ГОВОРИТЕ СПРАВЕДЛИВО

Как глубоко возмущало Глеба Ивановича внушение ему определенной точки зрения на общественные явления, так противно было и навязывание ему роли «учителя жизни». На просьбу отдельного лица помочь ему разобраться в таком-то вопросе, он отвечал: «При моем участии еще больше запутаетесь: не гожусь я в толковники». Если же молодежь домогалась видеть его в своей среде с намерением получить от него ответ на какие-нибудь общественные вопросы, он всегда решительно уклонялся.

В 1880 году мы были с ним в Москве на «Пушкинском празднике». В «Дворянском собрании», где происходили торжества, я познакомил его с одним симпатичным студентом Петровско-Разумовской академии. Через день этот студент, по уговору с товарищами, решившими устроить сходку с участием «любимого писателя», стал убедительно просить Глеба Ивановича приехать в Петровско-Разумовское.

---

* Так часто звал меня Успенский.

— Что же мы там будем делать? — спросил Успенский.

— Соберутся все ваши поклонники, — ответил студент. — Мы хотим приветствовать вас и получить от вас раз'яснения на некоторые вопросы, очевидно, по цензурным условиям, только слегка затронутые в ваших произведениях.

— Вы думаете, значит, что при свободе слова, какую вы предоставите мне, я наболтаю больше?

Студент сконфузился.

— Как наболтаете?.. Мы полагаем... убеждены...

— Уверяю вас, никаких раз'яснений я не могу дать.

— Мы хотели бы получить от вас указания...

— Как жить свято? — перебил Глеб Иванович. — Нашли к кому обратиться... Пожалуйста, поблагодарите своих товарищей за внимание и скажите, что не поеду ни в каком случае.

Глеб Иванович вообще не любил публичных выступлений не только в роли «прорицателя», даже чтеца своих произведений.

Уклонение от этих функций, приятных для многих литераторов, обусловливалось его изумительной скромностью, заставлявшей его ценить себя ниже достоинств, и полным отсутствием авторского самолюбия. Я не слыхал от Глеба Ивановича, чтобы он когда-нибудь был доволен хотя бы одной из своих статей. Если он передавал всегда занимательно и остроумно, о чем хочет написать в ближайшей книжке «Отечественных Записок», то при появлении обещенного очерка или рассказа приходилось слышать:

— Ведь не вышло того, что хотел: дрянь получилась, не читайте!

Про свою литературную деятельность он говорил:

— Ну, что я? Пишу ради лавочки.

17 апреля 1885 года я получил от Глеба Ивановича письмо, где он жаловался: «Так ужасно тяжело жить, такая беда бесконечная тяготит надо мною всю жизнь, что едва-едва с страшным трудом и усилиями способен только строчить кое-что для хлеба. Искренности во мне давно, давно нет. Только нужда, и я уже ни о чем, ни о каких планах не мечтаю. Лишь бы что-нибудь, как-нибудь написать и потом думать о следующей работе».

При нашем свидании в Томске я передал Глебу Ивановичу, что в 1886 году мне пришло в голову переделать в драму его рассказ «Неизлечимый» и самому исполнять роль «дьякона» на сцене, когда минусинские ссыльные затеяли поставить спектакль.

— Из моего рассказа вы сделали драму, — изумился Глеб Иванович. — Как же это удалось вам?

— В драме мне принадлежит только распределение действующих лиц для составления явлений и действий и несколько необходимых вставок. Остальное — все ваше. Хотите, я прочту вам одно явление?

— Очень любопытно!

Я взял сцену, где действующими лицами являются поп с женой, дьякон и двое «практических гостей».

За чайным столом «практические гости» смакуют мошеннические проделки своих соседей, возбуждая восторг «батюшки», а затем приводят его в глубокое изумление рассказом о том, что сельская учительница Абрикосова «ради мужиков» бросила богатых родителей, имеющих каменный дом, лавки.

— Видите, что у вас вышло! — сказал Глеб Иванович, когда я кончил чтение. — Разве мой рассказ производит такое впечатление?

— Да ведь все эти реплики взяты у вас...

— Да, взяты, а поставлены иначе... На это-то меня и нехватило.

Так отозвался Глеб Иванович об одном из лучших своих рассказов.

Насколько он не сознавал значения своих произведений, обнаружил случай в Москве, когда Глеб Иванович был на «Пушкинском празднике».

Одна просвещенная дама из высшего круга, высоко ценившая его, как писателя и человека, захотела видеть его в ограниченном кругу знакомых, где Успенский чувствовал себя свободнее, чем в большом обществе. Для этого она затеяла обед в «Эрмитаже» и пригласила на него Глеба Ивановича, Е. С. Некрасову и меня.

Во время обеда, когда Глеб Иванович рассказывал, как на думском фестивале И. С. Тургенев [76] отнесся к тосту М. Н. Каткова [77], в наш кабинет вошел лакей с подносом в руках, позванивая бокалами шампанского, и направился к Глебу Ивановичу.

— В соседнем кабинете, — сказал он, — кушают господа профессора. Они желают выпить за ваше здоровье и просят вас чокнуться с их стаканами.

Успенский с недоумением оглядел нашу компанию и, улыбнувшись, сказал:

— Позовем их сюда.

Мы согласились. Лакей поставил поднос на наш стол и пошел передать приглашение.

— Несомненно, это — выдумка вашего Гольцева! — сказал Глеб Иванович Е. С. Некрасовой.

Действительно к нам вошло пять-шесть молодых профессоров под предводительством В. А. Гольцова.

Они разобрали бокалы, и Н. А. Зверев [78], обратившись к Глебу Ивановичу, произнес блестящую речь.

Он говорил о значении сочинений Успенского вообще и в частности для молодежи, подготовляющейся к юридической практике. Глеб Иванович дает богатейший материал для знакомства с условиями жизни народа, с его миросозерцанием, психологией; он помогает разобраться в разных сторонах его быта, сложившегося под действием обычая, а не закона, и в его неодинаковых отношениях к людям, стоящим на разных ступенях общественной лестницы. Все это очень важно для юриста, выступающего в роли судьи, прокурора или защитника.

Если наш суд отличается гуманностью, то в ряде причин, влиявших на развитие его в этом направлении, видную роль необходимо отвести сочинениям Г. И. Успенского.

Речь профессора была лишена всяких иллюстраций, какие могли бы свидетельствовать о действительном знакомстве его с произведениями Успенского, зато выливалась в такую изящно красивую форму, что вполне овладевала вниманием слушателей.

Глеб Иванович стоял с бокалом в одной руке, а другой все быстрее и быстрее крутил свою бородку, внимательно следя за воплощением ораторского искусства в один период за другим. По его выражению можно было заключить, что все похвалы, расточаемые профессором, как-будто не относятся к нему; он воспринимает его речь, как любопытную импровизацию на тему, не имеющую ни малейшей связи с его литературной деятельностью.

Оратор кончил приветствие глубокой благодарностью гуманнейшему учителю и пожеланием ему здоровья и сил для дальнейшей работы.

Воцарилось молчание в ожидании, что скажет Глеб Иванович:

3078—24

Он протянул свой бокал Н. А. Звереву и тоном похвалы произнес:

— Очень хорошо! Прекрасно! Превосходно, — и, обернувшись к нам, прибавил: — Каково в Москве-то говорят!

Все невольно расхохотались.

При таком отношении Глеба Ивановича к самому себе легко представить, в какое смущение он пришел, когда по случаю 25-летия его литературной деятельности, в 1886 году, «Общество любителей российской словесности» избрало его своим почетным членом, а тысячи лиц «разного звания и общественного положения» засыпали его сочувственными письмами и телеграммами...

Прошло два с половиною месяца, прежде чем Глеб Иванович мог разобраться в «многосложности пережитых им за это время впечатлений» и поблагодарить «Общество» «за нежданное к нему внимание».

В «Письме Г. И. Успенского в Общество любителей российской словесности», напечатанном в феврале 1887 года в журнале «Русская Мысль» [79], он говорил:

«Высокая честь, которой удостоило меня почтенное общество, была для меня неожиданна, велика и во всех отношениях многозначительна... Я очень хорошо знаю и вполне умеренно оцениваю как размеры моих литературных способностей, так и тот круг наблюдений, который доступен был мне по моему развитию и общественному положению. И то, и другое ни в каком случае не может итти в каком бы то ни было сравнении с размерами талантов, кругозора и задач тех светил русской литературы, имена и труды которых всегда по достоинству оценивались московским Обществом любителей российской словесности.

Вот почему я искренне рад видеть, что почтенное Общество, присоединяя мое имя к числу других имен своих почетных членов, не желало, хотя бы даже только в формальном отношении, воздавать мне чести не подобающей, и, ставя меня в ряды таких талантов и дарований, среди которых мне, по совести, быть не место, делало это из побуждений несравненно более умеренного свойства и незатруднительных для моего понимания».

«Незатруднительным для понимания» Глеба Ивановича оказалось лишь признание его заслуг группой рабочих. Они писали ему:

«Мы, рабочие, грамотные и неграмотные, читали и слушали ваши книжки, в которых вы говорите о нас, простом, сером народе.

Вы о нем говорите справедливо, так, что мы думаем, кто бы из образованных людей ни прочитал ваши книги, всякий подумает о нас, о нашем темном и светлом житье, если только у этого человека доброе сердце».

«Действительно,—говорит Успенский,— желание писать справедливо всегда было во мне, равно как и желание, чтобы образованный человек подумал о темном и светлом житье простого человека».

«Это действительно правда. И если высокоуважаемое Общество любителей российской словесности нашло возможным оказать мне высокую честь, избрав своим почетным членом именно только за эти простые цели, руководившие мною в моей литературной деятельности, то оно должно само видеть, как глубока, искренна и чистосердечна должна быть ему моя благодарность»...

Глава двенадцатая

В СОРОЧЬЕМ КОСТЮМЕ

В начале июня 1880 года Глебу Ивановичу предстояла поездка в Москву в качестве депутата от «Отечественных Записок» на открытие памятника А. С. Пушкину, 5 июня. Редакция «Отечественных Записок» отпустила ему на расходы 100 рублей и отдельно 50 рублей на приобретение фрака.

— Михаил Евграфович требует, чтобы я обязательно был в сорочьем костюме,—говорил Успенский.— Сроду не вертел хвостом, а тут, в Москве, четыре дня под ряд будет болтаться у меня хвост. Мне нужнее для Москвы какой-нибудь пиджачишка для домашнего обихода, чем фрак... Впрочем,—вспомнил Глеб Иванович,— мои приятели устроят мне и то и другое.

Приятели, кого Успенский имел в виду, были два аптекарских помощника: М. С. Мороз и Чернышев, служившие в аптеке Трофимова на Загородном проспекте. Идейные люди, они содействовали между прочим революционному движению 80-х годов устройством надежного склада для номеров газеты «Народная Воля». Крайне добрые и отзывчивые, они так любили Глеба Ивановича, что всегда были готовы оказать ему любую услугу. По словам Успенского, он нигде не чувствовал себя так просто, уютно, как в их обществе, и не испытывал ни малейшего стеснения, если приходилось «перехватить у них малую толику».

— Дают от всего сердца, не то, что какой-нибудь «купон». Раз зашел к ним попросить десять рублей. «Пока выкушайте, говорят, стакан чаю, а мы сейчас.» Скрылись за перегородку, пошептались, и Чернышев

исчез. — «Куда же он?» — спрашиваю. — «За деньгами», ответил Мороз. Оказалось, у них не нашлось десяти рублей, и они решили заложить сюртук... Вот какие люди!

Эти молодые друзья Глеба Ивановича пользовались кредитом у портного Дмитриева, жившего на Загородном проспекте, и расположили его отнестись к Успенскому как можно внимательнее и, если понадобится, рассрочить ему уплату денег.

Я сопровождал Глеба Ивановича к этому портному. Когда мы вошли к нему, то по внешности, вероятно, описанной приятелями с большой точностью, портной узнал его.

— Вы г. Успенский? — спросил Дмитриев.

— Он самый, — ответил Глеб Иванович и протянул ему руку.—Видите, г. Дмитриев, мне нужно сшить сорочий костюм... по-вашему, фрак, и пиджачную пару. Фрак не из блистательных — нужен всего на четыре дня. Ну, а пиджак понадежнее—каждый день носить. За фрак я заплачу вам, а за пиджак... нельзя ли подождать?

— С удовольствием,—ответил портной.—И за фрак можете не платить... Ведь он вам нужен всего на четыре дня, а потом носить не будете?

— Боже сохрани!

— Так вот как мы уговоримся: верните фрак в сохранности (пятнушки там какие — это пустяки!), уплатите восемь рублей за прокат, по два рубля в день. А износите до полной негодности—уплатите его стоимость... Едва ли будете носить без надобности, уж если зовете «сорочьим костюмом»...

— Превосходно... Может, и шить не надо, найдется готовый?

— Готовый-то найдется... Но вам необходимо сшить новый, по мерке, чтоб не конфузиться среди писателей.

— А вы знаете, что я писатель?

— Еще бы! Как г. Чернышев сказал, что ко мне придет Гл. Ив. Успенский, я сейчас же спросил: не автор ли вы будете рассказа «Будка»... Понравился мне ваш рассказик. Теперича всех городовых зову «Мымрецовыми»... Хотелось бы почитать и другие ваши сочинения, да все времени нет.

— У вас есть мои сочинения?

— В библиотеке можно достать.

— Я подарю вам... Приду примерять фрак и принесу.

— Покорнейше благодарю вас.

— Как великолепно обернулось дело, — сказал Успенский, когда мы вышли на улицу. — Мне ужасно не хотелось брать у Салтыкова 50 рублей на фрак. Теперь я возвращу эти деньги и сам заплачу за прокат... Вообще экипировка меня на счет редакции — сущая нелепость! Я щеголяю четыре дня в чужом фраке, затем везу его обратно, а дальше что прикажете делать? Вернуть Михаилу Евграфовичу на память или продать его татарину и вырученную сумму представить в редакцию?.. Спасибо Дмитриеву: сразу избавил от всяких неловкостей!

Щепетильность Глеба Ивановича сказалась и дальше, когда всем депутатам от литературы, от ученых и просветительных обществ были предложены разные льготы для поездки в Москву и пребывания там. Так, министерство путей сообщения предоставило им даровой проезд в Москву и обратно; московская дума приготовила помещение в лучших гостиницах и лошадей для раз'ездов и все содержание их за время «пушкинских дней» приняла на счет города.

В «депутатском вагоне» Глеб Иванович не поехал, потому что в третьем классе, среди простого люда,

куда интереснее, и благодарить министерство не придется...

В Москве он поселился в гостинице «Париж» на Тверской улице. Когда он узнал, что за номер и за содержание его будет платить городская управа, то заявил администрации гостиницы, чтобы она не представляла его счетов в управу: за все он расплатится сам.

— Этак с голоду помрешь, — говорил он.—Будешь стесняться, как бы не взять из буфета чего лишнего, дабы не подумали: «Ишь, обрадовался даровщинке: сколько наел!»

В Москве Глеб Иванович узнал, что торжество открытия памятника Пушкину начнется приемом депутатов комиссией по устройству памятника под председательством принца Ольденбургского, и предполагается, что депутаты будут произносить приветственные речи.

— Ну, уж извините, на это я не согласен, — заявил Успенский. — Наблюдать, описывать — мое дело, а для речей пусть Михаил Евграфович командирует Г. З. Елисеева. Сейчас пошлю телеграмму.

Елисеев приехал.

В качестве уполномоченного от журнала «Русское Богатство», принадлежавшего в 1880 году литературной артели (Н. Ф. Бажин [80], П. В. Засодимский [81], С. Н. Кривенко, Г. И. Успенский), я тоже был в Москве и не разлучался с Глебом Ивановичем.

Прием депутаций происходил в городской думе. Я зашел за Глебом Ивановичем.

— Полюбуйтесь каков депутат,—воскликнул он, одетый во фрак, с chapeau claque * подмышкой.—И дурацкое

---

* Складная высокая шляпа.

же мое положение будет рядом с Елисеевым. Он пробормочет что-нибудь от «Отечественных Записок»; может, закатит даже целую речь (недаром был профессором). А я? Поклон — да вон!

И Глеб Иванович чувствовал себя действительно крайне неловко, когда вместе с Григорием Захаровичем представлялся комиссии. Неприятное ощущение осложнялось еще тем, что из-за chapeau claque он не мог разрядить его обычным приемом — покручиванием своей бородки.

Когда Елисеев кончил приветствие, Глеб Иванович захотел как-нибудь об'яснить свое пребывание рядом с ним.

— А я — его товарищ, — сказал он, указывая на него шляпой, и с поклоном отошел от стола.

Глава тринадцатая

НУ, ЕЩЕ ТОЛЬКО ОДНУ ПЕСЕНКУ

На четвертый день «Пушкинского праздника» мы обедали с Глебом Ивановичем в «Новотроицком трактире». Я сказал ему, что с этим трактиром у меня связано два воспоминания, приуроченных к одному и тому же дню: об освобождении меня из немецкого плена в пансионе Шмоль, куда я был отдан матерью, и о знакомстве с цыганами... Немец часто сек нас розгами, хранившимися в соляном растворе, и мы приходили в ужас, когда он приказывал итти в столовую, где происходила экзекуция. За короткий промежуток времени мне предстояло вторично подвергаться жестокому наказанию. Я со страхом стоял уже у входа в столовую, как вдруг распахнулась дверь передней, и передо мной

предстал мой отец. Инстинктивно я бросился к нему с жалобой: «Папа, меня сечь хотят»... Он пришел в сильнейшее негодование и потребовал к себе немца.

— Разве затем отдали вам моего сына, чтобы вы драли его! — сердито сказал он Шмолю.—Больше я не оставлю его в вашем пансионе... Прошу немедленно собрать его вещи.

Пока укладывали в чемодан мое имущество, отец ходил со мной по залу, положив свою могучую руку на мое плечо. Лицо его было красно, и, как мне казалось, сквозь его любимые духи от него пахло вином... Прислуга принесла чемодан. Мы оделись и вышли. У под'езда стояла коляска отца, запряженная парой серых лошадей.

Когда мы сели в экипаж, отец приказал кучеру: «В Новотроицкий трактир!.. Ты еще ведь не обедал»,— добавил он, обратившись ко мне.

Судя по тем почтительным поклонам, какими половые встречали нас, отец был в трактире желанным гостем. Он занял отдельный кабинет и велел подать мне обеденную карту. «Возьми себе любой обед, какой захочешь, — сказал он, — а я пойду... скоро вернусь». Я заказал обед из пяти блюд и в ожидании его стал ходить по обширному кабинету и рассматривать картины, развешенные по стенам... Вскоре половой пригласил меня «кушать»... Насыщение тянулось довольно долго, благодаря длинным промежуткам между блюдами, а отца все не было. Наконец, когда я доедал пирожное, обе половинки двери с шумом растворились, и вошел отец в сопровождении хора цыган в характерных костюмах. Он шел прямо ко мне, положив руку на шею красивой цыганки в голубом шелковом платье, и как-будто не замечал меня. Но вот цыганка что-то

шепнула ему, он остановился, снял руку с ее шеи и сказал половому, указав на меня: — Проводи его к экипажу... Вели кучеру отвезти его домой...

Таковы мои первые впечатления после немецких розог, связанные с этим трактиром, — закончил я свой рассказ. — И, представьте, с тех пор я не видал больше цыганских хоров и не слышал пения цыганок, хотя знаю, что увлечение ими иногда уносит целые состояния: значит, в них есть что-то непреоборимое...

После некоторого раздумья Глеб Иванович со вздохом сказал:

— А мне понятно это увлечение... Ведь я сам чуть-чуть не женился на цыганке.

— Вы?

— Да. Давно это было. Жил я в то время в Москве, частенько ездил с приятелями в Петровский парк и заглядывал в трактир «Яр», где поют цыгане. Хоровое пение их мне не нравилось, но среди женщин встречались солистки, исполнявшие с неподражаемой выразительностью разные романсы. В хоре была цыганка Стеша. Красивая, скромная девушка, она отличалась особым даром оживотворять пением некрасовские стихи. Под влиянием ее пения некоторые стихотворения Некрасова производили на меня более сильное впечатление, чем раньше... Я познакомился с нею, несколько раз гулял в парке и... не замедлил сделать ей предложение выйти за меня замуж... Она согласилась на условии, если разрешат ее родители. Им она сказала, что я—писатель, зарабатываю хорошие деньги и могу содействовать устройству ее концертов... Родители дали согласие на брак, но потребовали, чтобы обручение происходило, по обычаю, в их доме публично. Надо было купить золотые кольца, позаботиться

о костюме—вообще, это увлечение загнало меня в порядочные долги... Все было готово, и вечером в назначенный день я отправился в Ямскую слободу... В передней квартиры моего будущего тестя была такая густая толпа, что, протискиваясь вперед, я уронил шляпу и не мог поднять ее... В следующей комнате, за длинным столом, сидела масса старых цыган, один страшнее другого, все галдели по-своему что-то несуразное. Меня охватил такой ужас, что, воспользовавшись теснотой, я незаметно скрылся в толпе и выскочил на улицу, не замечая, что я — без шляпы... К счастью, на Тверской подвернулся магазин, где я мог купить фуражку и уже на извозчике продолжать бегство... В тот же день я удрал из Москвы.

— И больше не заглядывали в «Яр», не видали Стеши? — спросил я.

— Стеша вскоре после моего бегства вышла замуж за московского купца... Напуганный неудачным сватовством, я боялся «Яра» больше пяти лет... Потом бывал с Михаилом Алексеевичем Саблиным и другими любителями цыганского пения из «Русских Ведомостей» [82]. Хотите—прокатимся? Если найдется цыганка, умеющая петь некрасовские стихи, получим большое удовольствие.

— Ведь это дорого стоит?

— Каждая песня десять рублей. Вы заплатите за одну, я — за другую... Надо еще угостить чем-нибудь певицу и гитаристов... Едем?

Я согласился.

Когда мы приехали в «Яр» и узнали, что в хоре есть цыганка, исполняющая некрасовские романсы, мы заняли отдельный кабинет и пригласили к себе певицу с аккомпаниатором.

Вошла довольно миловидная цыганка в красном платье, с массой украшений на голове, на шее и на руках.

За нею шел высокий цыган, в желтой канаусовой рубашке и плисовой безрукавке, с гитарой в руках.

— Вы не торопитесь? — спросил Глеб Иванович цыгана.

— Никак нет-с, можем пробыть сколько угодно, — ответил он.

— Садитесь, пожалуйста! Не желаете ли чего?

— Разве рейнвейн и грушу? — как бы нехотя проговорила цыганка.

— А мне позвольте российского очищенного! — пробасил ее спутник.

Угощение было подано. Наливая рейнвейн, Глеб Иванович говорил цыганке:

— Вы можете спеть что-нибудь из Некрасова?.. Что же?.. Из «Размышлений у парадного под'езда»? Очень хорошо.

Цыган выпил две рюмки водки и взялся за гитару.

— «Родная Земля»? — спросил он певицу.

Она кивнула головой в знак согласия, встала и, повернувшись к нам лицом, запела...

У нее был контральто, приятного тембра, и она владела голосом артистически.

Обращение к «родной земле» с просьбой «указать такую обитель, где бы русский мужик не страдал», было передано таким тоном, что получилось впечатление совершенно безнадежной просьбы. Заключительные слова — «Волга! Волга! Весной многоводной ты не так заливаешь поля...» были произнесены со слезами в голосе, и глубокой скорбью, чуть не с рыданием прозвучала фраза: «Где народ, там и стон!»

Глеб Иванович сидел на диване, привалившись ко мне, и я чувствовал, как он воспринимает впечатления от изумительной передачи некрасовских стихов: он дрожал.

Подавленные впечатлением, мы оба молчали... Цыганка подошла к столу и залпом допила свою рюмку рейнвейна.

— Хотите еще песню? — спросила она.

— Да, да, непременно, — сказал Глеб Иванович. — Как хорошо вы поете.

Из того же стихотворения Некрасова цыганка взяла часть, начинающуюся словами: «Раз я видел, сюда мужики подошли»...

В ее исполнении были моменты выразительного речитатива, ноты глубокой грусти, насмешливого отношения при упоминании «владельца роскошных палат», полного презрения при обращении к нему, и наконец безысходная тоска, переданная низкими контральтовыми нотами при последнем выводе: «Но счастливые глухи к добру»...

Глеб Иванович сидел бледный и порывисто дышал. Цыганка пила рейнвейн маленькими глотками и заедала ломтиками груши. Цыган выпил еще рюмку водки и переходил от одной закуски к другой...

Я взялся было за бумажник, чтобы расплатиться с певицей, но Глеб Иванович встал с дивана и глазами пригласил меня выйти из кабинета.

— Вы кушайте, а мы сейчас... — сказал он цыганке.

В коридоре он говорил мне.

— Вы хотите расплатиться. Подождите! Попросим ее еще спеть.

— Будет, Глеб Иванович! Вы слишком волнуетесь, даже побледнели... И удовольствие не из дешевых: уже

сейчас стоит тридцать рублей. Я не могу истратить больше пятнадцати...

— Я один заплачу за все.

— Нет, Глеб Иванович, довольно, прошу вас... И меня сильно расстраивает это пение. Расплатимся лучше и уедем.

— Ну, еще только одну песенку!

— Будет, будет.

— Ну, бог вам судья! — сказал Глеб Иванович и с этими словами направился в кабинет.

После взаимных благодарностей цыгане ушли.

— Теперь вы понимаете, почему я чуть-чуть не женился на цыганке? — спросил Успенский, когда мы ехали на извозчике.

Для характеристики Глеба Ивановича необходимо упомянуть еще об его отношении к Н. К. Михайловскому. Он пользовался его безграничной симпатией Успенский ценил его выше всех остальных членов редакции «Отечественных Записок» и как в глаза, так и за глаза обнаруживал к нему глубокое уважение.

В журнале «Минувшие годы» [83] за 1908 год г-жа Починковская сообщает, что в 1876 году будто бы из-за невозвращенной статьи Успенского у него вышла ссора с Михайловским, и по этому поводу он писал Александре Васильевне: «Встретил сегодня на улице Михайловского и не поклонился ему. Это его, очевидно, поразило. Так и надо».

Действительно, однажды Глеб Иванович рассердился на Николая Константиновича, но не из-за статьи, не возвращенной ему (статьи его поступали в исключительное ведение М. Е. Салтыкова), а по другой причине, не имевшей никакого отношения к редакции «Отечественных Записок».

Глеб Иванович нуждался в деньгах и хотел получить срочную ссуду в 200 рублей из «Литературного Фонда» под поручительство Николая Константиновича.

Михайловский посоветовал ему взять лучше бессрочную ссуду, не требующую поручительства, тем более, что в этот раз он не может этого сделать, так как поручился уже за другого должника «Литературного Фонда».

Глеб Иванович не любил и не знал никаких формальностей, правил, уставов. До какой степени доходило его равнодушие в этом смысле, можно судить по тому, что одному приятелю, нуждавшемуся в учете векселей в Псковском городском банке, он выдал обязательств на несколько тысяч рублей и говорил:

— Какая несообразность! Для других у меня большой кредит в Псковском банке, а сам я не могу взять ни копейки.

Не интересуясь правилами и «Литературного Фонда», он принял заявление Михайловского за нежелание поручиться за него и обиделся. Но не прошло и недели, как он убедился в своей ошибке и постарался восстановить прежние частые сношения с Николаем Константиновичем.

— Как я измучился за эти дни моей ссоры с ним, и сказать не могу! — говорил мне Глеб Иванович. — Для меня легче размолвки с Александрой Васильевной... Зато теперь как я счастлив!.. Угораздило же меня не поверить ему!

Малейший неодобрительный отзыв о Михайловском сердил его.

Однажды в его присутствии Е. С. Некрасова назвала Николая Константиновича «генералом» от «Отечественных Записок».

— Вот и видно, что вы ни разу не говорили с ним,— недовольным тоном заметил Глеб Иванович, — иначе не обругали бы его...

Сам он в разговоре о Николае Константиновиче никогда не относился к нему даже с оттенком юмора, к чему имел большую склонность, и часто пускал в ход свое остроумие по отношению к другим лицам.

ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ

ГЛЕБ УСПЕНСКИЙ И РЕВОЛЮЦИОНЕРЫ 70-х гг.

3078—25

Глава первая

ПИШУ РАДИ ЛАВОЧКИ

По цензурным условиям 1902 г., в «Материал для биографии Г. И. Успенского» Н. К. Михайловский не мог определенно говорить об отношениях Глеба Ивановича к революционерам 70-х и 80-х годов, и читателю этих «Материалов» предоставлялось лишь догадываться, какую роль играли эти люди в жизни Успенского, когда «он искал того равновесия, той гармонии отношений и пропорций, гармонии целей и средств, мысли и дела, разума и совести, которой не находил в себе и в непосредственно окружающей его жизни».

«Он находил гармонию целей и средств, мысли и дела, разума и совести... в живых людях, — говорит Михайловский, — в роде девушки «строго, почти монашеского типа», перед которою он почти молитвенно преклонялся. В некоторых своих очерках он сам рассказывал, как «выпрямляли», счастливили его такие явления жизни. К числу их принадлежал и оригинал героя романа или повести «Удалой добрый молодец».

Теперь можно расшифровать эти строки Н. К. Михайловского.

Глеб Иванович Успенский, по своему характеру, не мог быть активным революционером, но его недовольство «существующим строем», глубокое понимание истинных причин всяких «неурядиц», искренность

и прямота всегда тянули его в сторону представителей активного протеста. В них он видел людей, беззаветно преданных родине, неспособных ни на какие сделки с совестью, и даже завидовал им.

— Ну, что я? — говорил он, например, про свою литературную деятельность. — Пишу ради лавочки! Иной раз и хочется размахнуться, да вспомнишь прачку, мясника, шляпку с пером для Александры Васильевны — и начнешь строчить: «Солнце склонялось к западу... По небу катилось облако... точно бревно — к плотам на Ветлуге...» Вон Бакунин [84] или Лавров [85] — те пишут, не считаясь с тем, будет ли légume [*] к завтраку...

Или вот что писал он В. М. Соболевскому, редактору «Русских Ведомостей», по поводу своих встреч с болгарскими революционерами.

«Да! Надобно действовать и действовать прямо!» Ты—писатель (думают они), сочувствуешь и тому-то и тому-то? Ну, так докажи. Беда тебе будет? Плохо? До этого нам нет дела. Мы ведь не боимся расстреливать подлецов, и не боятся ваши, которые ненавидят подлецов, умирать. Ты должен быть не зайцем, боящимся всего этого. Если вы, писатели, пишете то-то и то-то, — то и на деле пожалуйте!» Это все верно, правда сущая. Но я уже напуган.

Вздохну, обдумаю, немного укреплюсь и, поверьте, сделаю так!

Если я не сделаю так, то все—чепуха, вся жизнь—вздор, сочинение, пустяки, презренные пустяки... Боже мой, как мне опротивел здесь Толстой, Какой смрад!..»

---

[1] Овощи.

Глава вторая

ТРУДАМИ РУК СВОИХ

Глеб Иванович дружил со многими революционерами 70-х и 80-х годов, и для характеристики его отношений к ним прежде всего следует остановиться на двух лицах, упомянутых Н. К. Михайловским, но не названных по имени. «Оригинал героя задуманной Г. И. повести «Удалой, добрый молодец» — это Г. А. Лопатин. О нем он писал Михайловскому:

«Повесть, которую пишу, — автобиография, не моя личная, а нечто в роде Лопатина. Чего только он ни видал на своем веку! Его метало из губернаторских чиновников в острог на Кавказ, с Кавказа в Италию, прямо к битве под Ментоной, к Герцену [86], потом в Сибирь на три года, потом на Ангару, по которой он плыл тысячу верст, потом в Шенкурск, в Лондон, в Цюрих, в Париж. Он видел все и вся. Это — целая поэма. Он знает в совершенстве три языка, умеет говорить с членом парламента, с частным приставом, с мужиком, умеет сам притвориться и частным приставом, и мужиком, и неучем, и в то же время может войти сейчас на кафедру и начать о чем угодно вполне интересную лекцию. Это—изумительная натура. Я и думать не могу охватить все это, но уголок я постараюсь взять в свою власть».

«Девушка, строгого, почти монашеского типа, перед которой он почти молитвенно преклонялся — В. Н. Фигнер. За все время знакомства с Верой Николаевной Глеб Иванович восторгался ее умом, энергией и в особенности — отзывчивостью к людским страданиям, даже в тех случаях, когда причины этих страданий

могли казаться ничтожными с ее личной точки зрения.—Она понимает всякое горе,—говорил о ней Глеб Иванович,—страдает человек из-за пустяков, а ей все-таки жаль его, готова помочь... Великое сердце!

Глубокие симпатии Глеба Ивановича к В. Н. Фигнер сказались даже в его бредовых видениях в психиатрической лечебнице доктора Фрея. Очевидно, образ кристальной души В. Н. сохранился в его больной памяти и, в зависимости от его несколько мистического настроения, стал воплощаться в «монахиню Маргариту, приносившую с собой утешение и ободрение».

— Угрюмый, сидел я, склонивши голову,—рассказывал Глеб Иванович про свое видение.—Вдруг чувствую... именно чувствую, а не вижу, что ко мне медленно, тихо приближается женщина в белоснежной одежде... Сосредоточенная, строгая, она смотрит на меня с глубокой тоской во взоре... Такою я видал В. Н., когда она бывала удручена чем-нибудь... Да и видение, как мне казалось, походило на нее... Были и другие знакомые черты, но ее глаза, фигура... Она подошла ко мне и любовно положила на мое плечо свою руку... Я очнулся, поднял глаза и увидел, что все небо, как яркими звездами, усыпано человеческими сердцами... все сердца, сердца... Весь мир она переполнила любовью... С этого момента я стал замечать, что здоровье мое улучшается. Светлые промежутки стали чаще. А чуть бывало снова набежит мрак, ненависть к людям, жажда смерти—мой ангел-хранитель, Маргарита, опять со мной... Повозилась она со мной достаточно!—шутливо заканчивал Глеб Иванович свой трагический рассказ.

Кроме В. Н. Фигнер, Глеб Иванович был знаком, отчасти даже дружен со многими видными членами партии «Народной Воли». Юрий Богданович, Желябов [87],

Кибальчич, А. П. Корба [88], Ланганс, Перовская [89] Саблин, Лев Тихомиров и др. всегда находили у него радушный прием. В общении с ними он почерпал бодрость духа и всякий раз впадал в уныние, когда случайно затягивался период неизвестности относительно судьбы того или другого. Все платили ему взаимностью. До какой степени доходила искренность и простота отношений с обеих сторон, можно заключить, например, из того, что Глеб Иванович, точно предчувствуя грядущие события, непременно хотел, чтобы все собрались у него для встречи нового 1881 года, и, несмотря на рискованность этой затеи для «нелегальных» людей, очень многие были в числе его новогодних гостей,—может быть, даже с уверенностью, что в последний раз жмут руку любимому писателю и человеку.

Для иллюстрации отношений Глеба Ивановича к политическим ссыльным, бывшим на свободе его друзьями, и отчасти для характеристики его задушевных мыслей, не находивших выражения в печати, я позволю себе привести несколько выдержек из его писем ко мне, когда я жил в 1885 г. в г. Минусинске и в 1888 г. в Томске.

28 декабря 1884 г. я послал Гл. Ив. рукопись крестьянина из молокан Минусинского уезда, Т. Н. Бондарева, под заглавием «Трудолюбие или торжество земледельца». Деревенский философ об'яснял все несовершенства жизни тем, что большинство людей забыло «первородный» закон: «в поте лица снеси хлеб свой», и для восстановления правды на земле рекомендовал «белоручкам» земледельческим трудом снискивать себе пропитание. Глеб Иванович, в интересах «читателя, томящегося решением вопроса: «как жить свято», воспользовался этой рукописью для своей статьи: «Трудами рук своих». Появление его статьи в «Русской Мысли»

говорило мне, что, если он получил рукопись Бондарева, то должен был получить и мое письмо, отправленное вместе с нею. Ответа долго не было. Наконец он пришел 17 апреля 1885 года.

«Дорогой мой А. И.! — писал Успенский.—Тысячу миллионов раз собирался и принимался писать вам, — но так ужасно тяжело жить, такая беда бесконечная тяготит надо мною всю жизнь, что едва-едва с страшным трудом и усилиями способен только строчить кое-что для хлеба. Искренности во мне давно, давно нет. Только нужда, и уж ни о чем, ни о каких планах не мечтаю. Лишь бы что-нибудь, как-нибудь написать, и потом думать о следующей работе. Ни знакомых, ни отдыха никакого никогда. В прошлом году доехал до Екатеринбурга и хотел ехать к вам и видеть вас всех,— нет! Такая тоска взяла меня в Екатеринбурге, что я только промаялся там три дня и уехал, никого, ничего не видавши. Теперь мне поздно уже толкаться между людьми, смотреть, как живут, и т. д. Надо сидеть с пером и писать, пока не издохнешь. Как вы счастливы, сколько вы (все) всего видели, и будут у вас хорошие, светлые времена (они, кажется, начинаются), а у меня ничего не будет, — только пиши и пиши. Тут никуда не хочется поехать, все равно надо будет истребить в себе все, что привезешь. Лучше сидеть...

Отчего вы не пишете мне?.. Дмитрий Александрович? (Д. А. Клеменц) Марья Павловна? (М. П. Лешерн-фон-Герцфельд). Это не по-суседски...

Рукопись молоканина сокращена, вычеркнуто множество, и потом ведь пишешь положительно с глубоким сознанием, что «не так», и это уж несколько лет под ряд. Но она произвела большое впечатление, и массу писем я получил. В сочинении Л. Толстого [90],

которое не напечатано, та же идея, и едва ли не этот молоканин вывел его из той чепухи, в которую попал Толстой с своей теорией благотворительности, которую практиковал на деле. Теперь он все это попрал и говорит «пахать!» Я думаю, что и это не пристало к барину. Зачем же тащить из мужицкой теории в свою то, что для барина только извинение не вмешиваться в политику? Ведь пахать-то в самом деле не будет»...

Далее в письме Глеб Иванович в юмористическом тоне рассказывает некоторые эпизоды из жизни общих друзей из литературного мира и, сохраняя тот же тон, продолжает:

«Читал у г-жи Минаевой письмо Дмитрия Александровича — чистый академик! С севера, говорит, мы граничим севером, а с юга горами Араратскими, а к западу начинается то-то и то-то... И притом сказано: «письма не читаются». Не знаю... А хорошо, если бы вы и Д. А. писали о своем житье-бытье подробно, все, что угодно, — все важно и все по возможности надо бы проводить в публику теперь.

Скоро к вам поедет мать Фигнер, т. е. не к вам, а к дочерям в Иркутск.

Итак, милый мой А. И., и все, милые мои, пишите! Глубоко вам благодарен за рукопись».

Глава третья

БАТЮШКА! ПОМИРАЕТ, РОДИТ!

Вопреки уверению Глеба Ивановича, что теперь ему «поздно уж толкаться между людьми», он все-таки заглянул в Сибирь летом 1888 г. В то время я жил в Томске и вместе с Ф. В. Волховским [91], П. А. Голубевым [92]

и. Г. Ф. Здановичем [93] принимали участие в «Сибирской Газете» [94].

Гл. Ив. попал к нам как-раз в тот момент, когда мы были заняты составлением номера газеты, целиком посвященного открытию первого университета в Сибири 22 июля 1888 г. Он быстро вошел в курс дела и, узнав, что в номере проектируется отдел: «Замечательные сибиряки», предложил нам написать биографию историка А. П. Щапова [95].

Кроме нас, сотрудников «Сибирской Газеты», в Томске были еще ссыльные и между прочим целая колония их жила на дачном положении в деревне Басандайке. Гл. Ив. хотелось видеть всех «изгнанников», и он собирался непременно заглянуть в эту Басандайку, почему-то прозванную им Бахчисараем.

Но вышло так, что в приглашении одного из ссыльных Ш. приехать туда, он заподозрел коварный умысел: видеть его в колонии не простым гостем, а писателем, способным осветить какие-то вопросы спорного характера. Всегда далекий от мысли «поучать» кого-либо, он не поехал в Басандайку и все время проводил в нашем обществе, случайно увеличившемся приездом в Томск большой приятельницы Гл. Ив. О. Н. Фигнер.

Время его пребывания с нами летело незаметно, и день его от'езда сжимал сердце предчувствием, что без него опять начнутся скучные, серые будни. Оторванные от России, мы с жадностью воспринимали его живые, полные юмора характеристики разных явлений жизни, общих друзей и знакомых, и сознавали, что общение с ним дополняет и расширяет сферу наших представлений о русских делах, естественно сократившуюся, благодаря подневольной жизни на чужбине. Между тем, самому Гл. Ив. все время казалось, что он

не привез нам ничего утешительнсго, а еще больше сгустил мрак нашей неволи своей личной персоной, недовольной условиями своего существования и неудачами, преследующими его из года в год.

28 июля Гл. Ив. уехал из Томска. Чтобы не возвращаться на пароходе по унылым сибирским рекам, он предпочел проехать путь от Томска до Тюмени на лошадях. Такой способ передвижения оказался рискованным. Дорогой он чуть не сделался жертвой быстрой сибирской езды, или, как он писал, «едва не был убит, и решительно не понимаю, как только не переломил ногу». Все свои дорожные приключения он описал в письме ко мне из Омска, 30 июля, и даже графически изобразил, как лошади тащили тарантас, опрокинувшийся на него, и где именно он получил наибольшие удары. «Извозчик, весь избитый, стоял передо мной, когда я выполз из-под чемодана и сена, бледный от изумления, — так кончается описание пережитых им треволнений. — У него кровь была на носу, и он понять не мог, как я спасся, и говорил одно: «бог спас»! Да и я, признаться, в небесах увидел бога, когда меня стукнуло об угол до того, что искры посыпались»...

«Дружки» и «почтовые недруги» показались Глебу Ивановичу такими ужасными, что он отказался ехать дальше на лошадях и решил ждать в Омске парохода.

«Я лег спать, — пишет Гл. Ив. — и проспал 12 часов. Теперь 6 ч. утра. И все-таки я чувствую себя хорошо. Я рад, что видел вас, Ольгу, Здановича, Петра Александровича, Волховского, но не рад, что привез себя к вам в таком гнусном виде. Скучней вам, милый А. И., стало от моего визита, не ободрил я вас ничем, ничем — вот что мне горько. Я приехал совершенно в мочальном виде. Что делать! Надо бы мне пожить у вас подольше,

и я бы поправился, и мысли бы мои посвежели. Мне и теперь во сто раз лучше, чем тогда, когда я приехал, и теперь я благодарю вас до глубины души, говорю вам от чистого сердца: спасибо вам, слава богу, что вы живы и такие славные люди.

Я ужасно жалею, что не был в Бахчисарае. Я должен был там быть, а главное сам хотел душевно. Довольно я нажился в пустопорожнем обществе, мне нужно ваше и ихнее. Но Ш. как-то так глупо перековеркал мое положение относительно их, что оказалось невозможным поехать просто, так, как мы ездили к этим братьям-охотникам (к издателю «Сибирской Газеты» Н. А. Толкачеву и его брату П. А.) Нельзя было просто поехать, потому что Ш. так сделал, что, неизвестно почему, стал приходить ко мне, точно к попу звать к родильнице. Родильница помирает, а поп не идет.

— Так мне можно уехать в Барнаул? Жена больна.

Вот с какими ревами он ко мне приходил. Выходило так, что если я не поеду в Бахчисарай, то у него жена умрет, и вообще я его задерживаю. Он в чем-то там обещался, и не то я, не то они его «не пущают» ехать из-за меня, пока не привезет. (Вот ведь какое недомыслие!) Зачем меня привозить «силом», когда я сам хочу их видеть и быть у них. Вероятно, он им обещал, что я буду давать какие-то ответы, как Иоанн Кронштадтский [96]: они будут спрашивать, а я прорицать. Вот от этого-то я и не поехал, так как просто хотел повидаться с людьми хорошими, а к допросу итти не пожелал.

— Извозчик готов сейчас!..

Чисто, как к попу.

— Батюшка! Помирает, родит!.. Ш. очень добрый парень, но самовольно произвел меня в неподобающий чин: учителя и указателя путей — раз; а другое: обещал этого попа п р и в е з т и : «Привезу!» Я ужасно жалею, просто скорблю, скорблю душевно. Вот дуралеюшка какой! Сделал то, что я не видал самого для меня важного. Даже упорство «не ехать» возбудил во мне, болванушко!»...

Письмо кончается довольно фантастическим советом сократить срок моей ссылки постепенным передвижением на восток, «вплоть до Сахалина, а оттуда на пароходе Добровольного флота, через Америку, Париж и — в Петербург», и сердечными признаниями. «Поцелуйте первого — Здановича. Я его люблю, и П. А. люблю. Подлюбливаю и Волховского, Феликса Вадимовича, и если не вполне, то потому, что он хочет жениться. Я против брака. Впрочем, не мое дело!»

Глава четвертая

КАКОЙ ЖЕ Я РЕВОЛЮЦИОНЕР

Конечно, сношения Успенского с революционерами не проходили бесследно: были случаи, что он сам принимал участие в кое-каких делах революционного оттенка и за свои «предосудительные» знакомства, числясь вообще «неблагонадежным», два раза имел дело с жандармами.

В Париже в 1875 г. Глеб Иванович живо интересовался всеми вопросами, находившими отражение, с одной стороны, в газете «Вперед» Лаврова, с ее проповедью «чистой пропаганды», и с другой—в органах боевого направления, где рекомендовался путь «пропаганды

действием». Во «Вперед» он напечатал фельетон «Шила в мешке не утаишь», воспроизведенный с некоторыми сокращениями в апрельской книжке журнала «Современность» за 1906 г.

Выступление в революционном органе несомненно доставило Глебу Ивановичу удовольствие, как первая попытка писать не «для лавочки», потому что, когда вскоре появилась в газете заметка присяжного поверенного А. А. Ольхина о русских судах, он послал ему вырезку этой статьи вместе с своим фельетоном, чего не сделал бы при обычном недовольстве своими работами и поощрял его на дальнейшее сотрудничество.

В письме была между прочим фраза: «присылайте нам еще», позволяющая допустить, что в этот момент Глеб Иванович считал газету даже своим делом.

Эта неосторожная фраза оказалась чреватой последствиями. Письмо к А. А. Ольхину попало в руки полиции, и на Успенского было обращено внимание. Мало осведомленные агенты, когда им было поручено следить за Глеб Ивановичем, скоро пришли к выводу, что он в Париже играет такую же роль, какую П. Л. Лавров—в Лондоне. Этой нелепой аттестации соответствовал финал, получивший в рассказе Глеб Ивановича большой комический оттенок. В 1876 г. Успенский возвращался в Россию.

— Перед Вержболовым, как полагается, отобрали паспорт,—рассказывал Глеб Иванович.—Стою у своих вещей в таможне. Вдруг откуда-то выплывает жандармский офицер и прямо ко мне. «Вы—г. Успенский?.. Глеб Иванович?»—Да,—говорю. «Это ваши вещи?»—Мои. «Неси, — приказал он артельщику, — и вы пожалуйте за мной!» Очутился я в присутствии... Вместо зерцала, бутылка красного вина, и еще какой-то синий мундир.

«По приказанию III отделения [97] его императорского величества канцелярии, мы должны произвести у вас обыск», — говорит бравый ротмистр. — Но у меня нет ничего запрещенного, — говорю. — «А вот увидим-с!»...

При помощи унтера стали перебирать мои веши...

— «Это — что? Книга? — Клади сюда!.. Письмо? — На стол!»

Был у меня номер «Отечественных Записок» и листочки начатой рукописи. Перетрясли все потроха... Насупился жандарм и стал смотреть в книгу, а в ней — как-раз моя статья. «Вы изволите писать в «Отечественных Записках?» — Как видите. — «Гм!.. И эта рукопись тоже предназначается для журнала?» — Да. — «Странно, в предписании не сказано, что вы—писатель. Просто говорится: «учитель Глеб Иванович Успенский»... И в паспорте тоже «учитель». — Это я и есть,— говорю: — звание мое — учитель, а занятие — литература... Оба уставились на меня. «А позвольте узнать, в каких же революционных делах вы замешаны? Не будут же зря давать предписания об обыске и, смотря по результатам его, об аресте?» — Уж этого я не знаю, — говорю. — Какой же я революционер!.. Так искренно я изумился—да и в самом деле, какой же я революционер? — что жандармы переглянулись, что-то пошептали друг другу, и ротмистр торжественно произнес: «Вы свободны... В Петербурге разберут»... Ну, а в Петербурге меня уж не трогали...

Хотя Глеб Иванович и поместил фельетон в газете «Вперед», но его симпатии больше склонялись в стороны представителей «пропаганды действием», чем к «лавристам». Между прочим ему принадлежит последний толчок, заставивший П. Л. Лаврова признать, что его «Вперед» уже не отвечает настроению молодежи.

В 1876 г. чистые пропагандисты насчитывались единицами, молодежь, настроенная более революционно, не прислушивалась больше к голосу «Вперед» и в своей оценке этого органа доходила даже до насмешек над руководящими статьями редакции.

Чуткий Глеб Иванович тоже не разделял запоздалых взглядов Лаврова и сумел схватить отрицательное отношение к нему в своем рассказе «Неизлечимый». Как известно, герой рассказа, диакон, ищет средств привести себя в равновесие от проснувшейся совести и останавливается на чтении книг в предположении, что оно может «восстановить душу», читать же книги хочет не «мимолетные», не «Португалова» [98], даже не «Шлоссера» [99], а такие, что били бы «в самую точку, в корень». После предложения разных сочинений, не удовлетворивших радикальных запросов диакона, доктор (другое действующее лицо рассказа) предлагает ему, наконец:

— Не хотите ли вот «До человека»?

Диакон с радостью ухватывается за эту статью П. Л. Лаврова, стал читать, но скоро пришел к выводу: «Уж и трудно же написано!»... Все эти «хелиасты», почему «взрослое животное лучше новорожденного», «комбинация форм» — цитаты из сочинения П. Л., приобретающие юмористический оттенок в попытках диакона разгадать их смысл.

П. Л. познакомился с этим рассказом Успенского как-раз в тот момент, когда он был удручен привезенными ему известиями из России относительно отношений молодежи к его газете.

— Да, — говорил П. Л.,—этот рассказ Успенского— лучшее доказательство, что мои писания не удовлетворяют. Я знаю Глеба Ивановича. Он — фотографическая

пластинка, схватывающая лишь то, что им хорошо продумано. Он никогда не позволил бы себе ставить меня на одну доску с болтуном Португаловым, если бы моя репутация в глазах молодежи не пошатнулась...

Глава пятая

ТРУБА ВМЕШАЛАСЬ

Далекий от мысли вести сознательно какую бы то ни было революционную пропаганду, Глеб Иванович, тем не менее, в 1877 году был привлечен в Самаре к дознанию о распространении «преступных идей» среди семинаристов.

Успенский жил в то время в Сколкове, имении К. М. Сибирякова, где его жена была учительницей в сельской школе, а сам он, помимо литературы, занимался делами ссудо-сберегательного товарищества, вместе с бывшим семинаристом Александровским. Этот развитой юноша приехал на лето в деревню отдохнуть от семинарской науки и незаметно для себя так втянулся во все виды помощи крестьянам, что к концу лета переживал уже душевную драму: стоит ли возвращаться в город ради какой-то герминефтики, философии, когда здесь, в деревне, столько живого дела, когда чувствуешь и сознаешь, что приносишь пользу беспомощному, темному люду, и сам с жадностью набираешься знаний, чтобы еще больше расширить круг служения народу?

Бросить этих обиженных, обойденных людей, опять отдать их в лапы мироедов, кулаков и других эксплоататоров, создающих свое благополучие на их забитости и невежестве, — ради чего? Чтобы кончить

курс в семинарии и надеть поповскую рясу, эту длиннополую хламиду, точно нарочно придуманную для того, чтобы суеверный народ запутывался в ее складках?.. Нет, никогда!.. И Александровский остался в деревне. Успенский изобразил этого юношу в своем очерке «Черная работа».

Глеб Иванович не расширял умышленно круга своих знакомых в деревне, но и без его участия число знакомых росло в силу обаятельной его личности, да и тот факт, что он—писатель, придавал притягательную силу общению с ним. В числе посетителей его очутился, между прочим, один пройдоха из зажиточных крестьян соседнего села Богдановки. Грамотей, ловкий делец во всех областях личной наживы, он часто заглядывал к Глебу Ивановичу не без задней мысли: дать ему материал для «обработки» кого-либо из своих врагов или обидчиков. То расскажет про мошенническую проделку барина, якобы «нагревшего» его при продаже пшеницы то приведет гнуснейший факт из сношений с молоканами, тоже будто бы причинившими ему непоправимое зло, и т. п.

В жизни Гл. Ив. довольно часто встречались такие поставщики материала с задней мыслью и не только из среды, где неразборчивость в средствах вполне естественна, а из круга людей культурных, развитых, считавших себя прогрессистами, какими были разные земские и другие общественные деятели. Сидит бывало какой-нибудь земец перед Глебом Ивановичем и нанизывает факт за фактом для посрамления в печати ненавистных ему представителей «Белой Арапии». Успенский слушает, пощипывает свою бородку, и потом—вдруг статья, где о «Белой Арапии» ни слова, зато художественно нарисован портрет «либерала», не замечающего, что вся его деятельность — мыльный пузырь. Или железно-

дорожник, недовольный порядком в месте своего служения, развивает целую систему нововведений с расчетом встретить защиту ее под пером Успенского, — и вдруг очерк с целым рядом железнодорожных преобразователей, воображающих, что они дело делают, когда на самом деле лишь «толкутся у пустого места».

Так же ошибся в значении своих рассказов для Глеб Ивановича и богдановский кулак. Получив однажды новую книжку «Отечественных Записок» со статьей Успенского, он к ужасу своему узнал, что все его разоблачения разных конкурентов, ненавистных ему соседей—помещиков и молокан—послужили автору лишь канвой для характеристики кулаков, опутывающих деревню, при чем один, наиболее типичный, очень похож на него: «в роде как портрет»...

Вскипело негодованием сердце богдановского кулака, и он предпринял ряд выслеживаний полицейского сыска, чтобы перед лицом власть имущих обнаружить в Гл. Ив. «опасного» человека, подрывающего все основы российского государства. Он наводил справки и о лицах, приезжающих в город навестить Успенского, и об его отношениях к подозрительному семинаристу Александровскому, непрошенному защитнику крестьянской бедноты, и особенно старался через кухарку Гл. Ив. выяснить вопрос, картинно изображенный Успенским в одном из фельетонов газеты «Русский Курьер» [100] за 1879 г.

— Так барин-то твой пишет, говоришь?

— Пишет.

— Ну, а писем много получает?

— Как почта — так и везут письма, газеты, книги бывают...

— Так ведь этак у него вороха бумаг накопляются. Неужто все бережет?

— Которые бережет, а что не надо — выбрасывает, либо в печку...

— В пе-ечку?.. И на твоих глазах жег?

— Жег.

Молчание.

— Так жег, говоришь?

— Жег.

— Гм.

Но все эти исследования не давали желательного результата: нельзя было состряпать внушительный донос.

Но вот однажды Глеб Иванович поехал в Самару вместе с Александровским, и оба остановились в номере довольно невзрачной гостиницы, где жильцы отделялись друг от друга такими стенами, что «каждый мог слышать дыхание другого».

В такой-то прозрачный номер пришли к Александровскому его товарищи-семинаристы, и скоро завязался общий разговор о значении духовенства для народа. Довольно часто слышался голос Успенского, и всякий раз в ответ раздавался раскатистый, здоровый смех семинаристов. Глеб Иванович приводил факты, довольно позорные для служителей алтаря.

Вдруг дверь соседнего номера распахнулась, и на пороге появились два жандарма в сопровождении богдановского кулака.

Оказалось, что кулак случайно очутился соседом по номеру с Глебом Ивановичем, подслушал его разговор с семинаристами и сбегал за жандармами, дабы они своими ушами убедились, какую преступную пропаганду ведет он среди молодежи. Жандармам

удалось записать несколько фраз, произнесенных Успенским. Конечно, акт — и началось дело.

К счастью для Глеба Ивановича, в то время начальником жандармского управления в Самаре был полковник Смальков, довольно образованный и толковый человек, не допускавший арестов по пустякам, и Глеб Иванович мог спокойно уехать в свое Сколково.

Тем не менее он был привлечен к допросу.

На первых же порах Смальков был поражен ответом Успенского.

— Как же это вы, Глеб Иванович, вели такие неосторожные разговоры с семинаристами? — спросил полковник...

— Это не я, а князь Мещерский [101], — ответил Глеб Иванович.

— Как Мещерский?

— Да, Мещерский. У меня был в руках его «Дневник», и я читал его отзывы о духовенстве... Жандармы кое-что уловили—все слова князя Мещерского, а не мои...

— Смальков расхохотался, — рассказывал Успенский, — а все-таки попросил меня дать показания на бумаге... Я принялся писать. Такое, знаете, смешливое настроение охватило меня, что у меня вышел превеселенький фельетончик... Я изобразил, как мы сидим в номере, а к соседней двери прилипло ухо кулака... За ним еще два... Каждое с жадностью голодного сыщика ловит... слова Мещерского. Привел и преступные цитаты... Никогда так живо и легко не писалось!

И можно представить, какой, действительно, богатый материал дала вся эта история остроумию Глеба Ивановича. Вероятно, этот веселенький «фельетончик» хранится в архиве Казанской судебной палаты, откуда чрез год или два Успенский получил уведомление, что

дело его о преступной пропаганде прекращено... по высочайшему повелению.

— При чем же тут высочайшее повеление? — с недоумением спрашивали Успенского.

— А, видите ли, труба вмешалась.

— Какая труба?

— Фагот... Есть у меня приятель инженер Горбунов... играет на трубе.. И наследник престола (впоследствии император Александр III [102]) обожает этот инструмент. Сошлись на музыкальной почве, Горбунов-то и расскажи его высочеству про кн. Мещерского, как он попал в преступники. Таким-то манером, через трубные звуки, и получилось высочайшее повеление...

Глава шестая

НАСТОЯЩИЕ ЗАГОВОРЩИКИ

Зимою 1877 г. благодаря своему близкому знакомству с доктором О. Э. Вейерманом [103], Глеб Иванович узнал, что замышляется устройство побега из Литовского замка одного из видных «лавристов», Е. С. Симановского [104], и захотел непременно «испытать ощущения» в качестве участника этого рискованного предприятия.

— Буду хоть вишни есть! — смеялся он, вспоминая одну из подробностей побега князя П. А. Крапоткина [105].

В то время знаменитый «Варвар» стоял на конюшне Веймара и за оказанную услугу пользовался такой ревнивой любовью доктора, что, когда «лавристы» обратились к нему с просьбой дать лошадь, он наотрез отказался отпустить ее в «чужие руки» и предложил

поручить ему организацию «выезда» к Литовскому замку. Таким образом в дело вмешались две компании. Одна вела сношения с Симановским, а другая по указанию первой должна была явиться в определенный час к тюрьме с лошадью и с нужным штатом людей для внешних операций. Пробовали отговорить Глеба Ивановича от задуманной им затеи, главным образом из боязни подвергать риску любимого писателя, отчасти и в силу сомнения, удастся ли ему выполнить ту или другую функцию, как человеку, не изловчившемуся ни в каких конспирациях. Но он так хотел, просил и так круто ставил вопрос о доверии, что в конце концов согласились предложить ему наименее рискованную операцию: «снять с поста городового».

По условиям тюремной жизни Симановский мог сделать попытку к побегу только в шестом часу утра. Накануне назначенного дня была вечеринка в квартире присяжного поверенного Серебрякова, куда был открыт доступ даже «нелегальным» людям. Этой квартирой и решили воспользоваться как для предварительного собрания всех участников в устройстве побега, так и для превращения одного из танцоров на вечеринке в выездного кучера, когда в 4 часа ночи под'едет к воротам дома О. Э. Веймар на своем «Варваре». Глеба Ивановича очень занимало это совпадение наружного веселья с коварным замыслом.

— Настоящие заговорщики! — говорил он. — Поют, танцуют, а на уме — Литовский замок!.. Вы не очень увлекайтесь танцами,—оберегал он будущего кучера, — вспотеете — а потом на мороз! Долго ли простудиться?..

В 5 часов утра все заговорщики были у Литовского замка. Побег не состоялся, потому что, как оказалось

впоследствии, Симановскому не удалось подпилить тюремную решетку и выскочить из окна в переулок, где стоял «Варвар». Тем не менее, Глеб Иванович выполнил возложенное на него поручение.

— Минута в минуту, как было условлено, — рассказывал он, — я подошел к городовому, вынул папироску и говорю: «вы курите?» — Покуриваю, — говорит, — а вам не спичку ли? — «Да». Он зажег спичку, и мы закурили. «Скажите, как пройти поближе на Садовую?»—спросил я. Городовой стал об'яснять. Я оказался таким непонятливым (ведь так полагается по программе?), что все переспрашивал: «Сначала, говорите, направо? А потом налево?..» Всячески старался, да вот не вышло!

Глава седьмая

САМОЗВАНЕЦ „КОНСТАНТИН“

Всего оригинальнее было выступление Глеба Ивановича в роли «самозванца». Как известно, среди сторонников разных течений революционной мысли начала 70-х годов совершенно особую позицию занимали единичные личности, мечтавшие организовать бунт на почве слепой «веры в царя». Судебная хроника отметила активное участие Я. В. Стефановича [106] и Л. Дейча [107] в Чигиринском деле, где фигурировала «золотая грамота», приглашавшая от имени царя отбирать у панов землю и в случае сопротивления расправляться с ними «своими средствиями».

Задолго до этого дела сторонником еще более замысловатого плана был саратовский уроженец, из дворян, Григорьев. Если Стефанович строил свою попытку

на недомыслии крестьян относительно Александра II [108], связавшего свое имя с уничтожением крепостного права, то Григорьев исходил из предположения, что при крестьянском невежестве достаточно имени мифического «Константина», чтобы организовать бунт.

В саратовских кружках молодежи этот взгляд не встречал сочувствия, и при оценке Григорьева отмечался как курьез в его миросозерцании вообще оригинального человека. Говорили о его редкой способности к пропаганде среди крестьян при уменьи владеть в совершенстве простонародным языком; говорили о большой склонности к литературе, вероятно, находившей приложение в то время в составлении каких-нибудь прокламаций, но никогда не упоминали, чтобы он пытался претворить в дело свою идею. Несомненно, и сам он, вращаясь среди крестьян, не пускал в ход своего «самозванца».

Но вот судьба сталкивает Григорьева с Успенским. Как часто бывало в сношениях этого большого писателя и человека с людьми, искавшими общения с ним, последние до такой степени очаровывались его умом, проницательностью и обаятельными свойствами его характера, что чувствовали потребность не только говорить с ним совершенно откровенно, но и проверять правильность своих взглядов освещением предмета с точки зрения любимого писателя. Неудивительно поэтому, что Григорьев договорился с Глебом Ивановичем до своей теории о «самозванце».

Отсутствие у Глеба Ивановича предвзятых взглядов на явления русской жизни, где самому ему приходилось встречать не мало «загадок» и несообразностей, всегда располагало его к наблюдению, к проверке. Надо еще заметить, что в те годы в его характере сказывался

временами какой-то игривый задор, толкавший его в сторону поступков, казавшихся в другое время немыслимыми в связи с его обычной сдержанностью... И вот в голове Успенского мелькнула мысль: «а если попробовать «Константина»?

Передать рассказ Глеба Ивановича в подробностях, со всеми оттенками его остроумия, немыслимо. Его манера говорить образами, употреблять неожиданные сравнения, полные юмора, не говоря уже о выразительной мимике и жестах, не поддается воспроизведению. Я могу дать лишь жалкий скелет его рассказа, предоставляя тем, кто помнит Успенского, представить, в какую художественную форму отливался, в его личной передаче, этот любопытный эпизод.

Дело происходило зимой, кажется, в Тульской губернии.

— Мы решили попробовать, — рассказывал Глеб Иванович. — Ну-ка, давайте, говорю, пустим в ход Константина!.. Распределили роли. «Константином будете вы, — говорит Григорьев, — а я в роде как его молочный брат — мамкин сын»... Достал он мне тулуп, крытый черным сукном, чтобы его высочество не замерзло в дороге в своем пальтишке на сторожковом меху, а себе — короткий полушубок по колено и треух на голову... Вы видали Григорьева?.. Нет... Нельзя сказать про него: «одно из славных русских лиц»... А в этом костюмчике с своим кривым глазом вышел... истинный мамкин сын!..

Раздобыли лошаденку с дровнями и поехали... Я лежу в санях, закрывшись из скромности воротником, а мамкин сын — на облучке, в валенках...

Лошаденка дрянная, не царского завода... Был воскресный день... Вот приезжаем в первую деревню, мой

лейб-кучер приворотил к кабаку. Я лежу, закрылся поплотнее, а мамкин сын пошел в кабак... Что он там говорил, что делал — не знаю, только выходит из кабака в сопровождении двух—трех мужиков и несет бутылку водки со стаканчиком... Снял шапку. «Отведайте, говорит, ваше высочество!..» Меня так и обдало жаром... Ведь не скоро привыкнешь к своему титулу!.. Я взял стакан, стараясь по возможности скрыть свое царское обличье... А мамкин сын, вижу, подмигивает мужикам; поднял руку и произнес загадочно: «Будет — что будет! Недолго уж ждать!..» Он почтительно взял у меня пустой стакан, ушел в кабак; за ним — мужики... Прескверное, скажу вам, положение быть высочеством и лежать в дровнях в ожидании своего кучера!.. Угостивши верноподданных остатками водки, мамкин сын вернулся наконец; вскочил на облучок, а на крыльце кабака — уже с пяток мужиков... «Помалкивай, ребята! Знай, будет наша!» — крикнул он и с этими словами стегнул лошаденку...

Так мы проехали еще две—три деревни. Григорьев был великолепен! Какая выдержка! Какое уменье плести что-то несуразное, загадочное... Кажется, вот несусветная чепуха, а суеверные умы что-то улавливают, в простых сердцах загорается надежда... Меня охватила даже оторопь, взмолился: «Разжалуйте, говорю, в простые смертные!..» Заночевали где-то уж попросту. На утро двинулись в обратный путь... — Вот посмотрите, что сегодня выйдет! — сказал Григорьев, — я предупредил, что поедем назад.

В этот раз уже не заворачивали к кабакам... И вдруг, представьте, у одной околицы—целая толпа!.. Встречают с хлебом-солью!.. Я закутался поплотнее. Вижу, поснимали шапки, опускаются на колени...

Григорьев остановил лошадь—толпа хлынула к саням. «Рано, православные, — говорит мамкин сын, — рано! Нельзя ему обозначиться!.. Молчок, ребята, молчок!» Я лежу, думаю: унеси, владычица!..

Вдруг: «Ваше высочество, обнадежьте их милостивыми словами!..»

Что тут делать? Пробормотал что-то не своим голосом... Уж и натерпелся я страху! — говорил Глеб Иванович и с большой тоской в голосе прибавил: — А ведь мамкин-то сын прав оказался!..

ПРИМЕЧАНИЯ, УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Книга Александра Ивановича Иванчина-Писарева „Хождение в народ“ состоит из нескольких частей, разновременно печатавшихся в журналах.

Первые четыре части книги печатались в журнале „Заветы“ за 1912—1914 годы и вышли отдельной книгой в издании редакции журнала „Заветы“ (1914 г.) под названием „Из воспоминаний о хождении в народ“ (стр. 244). Книга перепечатана нами полностью.

Часть пятая—„Встречи с Н. К. Михайловским“—была напечатана в январской книге журнала „Заветы“ за 1914 год, стр. 101—107.

Часть шестая—„Из жизни Г. И. Успенского“—печаталась в журнале „Северные Записки“ за 1915 год № 7—8, стр. 28—76 и № 9, стр. 16—38. Эти же воспоминания были перепечатаны в журнале „Красная Новь“ за 1925 год.

Часть седьмая—„Глеб Успенский и революционеры 70-х годов“—впервые напечатана в журнале „Былое“ за 1907 год—октябрь месяц (стр. 44—59) и частично материал использован был Иванчиным-Писаревым в его воспоминаниях „Из жизни Г. И. Успенского“.

Мы эти дополнения из части шестой изъяли и часть седьмую дали в том виде, как она печаталась в журн. „Былое“.

Разбивка и названия частям и главам сделаны редакцией. Книга в рукописи и в верстке просмотрена и прокорректирована вдовой автора — Софьей Абрамовной Иванчиной-Писаревой.

БИОГРАФИЯ А. И. ИВАНЧИНА-ПИСАРЕВА

Иванчин-Писарев родился в 1846 г. в семье богатого помещика Ярославской губернии. Ребенком он рос и развивался в крайне тяжелой семейной обстановке. Добрый и гуманный по природе, не чуждый интересам просвещения отец И.-П. за обращение со своими крепостными крестьянами пользовался у них большой любовью. Наоборот, мать И. П. грубая, надменная и жестокая помещица - крепостница, представляла собою полную противоположность своему мужу. Жестокая порка на конюшне провинившихся рабов была обычным явлением в усадьбе свирепой помещицы. На этой почве между нею и ее мужем, решительно протестовавшим против режима розги, происходили раздоры и острые столкновения, заставлявшие отца И.-П. большую часть времени проводить в Москве.

Никаких симпатий к себе не могла мать И.-П. внушать и своему сыну; да и сама она не питала к нему нежных материнских чувств, заботясь только о помещении мальчика в то или другое учебное заведение. Но вскоре И.-П. избавил ее от этих забот.

Переведенный из дворянского пансиона в Ярославскую гимназию И.-П. был исключен из гимназии за составленную им злую эпиграмму на ее инспектора. В наказание мать решила поместить сына в таксаторские классы, пользовавшиеся незавидной славой. Юный И.-П. категорически отказался подчиниться решению матери и задумал начать самостоятельную жизнь. Он просил мать выдать ему пять рублей и предоставить тройку лошадей, дабы доехать до Костромы, где он рассчитывал поступить в гимназию.

Попав в Кострому, И.-П. достал платную работу у своего квартирохозяина.

И.-П. представился директору местной гимназии, которому имя И.-П. было известно. Директор принял в судьбе юного протестанта теплое участие, включив его в число питомцев гимназии и достав ем платные уроки.

Так начал свою независимую жизнь юный И.-П., продолжавши ее и в годы студенчества.

Студентом Московского университета И.-П. примыкает в начале 70-х годов к кружкам учащейся молодежи, сближается с чайковцами и организует собственный кружок. И.-П. становится горячим сторонником плана систематической пропаганды среди крестьян как путем распространения литературы, так и устного слова. Он организует, по поручению чайковцев, книжный склад для распространения среди народа дешевых книг. Около этого времени И.-П. уезжает в доставшееся ему в наследство от отца сельцо Потапово, Даниловского уезда Ярославской губ., и устраивает там образцовую школу для грамотных крестьянских детей, а также артельную столярную мастерскую для подготовления столяров-пропагандистов.

И.-П. решил поставить в своем имении нелегальную типографию для печатания необходимых народу книжек и брошюр. Однако привезенные с этой целью из Москвы типографские принадлежности не суждено было пустить в ход вследствие доноса местного попа.

На ряду с этими нелегальными попытками И.-П. старался использовать и все легальные пути пропаганды. Благодаря своей популярности среди населения он был избран в гласные уездного земства от крестьян и в качестве такового организовал в 1873 г. для двух уездов учительский с'езд, на котором было положено основание книжному складу при земской управе.

Имение И.-П. мало-по-малу становится сборным пунктом, куда съезжались пропагандисты и где ими обсуждались на совместных совещаниях планы пропагандистской работы.

И.-П., удовлетворенный достигнутыми результатами, верил в возможность близкого революционного взрыва. И, несмотря на этот юношеский оптимизм, И.-П. пользовался среди съезжавшихся к нему в Потапово молодых революционеров авторитетом человека, обладавшего солидным опытом революционной работы среди крестьян.

Однако работа в имении скоро рухнула. Вследствие доноса И.-П. и его друзьям пришлось в 1874 г. бежать из Потапова.

Скрывшись из Потапова, И.-П. перешел на нелегальное положение и в течение года странствовал по России, завязывая непосредственные сношения с рабочими. С этою же целью он служил слесарем железнодорожных мастерских в Саратове, а позднее попал в Скопинский уезд и здесь, поступив кучером к инженеру, сблизился с каменноугольными рабочими. Впоследствии он, в качестве железнодорожного агента, объезжал фабрики и заводы всюду, входя в непосредственный контакт с рабочими. Массовые аресты заставляют И.-П. на время скрыться за границу. Там он провел более года, деятельно сотруд-

3078—27

ничая в зарубежных революционных изданиях „Вперед“ и „Работник“; за границею же им было написано несколько популярных революционных рассказов: „Внушителя словили“, „Раек“ и другие.

В 1876 г. И.-П. нелегальным путем возвратился в Россию и отправился на Урал, где он задался целью объединить местные народно-революционные элементы при помощи „секты неплательщиков“, но вскоре вернулся в Петербург. В Петербурге И.-П. между прочим принимал участие в потерпевших неудачу попытках к освобождению Семяновского, О. М. Любатович, Л. Н. Фигнер, С. Бардиной. Осенью 1876 г. он принял участие в разработке народнической программы. Весной 1877 года отправился вместе с несколькими товарищами в Самару, но здесь они не остались и порешили поселиться в Воронежской губернии, при чем предварительно И.-П. был командирован группою в Петербург, чтобы запастись рекомендациями к местным людям.

В конце зимы И.-П. вместе с В. Н. Фигнер, Ю. Богдановичем, Соловьевым и Морозовым выехали из Питера сначала в Тамбов, а оттуда в Саратов, а затем в Вольск. В Вольске И.-П. удалось не только самому, но помочь и другим товарищам устроиться на местах волостных писарей. И.-П. получил назначение в Булгаковскую волость, оттуда он перевелся в Балтайскую волость. Здесь он развернул широкую деятельность и продержался в должности писаря почти два года, защищая интересы трудового крестьянства. И.-П. пришлось бежать и из Балтайской волости, так как ему грозил арест.

Когда И.-П. нелегально вернулся в Петербург, общество „Земля и Воля“ уже распалась на „Черный передел“ и „Народную Волю“. И.-П. присоединился к партии „Народной Воли“, в рядах которой он возобновил свою революционную деятельность. Состоя членом редакции первых трех номеров партийного органа, И.-П. напечатал в них несколько статей.

В 1881 г. И.-П., по доносу ярославского помещика Полозова, был арестован и выслан на два года в Сибирь. Однако после предательства Дегаева срок ссылки И.-П. был удлинен до 8 лет.

Во время пребывания в Сибири И.-П. занимался главным образом литературной и исследовательской работой по краеведению. И.-П. участвовал в длительной научной экспедиции в глубь Монголии и к истокам р. Абакана вместе с Д. А. Клеменцом. В Тобольске он был одним из главных основателей этнографического музея. В Томске И.-П. был секретарем редакции и деятельным сотрудником газеты „Сибирский Вестник“.

Литературную деятельность в легальных русских журналах и газетах И.-П. начал еще до ссылки и дебютировал на страницах благосветловского „Дела" беллетристическим очерком: „Кулак-общинник". Кроме того, И. П. сотрудничал в передовых журналах: в „Слове", „Русском Богатстве" и в прогрессивной провинциальной печати. По возвращении из Сибири в 1888 г. он поселился в Казани и вступил в редакцию влиятельной и популярной газеты „Волжский Вестник", издававшейся одним из местных радикальных деятелей, выдающимся адвокатом Рейнгардтом.

С переселением в Н. Новгород И.-П. и здесь занялся газетной работой.

В начале 90-х годов, получив разрешение жить в столицах, И.-П. становится ближайшим сотрудником Н. К. Михайловского по организации и изданию журнала „Русское Богатство", ставшего надолго руководящим легальным органом народничества. В 1912—1914 гг. состоял редактором журнала „Заветы" — легального органа партии социалистов-революционеров, закрытого по распоряжению правительства.

В 1905 году И.-П. вместе с группою петербургских литераторов был арестован в тревожные дни, предшествовавшие „Кровавому Воскресению". Умер Александр Иванович Иванчин-Писарев в Петербурге 27 июня 1916 года.

ПРИМЕЧАНИЯ

[1] Кружки самообразования 70-х годов. — Это очень распространенная первичная форма участия студентов, курсисток, семинаристов и гимназистов в революционном движении. Сходились на почве расширения своего научного кругозора. Смрад, царивший в высшей и средней школе, душивший живую мысль учащегося, здесь рассеивался. Молодежь рьяно изучала социальные и естественные науки. В кружках бесконечно лились споры, и молодежь кристаллизовала свое миропонимание. Отсюда люди уходили „в народ", в революцию или совершенно отходили от движения.

[2] „Вперед"—социалистическая газета. Издавалась за границей под редакцией теоретика народничества Лаврова. № 1 журнала „Вперед" вышел в 1873 году в Цюрихе. С 3 января 1875 г. „Вперед" стал выходить газетой (№ 1). В конце 1876 г. в Париже состоялся революционный съезд. После съезда П. Лавров отказался редактировать „Вперед", и газета прекратила свое существование.

Рукописный „Вперед" выпускался Ф. Волховским и С. Чудновским (в сотрудничестве с другими лицами) еженедельно в течение нескольких месяцев во второй половине 1872 г. (согласно свидетельству самого Чудновского в истор. сборн. „Наша Страна", 1907 г. стр. 335—336).

[3] Тихомиров Л. „Сказка о четырех братьях". („Правда и кривда"). — В этой книжке автор, пользуясь литературной формой путешествия четырех братьев — на восток, запад, север и юг, дает в ряде живых зарисовок тяжелое, безвыходное положение народа. Книга переиздавалась несколько раз членами кружка чайковцев, ведшими свою работу среди рабочих и частично в деревне.

[4] Савицкий. — Известный в 60-х годах географ. Учебники его рекомендовались в гимназиях. Издал сборник „Картина вселенной".

[5] Куторга Степ. Сем. (1805—1861). —Известный зоолог и геолог. Замечательный популяризатор и лектор. Особенно большой успех имела его книга „История земной коры“; ценные работы по исследованию Петербургск. губ., Финляндии и Урала помещены в изданиях СПБ Минералогического О-ва.

[6] Саблин, Николай Алексеевич (1850—1881). —Начал революционную деятельность одновременно с Морозовым, вместе с ним уехал за границу и при возвращении арестован. Судился по процессу 193-х, при чем ему зачтено в наказание продолжительное предварительное заключение. После того продолжал революционную деятельность, вступив впоследствии в партию „Народная Воля“; участвовал в ее террористической работе, в том числе в подготовке 1 марта 1881 г. Во время ареста 3 марта 1881 г. застрелился.

[7] Клеменц Дмитрий Александрович (1848—1914). — Выдающийся революционер 70-х годов, впоследствии видный ученый—этнограф. Примкнул к кружку чайковцев в 1871 г. и активно участвовал в пропаганде среди рабочих и в хождении в народ. При разгроме кружка чайковцев в 1874 г. скрылся за границу, но приезжал оттуда неоднократно (один раз с целью освобождения Чернышевского). Примыкая по своим взглядам к бунтарям-бакунистам, Д. А. участвовал в редактировании выходившего в Женеве в 1878 г. журнала „Община“. При возникновении в России подпольного органа „Земля и воля“ он вошел в его редакцию. Будучи арестован в начале 1879 г., Д. А. после двух лет заключения в Петропавловской крепости выслан был административно в Сибирь (в Минусинск). Затем он отошел от политики и целиком ушел в научную работу.

[8] Морозов Николай Александрович (родился в 1854 г.).— В 1874 г. вступил в Москве в пропагандистский кружок чайковцев. Увлеченный общим потоком, „ходил в народ“. Спасаясь от арестов, уехал за границу. В 1875 г. на обратном пути в Россию был арестован. Был в числе 193-х челевек, судившихся за противоправительственную пропаганду. Суд, зачтя предварительное заключение, освободил его от наказания. Вступил в революционное общество „Земля и Воля“. После раскола этого общества Морозов, стоявший на точке зрения террора, примкнул к Народной Воле активнейшим террористом. В 1881 г. его арестовали и приговорили к бессрочной каторге. Просидел больше 20 лет в Шлиссельбурге и освобожден

в октябре 1905 г. Все время занят научной работой, автор многих трудов по естественным наукам и по истории христианства. Живет в Ленинграде.

[9] „Земля и Воля“ — народническая организация, возникла осенью 1876 г. в Петербурге (первоначальное название организации „Северная народническо-революционная группа“). В центральное ядро „З. и В.“ входили: Марк и Ольга Натансон, А. Михайлов. Д. Лизогуб, А. Квятковский, Г. Плеханов, Зунделевич, Аптекман, позже Перовская, Степняк-Кравчинский, Клеменц, Морозов, Тихомиров. Организованная по принципам централизма и конспирации, „З. и В.“ заводила связи среди молодежи, рабочих, крестьян, оказывая содействие стачечному движению (в 78 и 79 гг.) и организуя сеть поселений в деревне. 6/18 декабря 1876 г. „З. и В.“ была организована известная демонстрация на Казанской площади. Сближение „З. и В.“ с рабочими дальше не пошло, и петербургские рабочие создали одновременно с „З. и В.“ свою собственную организацию — „Северно-русский рабочий союз“ (в 1878—1879 гг.; С. Халтурин, В. Обнорский). Организованные среди крестьян для агитации и пропаганды поселения постепенно вытеснялись и ликвидировались полицией и к весне 1879 г. деревенская работа землевольцев, не приведя к всеобщему крестьянскому восстанию, оказалась сведенной к нулю. Одновременно с „З. и В.“ на юге действовали родственные ей группы (Дебагорий-Мокриевич, В. Засулич, Стефанович, Дейч). Последние два пытались организовать закончившееся неудачей восстание крестьян в Чигиринском уезде, пустив в ход подложный манифест, составленный от имени царя. „З. и В.“ первоначально отрицала необходимость борьбы за политическую свободу, считая возможным непосредственный переход к социализму. Позднее под влиянием неудач взгляды „З. и В.“ начали меняться, и идея политической свободы („конституции“) получила некоторое признание. В качестве метода борьбы за свободу был выдвинут террор. „З. и В.“ и раньше прибегала в оборонительных целях к террористическим актам против отдельных представителей власти. Теперь же после неуспеха социалистической агитации среди крестьян в рядах „З. и В.“ начал преобладать тот взгляд, что политический террор есть „осуществление революции в настоящем, самое страшное оружие для наших врагов, одно из главных средств борьбы с деспотизмом“. Подобное заявление, сделанное на страницах официального „Листка Земли и Воли“ (№ 2 и 3) означало решительный поворот в тактике землевольцев.

Состоявшиеся в июне 1879 г. съезды в Липецке и Воронеже санкционировали перемену методов борьбы „З. и В.“, в связи с чем немного позже последовал раскол „З. и В.“. Сторонники новой тактики (с Желябовым во главе) создали партию „Народной Воли“, те же землевольцы, которые хотели сохранить прежнюю землевольческую программу и тактику, составили группу „Черный Передел“ (Плеханов, Стефанович, Дейч, Аптекман, Засулич, Аксельрод). „Земля и Воля“ издавала: „Начало“, „Летучий Листок“, „Землю и Волю“ (5 номеров с октября 1878 по апрель 1879 г.), „Листок Земли и Воли“ (6 номеров). „Черный Передел“, просуществовавший несколько месяцев (прекратил свое существование в 1881 г.), не имел практического значения, явившись переходной ступенью для части землевольцев (Плеханов, Аксельрод, Засулич) от народничества к марксизму и социал-демократии. Группа выпустила 4 номера „Черного Передела“ (Ленин. т. IV, стр. 619).

[10] Богданович Ю. Н. (1850—1888).—Член Исполнительного Комитета Народной Воли. „Ходил в народ“, ведя пропаганду среди крестьян Саратовской губернии. Был, под фамилией Кобозев, хозяином сырной лавки, откуда под Малую Садовую в Петербурге велся подкоп к месту предполагаемого проезда царя с целью взорвать Александра II. После 1 марта скрылся и деятельно работал в Красном Кресте Народной Воли и в организации побегов из Сибири политических. Арестован в 1882 г. и приговорен по делу об убийстве царя и другим террористическим актам к смертной казни, замененной бессрочной каторгой. Умер в Шлиссельбурге от чахотки.

[11] Соловьев Александр Константинович (1846—1879).—В 70-х годах начал свою революционную деятельность агитацией среди крестьян. Попеременно был кузнецом, учителем, волостным писарем.

2 апреля 1879 г. покушался на Александра II самолично, но землевольцы знали о подготовке.

За покушение на жизнь Александра II Соловьев казнен 28 мая 1879 г.

[12] Фигнер В. Н. (родилась в 1852 г.). — Из дворян. Училась в Швейцарии в университете. Там вступила в один из русских социалистических кружков. В 1875 г. уехала в Россию для работы в народе. Видя невозможность революционной работы в условиях царизма и неподготовленность крестьянства к идеям социализма и революции

Фигнер после раскола „Земли и Воли“ вступила в „Народную Волю“ Принимала участие во всех террористических предприятиях партии, а также в ее пропагандистской работе. Когда в 1882 г. вожди „Народной Воли“ были арестованы, вся тяжесть работы легла на Фигнер, избегшую ареста. Выданная Дегаевым, арестована в Харькове 10 февраля 1883 г. В 1884 г. приговорена к смертной казни, замененной 20-летней каторгой. Сидела в Шлиссельбурге до 1904 г. и была освобождена. В настоящее время живет в Москве и занята литературной работой. Автор ряда чрезвычайно ценных и ярко написанных книг, посвященных ее прежней революционной деятельности (в особенности „Запечатленный Труд“).

[13] Фигнер Евг. Ник. (по мужу Сажина. Родилась в 1859 г.) — В 70-х годах занималась революционной пропагандой в Самарской и Саратовской губ. Скрылась от полиции, уехала в Петербург и после отъезда сестры, Веры Ник. Фигнер, поселилась на конспиративной квартире А. Квятковского, где и была арестована вместе с ним в 1879 г. В квартире найдены были заряженные мины; приговором военного суда по процессу 16 Евгения Фигнер была выслана в отдаленнейшие места Сибири (1886 г.), где прожила много лет. Там же она встретилась с М. П. Сажиным. В настоящее время живет в Москве.

[14] Аксаков Иван Серг. (1823 — 1886). — Из известной литературной семьи Аксаковых, ярый славянофил, то-есть представитель литературного течения в русском обществе, отстаивавшего Россию от влияния „гнилого Запада“, откуда России будто уже нечего взять. Отсюда постоянная и горячая литературная борьба с „западниками“, представителями которых являлись Герцен, Грановский, Станкевич. После смерти своего брата Константина, известного славянофила, Иван Аксаков занялся широкой популяризацией его идей. Несмотря однако на свой национализм, Иван Аксаков не чужд был и „либеральных“ идей, и в пору особенно жестких преследований евреев написал статью в их защиту.

В 1880 г. он начал издавать газету „Русь“ с более консервативным характером, нежели его последние издания.

[15] Пугачевская расправа.—Пугачев Е. И. (1744—1775)— донской казак, вождь крестьянского восстания (1773—1775), вызванного жестокой эксплоатацией и закрепощением со стороны поме-

щиков и торгового капитала широких казацко-крестьянских и уральских рабочих масс.

„Целью пугачевского движения было, коротко говоря, стряхнуть барщину, как барщину сельско-хозяйственную в помещичьем имении, так и барщину индустриальную на заводе“ (Покровский).

Во время пугачевского восстания казаки, овладевая непокорными крепостями и городами, вешали начальствующих лиц и офицеров с их женами, а солдат обращали в казаков, обстригая им волосы в кружок.

Благодаря ряду социальных противоречий восстание потерпело поражение.

Пугачев был казнен в Москве на Болоте.

[16] Обухова—революционерка. Вернулась в Россию в 1877 г., жила долгое время в Москве.

[17] Война с Турцией (1877—78 г.).—Это была десятая война, которую вела Россия с Турцией. Закончилась она С.-Стефанским миром (в 1878 г.), по которому Турция признала независимость Румынии и Сербии; было образовано автономное княжество Болгария. Война была упорная и кровопролитная.

[18] Присутствие по крестьянским делам.—Во главе его стоял предводитель дворянства. Присутствие рассматривало и разрешало земельные споры крестьян с помещиком и между самими крестьянами. Рассматривало также и семейные крестьянские дела.

[19] „Отечественные Записки“.—Ежемесячный журнал, выходивший с 1868 г. под редакцией П. А. Некрасова, М. Е. Салтыкова и Г. З. Елисеева. По смерти Некрасова в 1877 г. его заменил Н. К. Михайловский. В 1884 г. журнал, бывший выразителем передовой народнической мысли, был ликвидирован правительством. Закрытие журнала было остро воспринято передовой интеллигенцией и особенно тогдашним студенчеством. Последнее выпустило воззвание протеста. Щедрину был послан адрес от студентов, подписи собирались по всей России.

[20] Салтыков Михаил Евграфович (1826 — 1889). — Знаменитый русский писатель-сатирик, писавший под псевдонимом Щедрин. Зло высмеивал чиновников, клеймил позором дворянский быт, обличитель „устоев“ русской жизни. Лучшие его произведения: „Пошехонская

старина", „Господа Головлевы", „Помпадуры и помпадурши" и друг. Редактор радикального журнала „Отечественные Записки", закрытого правительством в 1884 г.

[21] Успенский Глеб Иванович. (1843 — 1902). — Выдающийся писатель-народник. В начале своей литературной деятельности прославился своими повестями и очерками из жизни мастеровых и мелкого, забитого петербургского чиновничества. С половины 60-х гг. Успенский печатается в „Отечественных Записках". В конце 70-х гг. Успенский меняет темы своих писаний. „Мужик" становится почти исключительным предметом его дум и центром—темой его дальнейшей литературной деятельности. Глеб Успенский соединил в себе талант художника и публициста. 80-е и 90-е годы—годы общественного упадка—тяжелым бременем легли на чуткую душу писателя. Будучи с детства предрасположен к душевному недугу, он заболел психическим расстройством, десять лет провел в больнице для душевно-больных, где и умер в 1902 г.

[22] Доктор Витевский — земский врач.

[23] Чупурнова Вера Петровна. — Жила в Самаре в 70-х гг. Имела большие знакомства и связи среди ссыльных, которых в те годы было много в Самаре. Часто оказывала им значительные услуги.

[24] Процесс 193-х.—Происходил в 1877 г. и продолжался три месяца. Большая часть из судившихся лиц была заарестована в 1874—76 годах и раньше. Судили всех за „революционную пропаганду в империи". Обвинение сводилось к тому, что каждый из 193-х подсудимых или вступал в „преступные" беседы с крестьянами, давал им книги для чтения или агитировал среди молодежи, чтобы она шла в „народ". Революционеры надеялись, что процесс оживит революционное движение страны. Действительно, процесс привлек внимание общества, особенно речью Мышкина, обрисовавшего издевательство над заключенными и политический произвол, господствовавший в стране. За эту речь Мышкин был сослан на каторгу. Осуждено было 100 человек на разные сроки каторги, ссылки на поселение, ссылки в Сибирь, в отдаленные губернии и т. п.

[25] Выстрел Засулич в Трепова.—Ряд революционеров решил убить петербургского генерал-губернатора Трепова за истяза-

ние Боголюбова. Происходивший процесс 193-х задержал исполнение. 24 января 1878 г. Вера Засулич стреляла в Трепова по своей частной инициативе. Суд присяжных ее оправдал. Администрация хотела арестовать ее немедленно, но ее успели отправить за границу.

[26] Вильгельм Телль. — Швейцарский народный герой, знаменитый стрелок, по преданию жил в кантоне (провинции) Ури в XIV веке. По всей вероятности рассказы о подвигах В. Телля — легенды, ибо в исторических источниках нигде о нем не упоминается.

[27] Михайлов Александр Дмитриевич (1855 — 1884 г.). — Крупный революционер 70-х годов, один из основателей „Земли и Воли". Работал среди раскольников, дабы вовлечь их в революцию. После разгрома землевольцев отказался от агитации „в народе" и защищал террор. Много работал как по организации террора, так и среди рабочих. Один из руководителей и членов Исполнительного Комитета Народной Воли. Арестован 28 ноября 1880 г. В 1882 г. присужден к смертной казни, замененной бессрочной каторгой, которую отбывал в Алексеевском равелине Петропавловской крепости. Умер 18 марта 1884 г.

[28] Гартман Лев Николаевич (1850—1908). — Землеволец, затем народоволец. После покушения 19 ноября 1879 г. эмигрировал во Францию. В Париже был арестован 23 января 1880 г., была поднята энергичная кампания и его не выдали России, освободили и выслали за пределы Франции.

[29] Шарлотта Кордэ (1768 — 1793). — Убийца „друга народа" Марата, знаменитого деятеля Великой Французской Революции. Шарлотта Кордэ происходила из старинной дворянской семьи. Террористы и их деятельность во время Революции внушали ей безумный ужас. Она отправилась в Париж с целью убить Марата. Под предлогом выдать ему важных контр-революционеров Шарлотта Кордэ ворвалась к Марату, когда последний сидел в ванне и быстрым ударом ножа нанесла ему смертельную рану в сердце. За это преступление она была гильотинирована.

[30] Положение о крестьянах в издании 1876 г. — Сборник распоряжений правительства, изданных после освобождения крестьян от крепостной зависимости. В течение ряда лет — с 1861 г.

(момент освобождения) они к 1876 г. составили довольно большой сборник законов, постепенно урезывавших первоначально данную „свободу“ в пользу помещика, в особенности в правах крестьян на приобретение земли.

Устав благоустройства в селениях государственных крестьян.—Особые правила для этих крестьян, всегда живших гораздо лучше помещичьих и пользовавшихся льготами, которых помещичьи крестьяне не имели. При освобождении они получили большие наделы и средства для устройства своего хозяйства. Устав благоустройства также ограждал их в некоторой степени от эксплоатации помещиков и кулаков.

[31] Лешерн фон-Герцфельд, Мария Павловна, рожд. Мейнгардт, сестра А. П. Корба-Прибылевой.—Активного участия в революционных выступлениях не принимала, хотя, при случае оказывала ценные услуги революционерам. Принимала участие в устройстве побега П. А. Крапоткина из Николаевского Военного госпиталя. Арестована никогда не была.

[32] Лорис-Меликов М. Т., граф (1825—1888). — Участник завоевания Кавказа и русско-турецкой войны 1877—78 г. Временно губернаторствовал над 6 губерниями с центром в Харькове. Здесь-то он и отличился своим рвением, искоренением крамолы и был в феврале 1880 г. назначен начальником Верховной Распорядительной Комиссии, учрежденной с целью борьбы с революционным движением (12/II—1880 г.) Получил чрезвычайно широкие полномочия. После ликвидации комиссии 6 марта 1880 г. был назначен министром внутренних дел. Во время своего управления заигрывал с либералами, давая им небольшие уступки, желая этим отвлечь растущие в их среде симпатии к революционному движению. Составленная Лорис-Меликовым „конституция“ явилась одним из продуктов творчества канцелярии. Эта „конституция“ сводила все к организации совещательных комиссий из представителей мест при центральных органах. Но и эта, с позволения сказать, „конституция“, умилившая многих либералов и выродившихся народников, считалась в правительственных сферах „крамольной“, и Лорис был вынужден после 1 марта 1881 г. уйти в отставку.

[33] Скобелев М. Д. (1843—1882).—Генерал адъютант, выдвинулся участием в подавлении польского восстания 1863 г. После окон-

чания академии генерального штаба он был послан в войска Туркестанского военного округа. В 1875—76 гг. он принимал участие в завоевании Хивы и Кокандского ханства. В марте 1877 г. был послан на турецкий фронт, где скоро приобрел известность как талантливый полководец. По окончании турецкой войны С. занялся муштровкой войска. В бытность его за границей в 1882 г. он выступил с резкой речью, направленной против Германии и Австрии якобы в защиту угнетенных славян. На деле речь шла о распространении влияния России на Балканы и Турцию. В виду поднявшегося шума в заграничной прессе Александр III вызвал С. в Россию еще до окончания им отпуска, а через несколько месяцев С. скоропостижно умер.

[34] Циркуляр министра внутренних дел Макова был издан в опровержение распространявшихсм среди крестьян в последние годы царствования Александра II слухов о том, что земля будет отнята у помещиков и отдана крестьянам. Маков предостерегал крестьян, чтобы они не доверялись „злонамеренным“ людям, и приглашал даже все русское общество бороться вместе с правительством против этих „агитаторов“.

[35] Ширяев Степан Григорьевич (1856—1881).—Член Исполнительного Комитета Народной Воли. В партии был одним из лучших техников. Участник взрыва 19 ноября 1879 г. Арестован был 4 декабря 1879 г. в Петербурге. Осужден в 1880 г. по „процессу 16“. Смертная казнь была заменена бессрочными каторжными работами. Умер в Алексеевском равелине Петропавловской крепости 18 августа 1881 г.

[36] 2 апреля 1879 г. покушение Соловьева на Александра II.

[37] Михайловский Николай Константинович (1842—1904).—Критик, публицист и социолог, один из руководителей журнала „Отечественные Записки“. Виднейший теоретик народничества 80-х и 90-х гг., давший им собственную теорию „исторического процесса“; по этой теории за „критически мыслящими личностями“ признавалась основная роль в направлении исторического процесса. Имел связь с партией „Народная Воля“, участвуя иногда в ее изданиях. В 90-х гг., редактируя „Русское Богатство“, вел ожесточенную, хотя и неуспешную борьбу с марксистской идеологией.

[38] Книжки Иванчина-Писарева „Смутное время на Руси“ и „Внушителя словили“ говорят в беллетристической форме об эпохе пропаганды в народе.

[39] „Коробейники“ Некрасова, стихотворное произведение из народной жизни.

[40] Цебрикова, Марья Конст. (1832 — 1917). — Писательница. В 1890 г., будучи уже 58 лет, она за написанное и распространяемое ею „Письмо к Александру III“, либерального характера, была выслана в Вологодскую губ. Ее рассказ „Дедушка Егор“, первоначально напечатанный в „Неделе“ 1870 г. № 30—31, был одной из самых ходких книжек, распространявшихся пропагандистами 70-х гг. в народе.

[41] Голицынский А. „Очерки фабричной жизни“. — Впервые напечатаны в 1861 г., переизданы в 1874 г. Пропагандисты 70-х годов широко пользовались этой книгой.

[42] Беседа Иванчина с Михайловским лишний раз доказывает, что перед нами не социалисты, а простые конституционалисты. Люди домогались „конституции“, во имя ее, хотя бы и куцой, они пытались итти на разные сделки с правительством, как, например, договаривание с „Священной Дружиной“ (монархической организацией, ставившей своей целью защиту особы царя на борьбу с террористами) о прекращении террора на время коронации Александра III. Дегаев и Григорий Гольденберг (предавшие Народную Волю) также мотивировали, что во имя конституции шли на сговор с полицейскими агентами и надеялись с помощью либеральствующих чиновников добиться конституционных уступок. Так понемногу вырождалась партия революционеров в партию либералов, являющихся защитниками вновь нарождающейся буржуазии, хотя последняя весьма трусливо повторяла за народниками слово „конституция“, а кроме денежной помощи своему передовому отряду — народникам — она ничего не делала.

[43] „Народная Воля“. — Партийный журнал, издававшийся в России с 1879 по 1885 г. с большими трудностями. За границей издавался с 1883 г. „Вестник Народной Воли“. Вышло всего 5 выпусков до 1886 г. Редактировали журнал Тихомиров и Лавров. Оба журнала отображали взгляды Народной Воли.

Сама партия „Народная Воля" выделилась в 1879 г. из организации „Земля и Воля", когда последняя раскололась на „Черный Передел и „Народную Волю". „Народная Воля" была наиболее революционной организацией левой части русской интеллигенции и ставила своей целью низвержение самодержавия путем восстания и заговора. Невозможность восстания и отсутствие веры, что сам народ поднимется, толкнула народовольцев на террористическую борьбу, наиболее блестящим актом которой было убийство Александра II 1 марта 1881 г. Во главе централизованной партии стоял законспирированный Исполнительный Комитет, руководивший террористической работой и пропагандой. Теоретически партия отображала общую нечеткость классовых отношений в стране. Народовольцы не отказывались от народнического (мелкобуржуазного) социализма, но на первый план у них выступила борьба за политическую свободу, при чем многие приближалась в этом отношении к либералам. „Н. В." отказалась на деле от аполитичного анархизма предшествующих ей революционных организаций, но, не умея решить вопрос о сочетании социализма и политической борьбы, фактически отодвинула на задний план социалистические задачи. Будучи связана со студенчеством и одиночками-рабочими, партия не имела никаких корней в массах. Рабочие кружки организовывались и жили помимо „Народной Воли", они только использовали народовольцев, как организаторов, толкая на изучение положения рабочих Запада и России, а также на углубление пропаганды путем знакомства с научным социализмом. После 1 марта, когда убийство Александра II не вызвало никаких потрясений в народе, правительство увидело, что за партией идут одиночки, которых оно жестоко преследовало и истребляло. Отдельные попытки восстановить „Народную Волю", как и попытки организовать „Молодую Народную Волю", устремлявшую почти все свое внимание на рабочих, не увенчались успехом. Неравная борьба Исполнительного Комитета с самодержавием закончилась полным разгромом „Народной Воли", которая после 1885 г. не возобновлялась.

В 1886 г. возникла новая народовольческая группа (А. Ульянов, брат Ленина, и другие), которая стремилась поднять старое знамя „Народной Воли". Эта группа, хотя и переняла террористические традиции „Н. В.", но приближалась по своим взглядам к социал-демократии. Неудачная попытка покушения на Александра III дала в руки правительства нити организации, и оно казнило всех активных членов. Тактика народовольцев, тактика террора, возбуждение революционного движения ничего, кроме геройства одиночек и разгрома

революционного движения, не дала, она была осуждена как рабочим классом, так и ходом исторических событий.

[44] Тихомиров Лев Александрович (1852—1923).—В 1871—72 гг. активный член московского кружка чайковцев. В 1873 г. деятельно участвует в петербургском центральном кружке и ведет пропаганду среди рабочих.

Привлечен был по делу 193-х, но отделался легким наказанием. С конца 1878 г. участвует в партии „Земля и Воля". Входит в редакцию ее органа „Земля и Воля". Сторонник политической борьбы и террористических методов, Тихомиров на Липецком съезде играет роль одного из застрельщиков в расколе „Земли и Воли". Член Исполнительного Комитета „Народной Воли" со дня его основания, играет руководящую роль в организации. Не принимая непосредственного участия в террористической борьбе, он уцелел при разгроме „Народной Воли", последовавшем вслед за удачным покушением на Александра II (1 марта 1881 г.) Вместе с В. Фигнер, М. Н. Ошаниной и др. он делает попытку восстановить организацию и продолжает редактировать орган ее „Народную Волю". Эмигрировав в 1883 г. за границу, он создает там при участии П. Л. Лаврова „Вестник Народной Воли". Разочаровавшись в террористических методах борьбы, он под влиянием глубокого кризиса и разложения народовольчества, отходит от революции и из вождя „Народной Воли" превращается в ярого защитника самодержавия. В 1888 г. опубликовал брошюру „Почему я перестал быт революционером" и подал верноподданническое прошение Александру III. Вернулся в Россию и сотрудничал, а затем и редактировал реакционные „Московские Ведомости". На страницах этой газеты он усиленно защищал самодержавие и православие. И за свое усердие награжден был царем золотой чернильницей. Умер Тихомиров уже после Октябрьской революции, в 1923 году (в Москве).

[45] Кривенко Сергей Николаевич (1847 — 1906). — Публицист народнического направления, сотрудник „Отечественных Записок", „Русского Богатства" и „Сына Отечества". Он один из первых выступил против русских марксистов. Ленин В. И. в своей книге „Что такое друзья народа" резко критиковал его писания. С 1894 г редактировал журнал „Новое слово" право-народнического направления, который с 1897 г. перешел в руки „легальных марксистов".

[46] Скабичевский Александр Михайлович (1838--1910).—Историк литературы, критик. („Очерки по истории русской цензуры", „Сорок лет русской критики", „История новейшей русской литературы"), убежденный защитник и популяризатор традиций, завещанных Белинским. Скабичевский редактировал для Ф. Ф. Павленкова изд. Пушкина, Лермонтова и посмертное издание Некрасова.

[47] Саблин Николай Алексеевич (см. прим. 6).

[48] „Северный Вестник".—Ежемесячный журнал, выходивший с 1885 до 1897 г. До 1892 г. в нем участвовали писатели-народники: Н. К. Михайловский, Г. И. Успенский, С. Н. Южаков, В. Г. Короленко, С. Н. Кривенко и др. С 1892 г. стал выразителем мнений идеалистов и эстетов—Волынского, Минского, Мережковского и др.

[49] Рабочая газета „Народной Воли".—Издавалась партией „Народной Воли" с 1880—1881 г. Всего издано три номера.

[50] Минин (Кузьма Минич Захарьев Сухоруков).—Нижегородский гражданин, продавец мяса и рыбы, земский староста и начальник судных дел у посадских (торговых людей). Известен в истории как организатор дворянско-купеческого ополчения, очистившего Москву от поляков и покончившего со смутой. Минин являлся представителем торгового класса, субсидировавшего войну против поляков. На другой день после венчания на царство Михаил Федорович (1613 г.) пожаловал Минину звание думного дворянина и вотчину. Умер Минин в 1616 году.

Пожарский Дмитр. Мих., князь (род. в 1578 г.). — В 1612 г. принял начальство над нижегородским ополчением, деятельно участвовал над освобождением Москвы от поляков. Мих. Федор. был пожалован в бояре, впоследствии был воеводой, управлял приказами.

[51] „Дело". — Ежемесячный журнал, издававшийся с 1866 г. по 1888 г. Радикальный орган, продолжавший до известной степени закрытый правительством в 1866 г. журнал „Русское Слово".

[52] Кибальчич Ник. Ив. (1854—1881).—Сын священника, активный участник народнического движения 70-х годов прошлого столетия. Впервые был арестован в 1875 г., обвинен был в распространении революционной литературы. Три года провел в предварительном

заключении и в 1878 г. был приговорен к тюремному заключению на месяц. Впоследствии, с образованием „Народной Воли" был ее деятельным членом и участвовал в террористических предприятиях. Один из лучших техников партии. Под его руководством приготовлены бомбы, которыми был убит Александр II (1 марта 1881 г.) Кибальчич был арестован 17 марта 1881 г. и повешен в числе пяти участников убийства царя.

[53] „Русское Богатство".—Ежемесячный журнал, существовавший с 1876 г. и перешедший в начале 90-х годов в руки народников и ставший главным органом их борьбы против марксизма. В 1892 — 1895 гг. журнал редактировался С. Н. Кривенко и В. П. Воронцовым („В. В."). В 1895—1904 гг. во главе журнала стоял Н. К. Михайловский. Ближайшими сотрудниками журнала были В. Г. Короленко, А. Г. Горнфельд, Дионео, А. В. Пешехонов, Л. Э. Шишко (Батин), М. Рейснер (Реус), С. А. Венгеров, Н. А. Рубакин, В. М. Чернов, Н. И. Кареев и др. В 1906 г. журнал выходил, вследствие приостановки его правительством, под названием „Современные Записки" и „Современность", редактор В. А. Мякотин. В 1914 г. — „Русские Записки". Издание „Р. Б." прекратилось в 1918 г.

Журнал группировал вокруг себя радикально-народническую интеллигенцию, организовавшуюся в эпоху революции 1905 г. в народно-социалистическую (Н. С.) партию, отчасти же вошедшую в партию эс-эров. В „Аграрном вопросе" Ленин подверг критике следующие статьи В. М. Чернова, напечатанные в „Р. Б." за 1900 г.: „Типы капиталистической и аграрной эволюции" (№№ 4, 7, 8, 10) и „К вопросу о капиталистической аграрной эволюции" (№ 11).

[54] „Слово".—Литературно-политический и научный ежемесячный журнал, изд. в Спб. с 1878 по 1881 г. включ. Закрыт правительством. В нем участвовали (под псевдонимами) некоторые эмигранты а также революционеры, действовавшие в России.

[55] Желябов А. И. (1851—1881).—Сын крепостного крестьянина. Один из выдающихся членов Исполнительного Комитета партии Народной Воли. В 1872 г. за участие в студенческих беспорядках исключен из Одесского университета. С 1873 г. работал в кружке Волховского, примыкавшего к чайковцам. С 1874 по 1875 г. под арестом. В 1878 г. привлечен к суду по процессу 193-х и оправдан, но подвергся административной ссылке, откуда бежал в Одессу Много работал в кружках рабочих. В 1879 г. вошел в Народную Волю

Организовал покушение на царя (взрыв поезда 18 ноября 1879 г.) под Александровском (Запорожье), но не удачно. В дальнейшем деятельно участвовал во всех террористических актах Народной Воли. Организатор убийства царя 1 марта 1881 года. Арестован 27 февраля 1881 года. Привлечен по делу 1 марта по его настоянию, несмотря на отсутствие улик, и повешен 3 апреля 1881 года.

[56] Ланганс Мартин Рудольфович (1853—1883).—Бывший студент Технологического института. Принимал участие в революционной пропаганде на юге. По делу 193-х был оправдан, просидев 3 года в тюрьме. В 1879 г. арестован в Киеве и, как прусский подданный, выслан за границу. В следующем году вернулся в Россию и вступил в „Народную Волю". Принимал участие в подготовке покушений на Александра II. Арестован в Киеве в 1881 г. В 1882 г. по процессу 20 приговорен к бессрочным каторжным работам. Умер от чахотки в Петропавловской крепости.

[57] Гольцов Виктор Александрович (1850 — 1906).—Известный либеральный общественный деятель и публицист, редактор журнала „Русская Мысль" и блжайший сотрудник газеты „Русские Ведомости."

[58] Победоносцев Конст. Петр. (1827—1907).—Обер-прокурор высшего церковного учреждения России—Синода—и член Государственного Совета. Самый последовательный представитель дворянской реакции, вдохновлявший Александра III, а впоследствии и Николая II в их внутренней политике. Подавлял как в школах, так и в печати вольный дух. Черносотенство и поповщина возобладали над всем. Сошел со сцены после революции 1905 г.

[59] Земский собор.—Либералы 80-х гг., мечтавшие о созвании царским правительством собрания народных представителей, хотя бы только законосовещательного, а не законодательного, называли иногда такое собрание „Земским собором".

[60] Александр Иванович, то-есть Иванчин-Писарев.

[61] Виктор Александрович, то-есть Гольцов.

[62] Кравчинский С. М. (Степняк) (1850 — 1895). — Литератор. Автор пропагандистских сказок и революционных романов.

Выдающийся участник революционного движения 70-х гг., примкнул к кружку чайковцев (в 1872 г.), ведя пропаганду среди рабочих, а в 1873 г.—пионер „хождения в народ". В 1874 г. Кравчинский бежал за границу и там участвовал в герцоговинском восстании против турок (в 1875 г.) и в попытке группы анархистов поднять восстание бедноты в провинции Бенненто в Италии (в 1877 г.) В период между этими восстаниями Кравчинский приезжал в Россию, принимал участие в побегах революционеров из тюрем. В 1878 г. Кравчинский участвует в создании нового подпольного издания „Земли и Воли" — органа вновь возникшей организации того же имени. В сентябре 1878 г. Кравчинский по поручению организации ударом кинжала убивает среди бела дня на улице шефа корпуса жандармов Мезенцева. В 1895 г. трагически умер в Лондоне, случайно попав под поезд.

[63] Гольдсмит Исидор Альбертович. — Редактор журнала „Знание" (жил в Париже, впоследствии ренегат).

[64] Анна Михайловна Эпштейн (жена К. Менца).—В начале 70-х годов заведывала перевозкой заграничных изданий в Россию. Умерла в 1895 г. в Вене.

[65] Шульце-Делич Ф. (1808 — 1883). — Идеолог немецкой мелкой буржуазии, пропагандировал за необходимость кооперативных товариществ, которые способны обеспечить экономическую самостоятельность ремесленников, мелких производителей рабочих.

[66] Елисеев Григорий Захарович (1821—1891).—Один из основателей русской публицистики. Участник в ряде журналов и газет и пайщик „Отечественных записок".

[67] В 1870 г. пруссаки разбили на-голову Францию, в результате чего император Наполеон III был низложен и провозглашена республика, возглавляемая временным правительством. В дальнейшем развитии классовой борьбы буржуазное временное правительство удалилось в Версаль, а в Париже в марте 1871 г. пролетариат и мелкобуржуазная демократия революционным путем установили правительство Коммуны. В мае 1871 г. Парижская Коммуна была разгромлена версальцами.

[68] 1861 год считается годом освобождения крестьян от крепостного права.

[69] Гейне Генрих (1797 — 1856). — Крупный немецкий поэт и писатель. Прусское правительство преследовало его, и он большую часть своей жизни провел в изгнании (Париж). Боевая натура Гейне была причиною того, что его поэтическое творчество всегда соединялось с деятельностью политического писателя. В 1844 году, когда Маркс прибыл в Париж, Гейне сблизился с ним и был с ним в переписке. Входил в состав сотрудников организованного Марксом в Париже „Немецко-французского Ежегодника".

[70] Мосолов Юрий Михайлович (род. около 1839 г., умер после 1889) и Ник. Шатилов.—В 1850 г. организовали тайное студенческое общество. Позже были членами общества „Земля и Воля" 60-х гг. В 1863 г. арестованы и в 1866 г. судом сената приговорены к ссылке на поселение в Сибирь. Вернувшись из ссылки, служили по железным дорогам. Малинин — вероятно имеется в виду Орест Вас. М., который судился в 1866 г. по каракозовскому, а не нечаевскому делу.

[71] Лопатин Герман Александрович (1845—1918).—Видный революционер. В 1866 г. в связи с делом Каракозова, стрелявшего в Александра II, был арестован, но через несколько месяцев освобожден за отсутствием улик. В 1867 г. уезжает за границу, вступает в ряды волонтеров Гарибальди, боровшегося за освобождение Италии. В 1868 г. вернулся в Россию, арестовывается по делу „Рублевского общества", распространявшего грамотность в народе. Его посылают в Ставрополь под надзор родителей. Здесь он работает чиновником и задумывает побег в Америку. Побег раскрыт и его подвергают аресту. Бежит. Предпринял освобождение из ссылки знаменитого народнического теоретика — Лаврова. Уезжает с ним за границу. В конце 1870 г. возвращается в Россию. Пытался освободить из ссылки другого теоретика народничества Чернышевского. Арестован. В 1873 году бежал за границу. Сблизился с народовольцами. В том же году вернулся в Петербург и энергично взялся восстанавливать организацию и возобновлять деятельность Народной Воли. Лопатин предпринял ряд поездок в глубь страны, сколачивал актив партии, но был арестован. При нем найдены имена всех лиц, привлеченных им к работе. Полиция этим воспользовалась и разгромила остатки народовольческих сил, прихватив заодно и членов других организаций. Лопатин был знаком с Марксом и Энгельсом. Он один из переводчиков первого тома „Капитала" Маркса, вышедшего в России в 1872 году. Арестованного в октябре 1884 г. в Петербурге Лопатина судили в 1887 г. и приго-

ворили к смертной казни, которая была заменена бессрочной каторгой. Отсидел он 18 лет заключения в шлиссельбургском „каменном гробу" среди „заживо погребенных" русских революционеров. После 1905 г. частично занимался литературной работой. Пытался заняться активной работой после 1917 г., но болезнь и старость подкосили его.

[72] Ольхин Александр Александрович (1839—1897).—Мировой судья, присяжный поверенный, поэт. Написал стихотворение „На смерть Мезенцева", „У гроба". Сотрудник газет „Вперед" и „Народная Воля". Как присяжный поверенный, выступал по политическим делам, по „Казанской демонстрации" 1876 года и по процессу 50. Был арестован в 1879 г. и выслан в Вологодскую губернию. Привлекался по делу Мирского (покушение на Дрентельна), был оправдан, но снова выслан в Вологодскую губ. и затем в 1880 г. в Пермскую губ. Впоследствии жил в Нижнем, а с 1895 г. в Петербурге.

[73] Решетников Ф. М. (1841—1871).—Писатель-народник; наиболее известна его повесть „Подлиповцы", изображающая жизнь крестьян-пермяков. Радикальная интеллигенция считала эту вещь как резкий протест против нечеловеческих условий существования крестьянства в царской России.

[74] Далее Иванчин рассказывает об обыске у Г. Успенского в Вержболове, на границе. Рассказ этот повторен в последней части, а посему вычеркнут редакцией.

[75] Благовещенский Ник. Ал-др. (1837—1889).—Беллетрист-этнограф. С 1864 г. редактор „Русского Слова". Из его произведений наибольшим успехом пользовались путевые заметки „Среди богомольцев". (1860) и „Афон" (1864).

[76] Тургенев И. С. (1818—1883).—Знаменитый русский писатель-беллетрист, давший в своих романах ряд типов „лишних людей", людей неудовлетворенных окружающей их обстановкой дворянско-буржуазного быта, но не способных претворить свое недовольство в практическое дело переустройства общества. Отражая рост революционного протеста в среде демократической интеллигенции, Тургенев в своем романе „Отцы и Дети" нарисовал яркую фигуру „нигилиста" а в „Нови" пытался изобразить революционную среду. В своих общественно-политических симпатиях Тургенев представлял образец

последовательного „западника“, не идущаго однако дальше довольно умеренной программы политических реформ.

[77] Катков Мих. Никиф. (1818—1887).—Мракобес - реакционер редактор „Московских Ведомостей“, и Толстой Дм. Андр. (1823—1889)— министр внутренних дел, были главными столпами реакции 80-х гг.

[78] Зверев Ник. Андр. (1850—1917).—Профессор Московского университета по юридическому факультету, избравший потом дорогу консервативного сановника: с 1898 по 1901 г. он был товарищем министра народного просвещения, а затем — сенатором, главным управляющим по делам печати и членом Государственного Совета.

[79] „Русская Мысль“. — Ежемесячный журнал, выходивший в Москве с 1880 по 1917 г. В течение первых 25 лет ее издателем был В. М. Лавров. Большую роль в журнале играл В. А. Гольцов, бывший редактором с 1885 г. Журнал был органом буржуазной либеральной интеллигенции. Ко второй половине 80-х гг. Н. И. Шелгунов печатал в „Р. М.“ свои очень популярные тогда „Очерки русской жизни“.

[80] Бажин Ник. Федор. (1843—1908).—Беллетрист, работавший в 60-х гг. в „Русском Слове“, а по закрытии его в „Деле“, где он был в течение долгого времени одним из основных сотрудников. В произведениях своих Бажин весьма тенденциозно и однообразно изобразил в симпатичном свете „новых людей“. Его повесть „Степан Рулев“ была в свое время (в 60-х гг.) довольно популярна.

[81] Засодимский Пав. Вл. (1843—1912).—Писатель-беллетрист, принадлежавший к правому крылу народничества. В 70-е гг. из его произведений очень читалась „Хроника села Смурина“.

[82] „Русские Ведомости“.—Ежедневная газета, выходившая в Москве с 1863 по 1917 г. В течение долгого времени „Р. В.“ были главной газетой умеренной либеральной интеллигенции и пользовалась в этой среде большой популярностью и авторитетом. Много внимания „Р. В.“ уделяли вопросам сельского и городского самоуправления.

[83] „Минувшие годы“.—Исторический журнал, выходивший в 1908 г. вместо закрытого правительством „Былого“. Журнал был

принужден несколько изменить свое содержание сравнительно с „Былым“: он был уже посвящен не исключительно истории революционного движения, хотя и уделял ему очень много внимания.

[84] Бакунин Михаил Александрович (1814—1876).—Революционер-анархист мирового значения. Дворянин, человек из кружка людей 40-х гг., Бакунин принял весьма активное участие в революции 1848 г. в Западной Европе. Схваченный в 1849 г. в Австрии, он был выдан прусским властям. Его держали в тюрьмах в ужасных условиях и в 1854 г. передали русскому правительству. До 1857 года Бакунин содержался сначала в Петропавловке, а потом в Шлиссельбурге. В 1857 г. отправлен в Сибирь; в 1861 г. убежал через Японию в Западную Европу. С 1864 г. Бакунин становится вождем революционных анархистов во всем мире. В Интернационале он ведет жестокую борьбу против Маркса и откалывает часть Интернационала. Принимает участие в различных революционных попытках в Западной Европе. Идейное влияние таких же русских революционеров было очень сильно в 70-е годы. В Западной Европе его идеи привились преимущественно в романских странах—Италии, Испании, Франции.

[85] Лавров П. Л. (Миртов) (1823—1900).—Крупный теоретик революционного народничества. Революционер и ученый. В 1867 г. выслан в Вологодскую губернию. В 1868 г. в ссылке написал „Исторические письма“, имевшие большое влияние на молодежь. В этой книге он доказал, что прогресс в истории возникает благодаря „критически мыслящим личностям“: они—двигатели исторических событий. Доказывал необходимость для интеллигенции самоотверженно принести себя в жертву для блага народа и таким образом отдать ему свой „долг“. Из ссылки Лавров с помощью Лопатина бежал за границу в 1870 г. и до конца жизни оставался в эмиграции. Лавров был участник Парижской Коммуны 1871 г. Редактировал за границей журнал „Вперед“ (1871 г.), пропагандировал в нем необходимость „итти в народ“, дабы упорной работой перевоспитать народ в духе социализма. Его агитация была резко противоположна бакунистам-бунтарям, считавшим, что народ готов к немедленному восстанию. Участвовал одно время в редактировании заграничного издания „Вестника Народной Воли“.

[86] Герцен А. И. (1812—1870).—Родоначальник русского народничества. Сын богатого дворянина Яковлева, окончил Московский университет и вскоре после окончания был арестован за участие

в революционном кружке. Был в ссылке в Вятке, Владимире, Новгороде. Эмигрировал в 1847 г. за границу. Герцен принял участие в революции 1848 года во Франции. После высылки из Франции в Лондоне издавал „Колокол" (с 1 июля 1857 по 1 июля 1867 г.) и агитационную литературу. Герцен учил, что Россия минует капиталистическую стадию развития и благодаря общине перейдет прямо к социализму. С 60-х годов, когда умеренная проповедь Герцена перестала удовлетворять молодое революционное поколение, роль воспитателя революционной интеллигенции перешла от Герцена к Н. Г. Чернышевскому.

[87] См. прим. 55.

[88] Корба Анна Павловна. (Урожденная Мейнгардт, по второму мужу Прибылева. Родилась в 1849 г.)—Член Исполнительного Комитета „Народной Воли". По процессу 17 приговорена к 20 годам каторги, которую отбывала на Каре. Живет в Ленинграде. Написала воспоминания о своем революционном прошлом, изданные в 1927 г.

[89] Перовская Софья Львовна (1853—1881).—Одна из наиболее выдающихся деятельниц „Земли и Воли" и „Народной Воли".

В 1869 г. 16 лет она приезжает в Петербург и участвует в кружках самообразования, руководимых сестрами Корниловыми. Когда в 1871 г. кружок Корниловых слился со студенческим кружком М. А. Натансона и Н. В. Чайковского в кружок чайковцев, С. Л. Перовская является активным его членом.

Еще до начала периода „хождения в народ" С. Л. Перовская работает оспопрививательницей в Ставропольской губернии и была знакома с бытом и психологией крестьян. Вернувшись в Петербург, она участвует в пропаганде среди рабочих. Арестованная при разгроме кружка чайковцев в 1874 г. после заключения в Петропавловской крепости выпускается на поруки к отцу. Свыше 3 лет С. Перовская, привлеченная к „большому процессу" (193-х), ожидала разбора дела, живя под строгим домашним надзором (в Крыму). Несмотря на ее мужественное поведение на суде она была оправдана, но административно выслана в Олонецкую губернию. Бежала с пути. Перейдя на нелегальное положение, С. Л. руководит рядом попыток освобождения пересылаемых или сидящих в тюрьмах революционеров. Пыталась вместе с некоторыми другими товарищами восстановить кружок чайковцев. При возникновении в 1878 г. общества „Земля и Воля"

С. Перовская — преданнейший член этого общества. После раскола „Земли и Воли“ Перовская некоторое время колеблется, и после большой внутренней борьбы примкнула к направлению „Народной Воли“, стала членом Исполнительного Комитета „Народной Воли“, а после ареста Желябова 27 февраля 1881 г. она руководила последними решающими действиями террористов при организации покушения 1 марта 1881 г. Арестованная 10 марта и приговоренная судом к повешению, она на суде и во время казни проявила ту же героическую силу духа, что и в продолжение десяти с лишним лет борьбы.

[90] Л. Толстой (1828—1910).—Граф, дворянин, один из величайших представителей русской и мировой литературы, нарисовавший в своих произведениях (Война и Мир, „Анна Каренина“ и др.) широкую картину дворянско-помещичьего и отчасти крестьянского быта и давший резкую критику современного буржуазно-помещичьего общества, государства, церкви, семьи, морали, противопоставив им в качестве идеала патриархально-крестьянский анархический строй и жизнь „по правде“. Несмотря на резко критическое отношение Толстого к обществу в самых его основах, „толстовство“, с его проповедью „опрощения, непротивления злу насилием и личного самоусовершенствования“ представляло собой одну из форм упадка общественного движения в 80-х и 90-х годах и играло антиреволюционную роль. В. И. Ленин характеризовал Л. Н. Толстого: „С одной стороны — гениальный художник, давший не только несравненные картины русской жизни, но и первоклассные произведения мировой литературы. С другой стороны—помещик, юродствующий во Христе... Толстовские идеи—это зеркало слабости, недостатков нашего крестьянского восстания, отражение мягкотелости патриархальной деревни и закорузлой трусости „хозяйственного мужичка“ (Собр. соч., т. XI, ч. I, стр 114, 117).

[91] Волховский Феликс Вадимович (1846—1914).—Студентом московского университета он в 1867—68 гг. вместе с Г. Лопатиным организует „Рублевое общество“ по закупке и распространению дешевых книг среди народа. За это его арестовывали, продержали, не предъявив обвинения, 7 месяцев и выпустили. В 1869 г. его снова арестовывают и привлекают по нечаевскому делу. Два года он просидел в московских тюрьмах и в Петропавловской крепости, суд оправдал его. В Петербурге он присоединяется к кружку чайковцев и в 1872 г. едет в Одессу, где организует кружок, бывший отделением чайковцев.

Будучи привлечен по делу 193-х В. отделался ссылкой на поселение в Тобольскую губ. В 1881 г. ему разрешено было поселиться в Томске, откуда бежал в 1889 году за границу. Поселившись в Лондоне, он участвовал в создании издательства „Фонда Вольной Русской Прессы". После образования партии социалистов-революционеров (в 1902 г.) он был еще более либерален, чем эта партия.

[92] Голубев Петр Ал-др. (1855—1915).—Известный статистик и публицист. Был выслан в Сибирь, потом работал в Вятке, Казани, Перми и др. городах. Много писал в провинциальных и столичных либеральных изданиях, особенно в „Русских Ведомостях".

[93] Зданович Георгий Феликс. (род. в 1855 г.)—Видный участник московского кружка пропагандистов. В 1877 г. судился по процессу 50 и произнес на суде яркую речь. Был приговорен к шести годам восьми месяцам каторги. Сидел в Харьковском централе, а в 1882 г. переведен на Карийскую каторгу. В 1883 г. вышел на поселение в Иркутскую губ. Умер на Кавказе.

[94] „Сибирская Газета".—Издавалась в Томске в 1881—1888 гг. Прогрессивная газета 80-х годов. Основана П. И. Макушиным. Впоследствии закрыта правительством.

[95] Щапов Афанасий Прокофьевич (1830—1876).—Выдающийся русский историк. В 1861 г. был отстранен от кафедры в Казанском университете за речь на панихиде по поводу расстрела крестьян в с. Бездны.

[96] Иоанн Кронштадский (Иван Ильич Сергиев) (1829—1908).—Священник Андреевского собора в Кронштадте. Пользовался большой популярностью как в религиозной массе, так и в высших сферах, имея много почитателей.

[97] „III отделение" собственной его императорского величества канцелярии".—Образовано указом Николая I в 1826 г., напуганного восстанием декабристов. В его задачу входило организовать тайную полицию, выслеживать и уничтожать „крамолу". Функции его менялись. Ему было поручено следить за нравственностью молодых людей, за периодической, а затем и за научной печатью. Впоследствии III отделение переименовано было в департамент полиции

министерства внутренних дел. В департаменте были сосредоточены все дела о политических преступлениях, ему же был подчинен и особый корпус жандармов.

[98] Португалов Вениамин Осипов. (1835—1896).—Врач и публицист. Много писал по вопросам общественной медицины. В молодости подвергался арестам и высылке по политическим делам.

[99] Шлоссер Фридрих (1776—1861).—Немецкий историк. Его главные труды: „Всемирная история“ и „История XVIII столетия“.

[100] „Русский Курьер“.—Газета либерального направления, издававшаяся в 80-х гг. в Москве Н. П. Ланиным.

[101] Князь Вл. Петр. Мещерский.—Известный реакционер, очень влиятельный в высших сферах. Издавал с 1872 г. журнал „Гражданин“, где был постоянный отдел „Дневник“.

[102] Александр III (1845—1894).—Русский император. Вступил на престол в 1881 г. после убийства народовольцами Александра II. Умственно ограниченный человек, резко высказывался против представительного собрания, выборного начала в России. Реакция при Александре III достигла наибольших размеров. Вместо ожидаемой обществом конституции он издал манифест, в котором говорилось, что „в силу истины самодержавной власти, которую мы (Александр III) призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких на нее поползновений“. Наибольшим влиянием у Александра пользовался его воспитатель-мракобес Победоносцев. Страна управлялась террором. Народовольцы неоднократно безрезультатно покушались на Александра. Умер естественной смертью, явившеюся результатом пьянства.

[103] Вейнмар Орест Эдуардович, доктор (1845—1885).—Был знаком со многими революционерами и оказывал им помощь. Его подозревали в участии в покушении Соловьева на Александра II и убийстве С. Кравчинским Мезенцева. Был арестован в 1879 г., а в мае 1880 г. приговорен к 10 годам каторги, которую отбывал на Каре до 1885 г., когда вышел в „вольную команду“. Тихомиров, характеризуя Вейнмара, говорит, что „Орест доктор медицины, отличившийся в турецкой войне, имел, кроме состояния, собственное лечебное заведение. В кружках он не участвовал нигде, но вполне сочув-

ствовал революции. Он и лично участвовал в дерзком и преловком освобождении князя Крапоткина из Николаевской больницы. Укрывал у себя друзей.

[104] Симановский Евгений (Коган Соломон).—„Лаврист", т. е. сторонник мирной пропаганды в народе, впоследствии народоволец.

После своего ареста в Одессе в феврале 1882 г. дал откровенные показания и был выпущен на поруки.

Выехал за границу. В Женеве в 1880—89 гг. выпускал журнал „Свобода".

[105] Кропоткин Петр Алексеевич (1842—1921).—Происходя из княжеской фамилии, получил воспитание в пажеском корпусе. Уклонился от придворной карьеры, предпочтя военную службу в Сибири и на Дальнем Востоке, где пробыл 5 лет. Здесь увлекался геологией и этнографией этих малообследованных еще тогда мест. Будучи радикально настроен, он после восстания ссыльных поляков на Круго-Байкальской дороге, опасаясь, что его пошлют на усмирение повстанцев, подает в отставку и возвращается в Петербург. Усиленно занимается наукой в Русском географическом обществе. Но научные занятия не заглушили в Кропоткине общественных интересов, и в 1871 г. он едет за границу, где знакомится с западно-европейским рабочим движением и попадает в сферу влияния Мих. Бакунина. По возвращении в 1872 г. в Россию он вступает в кружок чайковцев. Он занимался преимущественно пропагандой среди рабочих, которым читал лекции по истории Интернационала и рабочего движения в западной Европе. В 1874 г. П. А. был арестован и посажен в Петропавловскую крепость. Будучи переведен в 1876 г. в госпиталь, П. А. бежал при содействии С. М. Кравчинского за границу. Виднейший теоретик анархизма и крупный ученый. Во время мировой войны занял патриотическо-оборонческую позицию. Вернулся в Россию в 1917 г. Чрезвычайно живо написанные воспоминания П. А. Кропоткина—„Записки революционера" —дают прекрасное представление о жизни этого выдающегося человека и очень живо рисуют быт революционеров 70-х годов.

[106] Стефанович Я. В. (1853—1915).—Принимал участие в движении 70-х и 80-х годов и особенно в южном бунтарском кружке. Здесь также мечтали о всенародном бунте. Все было построено на вере в „революционность народа, в его могущество и непобедимость",

Все бунтари имели револьвер и кинжал, которые носили при себе. Готовились к поголовному вооружению и восстанию. Появилась мысль, что восстание может быть вызвано от имени царя с помощью подложного царского манифеста. Среди крестьян Чигиринского уезд начались волнения на аграрной почве. Стефанович, выдав себя за царского комиссара, начал организовывать „Тайную дружину". По грамоте крестьянам объявлялось, что „мы (царь) повелели оставить помещикам только усадьбы и такое же количество земли и леса, какое придется всякому бывшему их крепостному по равному подушному разделу". „Они (дворяне) хитростью и обманом удержали за собой большую и лучшую часть земли, все леса и сенокосы и только самую худшую и ничтожную часть отвели вам". Далее грамота призывает соединиться в тайные общества и свергнуть дворянское иго. „Итак, осени себя крестным знаменем, православный народ, и призови благословение божие на святое дело твое".... В дружину вступило до 1000 человек, впоследствии она была открыта, многие арестованы и судимы. Стефанович в 1876 г. был арестован, а в 1878 г. бежал из киевской тюрьмы. Чигиринское дело вызвало возмущение, протест и осуждение в социалистических кругах, как недопустимый метод агитации.

В дальнейшем Стефанович участвовал в „Земле и Воле", он являлся одним из основателей „Черного Передела". В 1881 г. вошел в „Народную Волю". Арестован в 1882 г., судился в 1883 г. и приговорен к 8 годам каторги, которую отбывал на Каре. Впоследствии по новым источникам оказался в связи с департаментом полиции.

[107] Дейч, Лев Григорьевич (родился в 1855 г.).—Старый участник революционного движения. В 1874 г. вступает в революционное движение, в 1875 г. идет в народ, в 1876 г. примыкает к Киевскому кружку бунтарей, в 1877 г. арестовывается за попытку совместно со Стефановичем и Бохановским поднять при помощи подложных царских грамот восстание крестьян Чигиринского уезда Киевской губ. В 1878 г. бежал из тюрьмы в Петербург, а оттуда за границу. Вернулся в Россию в момент раскола „Земли и Воли" и был вместе с Стефановичем, О. Аптекманом и Г. Плехановым в числе учредителей „Черного Передела". В начале 1880 г. снова уехал за границу, где и пробыл до начала 1884 г. В Швейцарии был одним из основателей группы „Освобождение Труда". По делам этой группы едет в 1884 г. в Россию, но по дороге его арестовывают в Германии и выдают царскому правительству, как

уголовного преступника по обвинению в покушении на убийство предателя Гориновича в 1876 г. Суд приговаривает его к 13 г. и 4 мес. каторги, которую он отбывает на Каре. По выходе на поселение он в 1901 г. бежит из Благовещенска за границу. В период революции 1905 г. Дейч снова нелегально возвращается в Россию. В начале 1906 г. его арестовывают и снова высылают в Восточную Сибирь, но с дороги он снова ухитряется бежать за границу, где и пробыл до 1917 г., когда окончательно вернулся в Россию. Сейчас живет в Москве.

В период 1902—1917 гг. Дейч был меньшевиком, а в период войны ярым социал-патриотом. В период февральской революции Дейч был в числе тех, кто особенно яростно травил большевиков, как немецких шпионов и т. д., но после Октября отошел от политики и занялся писанием мемуаров, разработкой материалов, относящихся к 80-м годам, к группе „Освобождение Труда“ и т. д.

Очень интересны книжки Дейча — „16 лет в Сибири“, „Четыре побега“ и многие др., в которых он повествует о том, что он видел и пережил за период более полувека сознательной политической жизни.

108 Александр II (1818—1881).—Русский император, царствовавший с 1855 г. в период, когда революция была „у ворот России“, но не всем была ясна неизбежность революции. Надеялись, что царь, „освободивший“ крестьян, рядом реформ ликвидирует весь крепостной строй России. Александр все время колебался между конституцией и „диким полицейским произволом“. Он заигрывал с массами, либералами, а политических врагов наказывал жестоко. Уже в 70-х годах выявилось, что не только крестьяне были недовольны реформой—студенты бунтовали и даже прогрессивная часть дворянства была неудовлетворена. На Александра покушался Каракозов в 1866 г., Соловьев в 1879 г., и только в 1881 г. 1 марта он был убит по постановлению Исполнительного Комитета Народной Воли. Смерть Александра не вызвала никакого революционного движения в массах. Полное равнодушие царило в обществе.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАКАЗЫ И ДЕНЬГИ НАПРАВЛЯТЬ

МОСКВА, Новая пл., 6. ЛЕНИНГРАД, Проспект 25 Октября, 66. ХАРЬКОВ, Горяиновский переулок, Дворец Труда, комн. 15. КИЕВ, улица Воровского, 25, пассаж, 33. РОСТОВ на ДОНУ, улица Фридриха Энгельса, 102. ТАШКЕНТ, улица Карла Маркса, 28. СВЕРДЛОВСК, улица Малышева, 62. ВОРОНЕЖ, площадь Революции, 20. САМАРА, Ленинградская улица, 37. НИЖНИЙ НОВГОРОД, улица Свердлова, 8. САРАТОВ, улица Республики, 13.



2 р. 25 коп.

Р


2014143242